

Российский государственный гуманитарный университет
Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского

Б. А. Успенский

Ego
Loquens ЯЗЫК
и коммуникационное
пространство

Издание 2-е, исправленное и дополненное

Москва
2011

УДК 81
ББК 81
У 58

Успенский Б. А.

У 58 Ego Loquens: Язык и коммуникационное пространство.
М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2011. 344 с.

ISBN

Монография посвящена языковым проблемам коммуникации. Основное внимание уделено роли дейксиса и связанным с ним механизмам восприятия действительности. Одновременно в книге рассматриваются механизмы понимания текста.

Для специалистов-лингвистов, а также для широкого круга читателей, которых интересует функционирование языка.

УДК 81
ББК 81

© Б. А. Успенский, 2011
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2011

ISBN

Оглавление

<i>От автора</i>	7
------------------------	---

Глава I

Дейксис и коммуникация: Язык как средство формирования виртуальной реальности

§ I. Общие замечания	9
§ II. Статус личных местоимений	15
§ III. Специфика местоимения «я» (в языке): Отсутствие формы множественного числа	19
§ IV. Специфика местоимения «я» (в речи): Ограничения в воспроизведении	31
§ V. Дейктические слова и постулирование объективной реальности	33
§ VI. Осмысление реальности: формирование метаязыка для ее описания	42
§ VII. Дейктические слова и освоение языка	47
§ VIII. Классификация языковых знаков (слов)	50
<i>Примечания</i>	54

Глава II

Коммуникация и понимание:

Отношение понимания к порождению речи

§ I. Предварительные замечания: общие предпосылки языковой коммуникации	110
§ II. Смысл и перевод	113
§ III. Языковая коммуникация как эвристический процесс	115
§ IV. Общий контекст, объединяющий адресанта и адресата, как условие понимания	119
§ V. Понимание как моделирование ситуации	124

§ VI. Характер освоения языка: как мы учимся понимать?	127
§ VII. Мышление и автокоммуникация	135
§ VIII. Некоторые иллюстрации к сказанному	137
<i>Примечания</i>	157
<i>Глава III</i>	
Коммуникация и понимание:	
Понимание и языковой эксперимент	
§ I. Переносный смысл и проблема построения бессмысленного текста	180
§ II. Преобразование ситуации в комическом тексте	190
§ III. Может ли быть понят текст, состоящий из несуществующих слов?	199
§ IV. Преобразование языка в поэтическом текста	227
§ V. Некоторые обобщения	236
<i>Примечания</i>	240
<i>Цитируемая литература</i>	267
<i>Сокращения</i>	319
<i>Тематический указатель</i>	320
<i>Summary</i>	341

От автора

Эта книга посвящена проблемам языковой коммуникации. Представляя собой собственно лингвистическое исследование, книга затрагивает также вопросы феноменологии языка. При этом в отличие от исследователей, подходящих к языку с философских позиций, автор стремился представить философские проблемы в лингвистической перспективе.

В основу книги легли лекции, которые автор в течение ряда лет читал на факультете коммуникации Университета Итальянской Швейцарии (Università della Svizzera Italiana, г. Лугано). С предварительной версией книги в той или иной мере ознакомились В. М. Живов, А. В. Кейдан и Е. В. Падучева; их советы и замечания оказались очень полезными при ее окончательном редактировании. При анализе стихов Льюиса Кэрролла автор консультировался с Х. Олмстедом (H. Olmsted) и Р. Врооном (R. Vroon). Всем названным лицам автор глубоко признателен.

Главы книги подразделяются на параграфы, которые, в свою очередь, имеют внутреннюю рубрикацию; параграфы обозначаются римскими цифрами, разделы внутри параграфов — арабскими. Примечания имеют сквозную нумерацию в пределах каждой главы. Если при ссылке на примечание нет указания на то, к какой главе оно относится, имеется в виду примечание той же главы, в которой встретилась данная ссылка; в противном случае дается специальное указание. То же относится и к ссылкам на параграфы: если не указано, к какой главе книги относится ссылка, подразумевается та же глава, в которой она (эта ссылка) встретилась.

Библиографические ссылки в тексте даются сокращенно, эти сокращения раскрываются в приложенной к работе библиографии. При ссылке, относящейся к примечанию в цитируемой

работе, мы указываем как страницу, так и номер примечания; если же примечание не имеет своего номера (это возможно в случае постраничной нумерации примечаний, когда на цитируемой странице оказывается конец примечания, начало которого приходится на предшествующую страницу), соответствующее примечание обозначается как «примеч. 0».

Разрядка в цитатах, а также текст, взятый в квадратные скобки, во всех случаях принадлежат автору настоящей работы (а не цитируемому автору); выделения в тексте, содержащиеся в цитируемом источнике, передаются курсивом. Купюры в цитатах отмечаются многоточиями, которые берутся в ломаные скобки, если купюра сделана внутри цитируемого текста, и отделяются пробелом, если она относится к началу или концу цитаты.

Предисловие ко второму изданию

Во 2-м издании книги были исправлены замеченные погрешности предыдущего издания и внесены некоторые уточнения. Структура книги осталась без изменений, но было увеличено количество иллюстративного материала. При подготовке 2-го издания автор с благодарностью воспользовался замечаниями С. Д. Серебряного (относящимися к 1-му изданию), а также консультациями по нидерландскому языку С. Броувера (Dr. Sander Brouwer).

Глава I
Дейксис и коммуникация:
Язык как средство формирования
виртуальной реальности

Я есмь — конечно есь и Ты!

Державин

Я — это я, явь — это явь...

Мандельштам

I. Общие замечания

1. Язык — орудие коммуникации, необходимой для обмена информацией. При обмене информацией говорящие (коммуниканты)¹ вынуждены координировать свой индивидуальный опыт, и они создают знаки (слова), которые относятся к общему опыту разных людей. Языковые знаки, таким образом, представляют результат обобщения и абстрагирования опыта различных индивидов. Так образуются общие значения (универсальные для членов данного социума), которые оказываются в принципе независимыми от какого бы то ни было индивидуального опыта².

Значения языковых знаков (слов) взаимосвязаны: в обычном случае каждое значение может быть описано с отсылкой к другим значениям. Совокупность связанных между собою значений образует виртуальную реальность, которая в себе замкнута и самодостаточна, т. е. составляет самостоятельное целое, существующее независимо от конкретных денотатов, с которыми могут соотноситься те или иные значения (иначе говоря: независимо от конкретной актуализации значений, возможной в той или иной ситуации). Наличие таких значений создает основу коммуникации, поскольку каждый говорящий (на данном языке) должен аккомодировать свой индивидуальный опыт — свое субъективное восприятие действительности — к этой реальности. Наши знания об окружающей действительности и о самих

себе опосредствованы знаками, которыми мы пользуемся при коммуникации; иначе можно сказать, что наши знания о мире опосредствованы знаками, которыми мы пользуемся для описания этого мира³. Виртуальная реальность, к которой отсылают эти знаки, предстает как средостение между человеком и объективной (ноуменальной) реальностью (т. е. действительностью, существующей независимо от нас, нам внеположной, которую мы можем только постулировать)⁴. Будучи в себе замкнута, она (виртуальная реальность, формируемая языком) оказывается самодостаточной в том смысле, что мы способны понимать текст, не обращаясь к конкретным реальностям, которые этот текст описывает; иначе говоря, мы способны понимать его на уровне значений, а не на уровне денотатов.

Основу когнитивного мышления составляет, по-видимому, автокоммуникация, когда создаются знаки, позволяющие объективизировать субъективные впечатления. В процессе мышления семиотическое (в первую очередь, языковое) поведение человека соотносится с его индивидуальным опытом: человек общается с самим собой, переводя свои впечатления в знаковую форму — порождая слова или же какие-то другие знаки, в принципе предназначенные для коммуникации (а также знаки знаков и т. д.), и последовательно соотнося их затем со своим опытом; тем самым он соотносит свое субъективное ощущение с объективным (не зависящим от данного человека) значением знака, с которым оно ассоциируется. В результате субъективный опыт оказывается предметом рефлексии и апперцепции (самовосприятия).

Таким образом, в процессе мышления мы контролируем себя, соотнося наши представления с точкой зрения некоего имплицитного собеседника (нашего alter ego). При этом создается образ объективной реальности, которая от нас не зависит. Это виртуальная реальность, которая имеет межличностный характер: она соотносена не только с личным опытом одного человека, но также и с опытом других людей.

Процесс мышления предстает при этом как экспериментальный и эвристический процесс, ближайшим образом напоминающий диалогическое общение: думающий принимает точку зрения другого человека, который идентичен с ним интеллектуально, но отличается от него личностно (выступает как другая личность);

см. подробнее ниже, *Глава II*, § VII-1). Характерным образом многие из нас мыслят вслух (разговаривая с самим собой) или же на бумаге (записывая слова или изображая какие-то знаки): речь и письмо объективизируют процесс мышления; точно так же наше мышление может сопровождаться мимикой или жестами⁵. Итак, субъективные впечатления объективизируются при помощи их артикуляции (в широком смысле слова)⁶.

2. Но каким образом оказывается возможной коммуникация? Ведь каждый из участников коммуникации по необходимости исходит из субъективного восприятия объективной реальности, но для того, чтобы обмениваться информацией об этой реальности (о внешнем мире), необходима координация восприятия. Каждый человек обладает личным опытом, который основывается на индивидуальных впечатлениях и ассоциациях. Между тем коммуникация предполагает наличие общего опыта и возможность координации субъективного восприятия: предполагается, что мы разделяем общий опыт.

Как это возможно? Как я могу быть уверен, например, что мой собеседник так же понимает слова, которые я произношу, как понимаю их я? Как мы можем соотносить наше понимание? Очевидно, что необходимым условием коммуникации является соглашение — своего рода компромисс — между коммуникантами⁷. Это соглашение кодифицируется — с большим или меньшим успехом — в словарях и грамматиках. Коммуниканты в обычном случае исходят из того, что они пользуются знаками в одинаковом смысле, вкладывают в них одно и то же содержание (хотя что это означает, строго говоря, не вполне понятно); такова исходная посылка коммуникации. Если в процессе коммуникации возникает недоразумение, они стараются его устранить, пользуясь другими знаками.

Я могу даже сомневаться в том, что чувственное восприятие моего собеседника соответствует моему восприятию — например, что мы с ним различаем цвета одинаковым образом или имеем те же самые вкусовые ощущения. По словам Демокрита, «цвет является цветом, сладкое сладким, горькое горьким в силу принятого обычая», т. е. по конвенции⁸. Положим, в случае чувственного восприятия мы можем воспользоваться знаками-индексами, указав на предметы, вызывающие то или иное ощущение, и таким образом

прийти к соглашению⁹. Однако так можно прийти к соглашению с конкретным, а не с потенциальным собеседником; между тем слова, относящиеся к чувственному восприятию (например, обозначения цвета и т. п.), как и все другие слова языка, в принципе должны иметь одно и то же значение для всех вообще говорящих на данном языке, т. е. для любого собеседника¹⁰.

Наконец, совсем не все слова передают чувственное восприятие, и тем не менее, мы их понимаем — или, по крайней мере, мы исходим из того, что понимаем их¹¹; кажется, что и в этом случае понимание основывается на своего рода соглашении.

Каким же образом достигается это соглашение между говорящими на том или ином языке? С чего начинается координация индивидуального опыта (опыта разных людей)?

Роль дейктических слов, и в первую очередь личных местоимений, представляется решающей в этом отношении. Они выступают как исходный пункт при координации (личного) опыта, дающей возможность осуществлять коммуникацию.

Дейктические слова соотносятся со своими обозначаемыми не непосредственно, но в процессе коммуникации, т. е. не в языке, а в речи, — иначе говоря, через речевой акт. В обычном случае слова относятся в нашем сознании к некоторой реальности — актуальной или виртуальной¹² — независимо от процесса коммуникации. Так, например, слово *стол* служит для обозначения любого члена открытого класса отождествляемых объектов, которые ассоциируются на основании тех или иных характеристик¹³. Такого рода классификация представлена в языке, которым мы пользуемся, — независимо от того, имеет ли место процесс коммуникации, т. е. в отвлечении от речевой деятельности¹⁴.

Дейктические слова, между тем, непосредственно относятся к акту коммуникации, и только опосредствованным образом — через речевой акт — они соотносятся с той реальностью (актуальной или виртуальной), которая является предметом коммуникации¹⁵. Они не обладают независимым содержанием, полностью абстрагированным от акта коммуникации. Поскольку коммуникация осуществляется говорящим, можно считать, что явление дейксиса (лежащее в основе употребления дейкти-

ческих слов) так или иначе предполагает ориентацию на говорящего — при том, что одновременно может иметь место и ориентация на слушающего (позиция которого соотнесена с перспективой говорящего). Возможны также случаи и ориентации на 3-е лицо, которое в принципе мыслится как потенциальный участник коммуникации (см. ниже, § II-2)¹⁶; его позиция так или иначе также соотносится с перспективой говорящего.

Явление дейксиса состоит вообще в том, что слово соотносится со своим обозначаемым через указание на речевой акт. При этом необходимо различать *п е р в и ч н ы й* дейксис, или дейксис в собственном смысле, и *в т о р и ч н ы й* дейксис, при котором соотнесение с речевым актом осуществляется непрямым (опосредованным) образом. Первичный дейксис реализуется в естественных условиях диалогической речи, когда есть говорящий и слушающий, которые могут менять свои роли в процессе общения. Указание на речевой акт осуществляется в диалогической речи как ориентация на участника коммуникации, т. е. актуального или потенциального говорящего (см. ниже, § II-2)¹⁷. Между тем в случае вторичного дейксиса в процессе речевой деятельности имеет место (спорадически или последовательно) отвлечение от речевой ситуации. И в этом случае соотнесение обозначения и обозначаемого осуществляется через указание на речевой акт, однако этот речевой акт непосредственно не связан с речевой ситуацией, предусматривающей наличие говорящего и слушающего: иначе говоря, имеет место указание не на актуальный, а на *в и р т у а л ь н ы й* речевой акт. Это может быть воображаемый речевой акт, как это характерно для повествования, где функции говорящего в той или иной мере усваиваются наблюдателю (который может совпадать с рассказчиком или с одним из действующих лиц, хотя такое совпадение не обязательно)¹⁸. Равным образом дейктическая референция может осуществляться по отношению не к актуальной речевой ситуации (объединяющей говорящего и слушающего), а по отношению к тому, что было уже сказано (случай анафоры) или будет сказано позже (случай катафоры)¹⁹. Появление вторичного дейксиса может не только быть обусловлено нарративной стратегией говорящего или пишущего, но и регламентироваться грамматикой языка (как это можно видеть хотя бы на примере плюсквамперфекта)²⁰.

В основном тексте нашей работы мы, как правило, рассматриваем явления первичного дейксиса, т. е. дейксиса в собственном смысле; отдельные замечания, относящиеся к вторичному дейксису,

вынесены в примечания. Вторичному дейксису мы посвятили особую работу, к которой и отсылаем заинтересованного читателя²¹.

Местоимения выступают как наиболее очевидный случай дейктических слов²². Личные местоимения, в свою очередь, представляют собой наиболее явный случай местоимений.

Дейктические слова никоим образом не сводятся к местоимениям. Наглядным примером могут служить личные глагольные формы, которые выражают категории лица и (грамматического) времени. Категория лица очевидным образом соотнесена с личными местоимениями, т. е. дейктическими словами в их чистом виде (не осложненными семантикой, см. ниже, § II-2). Но вместе с тем и категория времени непосредственно или опосредованно относится к речевому акту: временная форма глагола так или иначе соотносится с моментом речи и, следовательно, представляет собой дейктическое слово. Сходным образом дейксис может определяться не временем, а местом речевого акта: это легко видеть на примере указательных местоимений, таких как *этот* и *тот* (ср. также просторечные формы *эвот* и *энтот*²³), *здесь* и *там*, *вот* и *вон*, и т. п.

Такие слова, как *этот*, *здесь*, *вот*, соотносятся с говорящим, т. е. выступают коррелятами местоимения 1-го лица, тогда как слушающий может включаться в это пространство или выключаться из него; иначе говоря, пространство слушающего может объединяться с пространством говорящего (например, когда мы говорим *вот здесь у тебя...* и т. п.) или же противопоставляться ему (например, когда мы говорим *вон там у тебя...*).

Итак, временная форма глагола соотносится с моментом речи, объединяющим ее участников (говорящего и слушающего). Если же дейксис определяется не временем, а местом речевого акта, то соотнесение с обозначаемым может быть связано с различием коммуникативной функции участников диалога (коммуникантов). Понятно, чем определяется это различие: говорящий и слушающий в нормальном случае существуют в одном и том же времени, но при этом они находятся в разных местах, которые могут объединяться или же противопоставляться друг другу.

Однако личные глагольные формы обладают также независимым лексическим значением (оно представлено и в нелич-

ных формах, например, в форме инфинитива), которое, как правило, непосредственно не связано с процессом коммуникации, абстрагировано от него²⁴. Личные местоимения, напротив, представляют собой чистый случай: здесь имеет место только дейктическая референция, актуализируемая исключительно в процессе коммуникации.

Местоимения (в частности, личные местоимения) имеются во всех языках, и этот факт представляется нетривиальным. В самом деле, теоретически можно представить себе язык без местоимений, где вместо местоимений употреблялись бы собственные имена: говорящие на таком языке относились бы к себе, называя свое имя; обращаясь к кому-то, они называли бы имя своего собеседника; и т. п. Примерно таким образом, как мы увидим, принято говорить — в разных языках — при общении с лицом, занимающим высокую социальную позицию (при этом не предполагается, что наш собеседник будет отвечать нам, используя такие же формы обращения); в дальнейшем мы попытаемся объяснить это явление (см. § III-3). Вместе с тем сходное явление может наблюдаться при разговоре с детьми (см. ниже, § VII-1).

II. Статус личных местоимений

1. Личные местоимения занимают совершенно исключительное положение в языке, поскольку они не имеют фиксированного референта²⁵. Все остальные дейктические слова так или иначе соотносятся с личными местоимениями.

Что такое *я*? Не существует объекта (денотата), который может быть определен как *я* вне речевого акта (т. е. вне процесса коммуникации). *Я* означает говорящего: *я* — это тот, кто говорит *я*, т. е. тот, кто обозначает себя таким образом, — тот, кто порождает или же способен породить текст, содержащий само это местоимение.

Это определение предстает как порочный круг, однако такого рода круг оказывается неизбежным, поскольку данное местоимение является исходным пунктом — так сказать, точкой отсчета — при построении виртуальной реальности (необходи-

мой для коммуникации). Все остальные слова так или иначе предполагают имплицитную ссылку на я говорящего.

Характерным образом Бог Отец в Библии определяет себя именно таким образом: на вопрос Моисея о его имени Бог отвечает «Я есмь» ('ehyeh — Исх. III, 13–14)²⁶, и отсюда «Яхве» (yahweh) как имя Бога Отца (см.: Пс. LXXXIII, 19) означает, по-видимому, «Он есть»²⁷. Исходная еврейская фраза «'ehyeh 'asher 'ehyeh» выглядит как тавтология. Она означает буквально «Я есмь тот, кто есмь» (и так она переводится в Вульгате: «Ego sum qui sum»)²⁸ или же «Я есмь то, что есмь» (и так она переводится в славянской Острожской библии 1581 г.: «азь есмь еже есмь»²⁹); в сущности, Бог говорит: «Я — это я»³⁰, где одно я выступает как местоимение, тогда как другое, ему противопоставленное, оказывается на правах собственного имени³¹.

Заметим, что Бог предстает в Библии как Наименователь: он называет свет «днем», тьму «ночью», твердь «небом», сушу «землей» и собрание вод «морем» (Быт. I, 5, 8, 10). Себя же он называет «Я», и это местоимение выступает как обозначение абсолютного субъекта. Будучи создателем имен, сам он оказывается лишенным имени в обычном смысле этого слова³².

Вместе с тем ответ Бога Моисею ('ehyeh 'asher 'ehyeh) может означать «Я есмь тот, кто существует»³³, и такой перевод представлен в Септуагинте: Ἐγὼ εἶμι ὁ ὢν³⁴. Этому соответствует перевод славянской Елизаветинской библии 1751 г., который воспроизводится в последующих изданиях, став стандартным текстом церковнославянской Библии: «Азь есмь сый»³⁵; аналогичный перевод представлен и в древнейших славянских рукописях, где мы находим причастную форму *суций* или *сый*³⁶.

Таким образом, данная фраза может указывать как на абсолютное существование Бога, так и на представление Бога как абсолютного субъекта³⁷.

В сирийской Библии (Пешитта), а также в самаритянском Таргуме фраза «'ehyeh ('asher 'ehyeh)» Книги Исход оставлена без перевода³⁸ — несомненно, потому, что она понимается как имя Бога (собственные имена, как известно, обычно не переводятся). То же имело место в свое время и в русской традиции (в текстах, которые были как-то связаны с так называемой ересью жидовствующих)³⁹.

Как свидетельствует Иероним (в предисловии к Книге Царств), в древнейших греческих переводах Библии имя Бога (тетраграмма) писалось еврейскими буквами⁴⁰. Это свидетельство подтверждается переводами Акилы (первой пол. II в.)⁴¹.

Знаменательно, что в следующей затем фразе библейского текста (Книги Исход) сочетание *Я есмь* выступает как имя собственное: «Так скажи сынам Израилевым, — говорит Бог Моисею, — „Я есмь“ послал меня к вам» (Исх. III, 14)⁴². Ср. в послании св. Александра, епископа александрийского, ок. 319 г.: «Сам Господь предсказал: блюдите, да никто же вас прельстит. Мнози бо приидут во имя мое, глаголюще: „Аз есмь“ [Мк. XIII, 6; Лк. XXI, 8] и — время близко — мнози прельстят» (ὁ μὲν κύριος προεἶρηκε· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγὼ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε καὶ πολλοὺς πλανήσουσι)⁴³. Это не что иное, как парафраза евангельского текста: «Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос...» (Мф. XXIV, 4); как видим «Аз есмь» (ἐγὼ εἰμι) заменяет в послании Александра слово «Христос».

Вообще фраза ἐγὼ εἰμι ('Аз есмь') в абсолютном употреблении (при отсутствии предикативного члена, т. е. значимого компонента, дополняющего глагол *быть*) — аномальном для греческого языка!⁴⁴ — выступает в Библии как самоопределение Бога (Ин. VI, 20, VIII, 24, 28, 58, XIII, 19, XVIII, 5, 6; Мк. VI, 50, XIII, 6, XIV, 62; Лк. XXI, 8, XXII, 70–71; Мф. XIV, 27; ср. в Септуагинте: Втор. XXXII, 39; Ис. XLI, 4, XLIII, 10, 25, XLV, 18, 19, XLVI, 4, XLVIII, 12, LI, 12, LII, 6)⁴⁵.

Показателен в этом отношении рассказ Евангелия от Иоанна о пленении Христа (Ин. XVIII, 4–8). Когда Христос встречает Иуду с воинами и слугами первосвященников и фарисеев, он спрашивает: «Кого ищите?»; ему отвечают: «Иисуса Назорея». «Аз есмь» (Ἐγὼ εἰμι), говорит им Иисус, и услышав эти слова, люди отступают назад и падают на землю. Очевидно, что слова *Аз есмь* (Ἐγὼ εἰμι) имеют сакральный смысл: евреи упали на землю, услышав имя Бога, подобно тому как падали ниц священники в иерусалимском храме в День Очищения (Йом Кипур), когда первосвященник произносил в их присутствии имя Бога⁴⁶. В другом эпизоде (Ин. VIII, 58), когда Христос говорит: «Прежде нежели был Авраам,

Аз есмь (Ἐγὼ εἰμι)», его хотят забросать камнями, поскольку таково было наказание тех, кто хулит имя Господне (Лев. XXIV, 16)⁴⁷. Соответственно должны быть поняты, видимо, слова Христа: «Мнози бо придуть во имя мое, глаголюще яко Азь есмь» (πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγὼ εἰμι — Мк. XIII, 6; Лк. XXI, 8; ср.: Мф. XXIV, 5)⁴⁸. В гомилии, приписываемой Клименту Римскому, Досифей, бывший в свое время учителем Симона Волхва, говорит Симону: «Если ты Ἐστῶς [букв.: ‘Стойщий’ — самаритянское наименование Бога], я поклонюсь тебе» (Εἰ σὺ εἶ ὁ Ἐστῶς, καὶ προσκυνῶ σε), на что Симон говорит: «Аз есмь» (Ἐγὼ εἰμι) (Clementina, Hom. II, 24)⁴⁹. Симон заявляет о себе как о Боге, и это соответствует тому, что сообщает о нем Иероним (в толковании на Евангелие от Матфея, XXIV, 5), по словам которого Симон называл себя «Словом Божиим, Сияющим, Духом, Всемогущим и всем тем, что относится к Богу», т. е. атрибутами Божества («Ego sum sermo Dei, ego sum Speciosus, ego Paracletus, ego Omnipotens, ego omnia Dei»)⁵⁰.

2. Итак, *я* — это тот, кто говорит. Соответственно, *ты* — это тот, к кому обращена речь (и кто, как предполагается, может ответить), тогда как *он*, *она* или *оно* означают того, о ком или о чем идет речь (объект коммуникации).

Я обозначает актуального говорящего в актуальном дискурсе (*я* — это тот, кто говорит). *Ты* обозначает потенциального говорящего в актуальном дискурсе (*ты* — это тот, кто может стать говорящим в данном диалоге). *Он*, *она* и *оно*, если эти слова относятся к лицу, обозначают потенциального говорящего в потенциальном дискурсе (это те, кто в данный момент находятся вне ситуации коммуникации, не участвуют в диалоге, но в принципе могут стать его участниками).

Подобно именам собственным, местоимения не обладают значениями — в семиотическом смысле этого слова⁵¹: они относятся непосредственно к денотатам, т. е. связь слова и денотата в обоих этих случаях не опосредствована значением. Однако, в отличие от собственных имен, местоимения не имеют денотатов вне процесса коммуникации.

Другие дейктические слова (например, личные глагольные формы) обладают значениями: в этом случае соотношение слова и денотата осуществляется через значение. Таким образом, разница между местоименными и неместоименными дейк-

тическими словами соответствует разнице между собственными и нарицательными именами.

В основе дейксиса лежит вообще возможность смены ролей между участниками коммуникации, когда в процессе диалога говорящий превращается в слушающего, а слушающий в говорящего, или же когда тот, о ком идет речь, становится слушающим, что дает ему возможность затем принять участие в коммуникации (т. е. стать говорящим). Эта смена ролей осуществляется во времени, и, тем самым, дейксис представляет собой явление, специфическое для языковой коммуникации, которая в принципе соотносена с временным процессом (предполагая организацию знаков во времени). Напротив, это явление в принципе нехарактерно для визуальной коммуникации, которая реализуется в пространстве, а не во времени (предполагая организацию знаков в двух- или трехмерном пространстве, но не в линейной последовательности)⁵².

III. Специфика местоимения «я» (в языке): Отсутствие формы множественного числа

1. Характерным образом местоимение *я* не имеет формы множественного числа⁵³. Понятие множественного числа предполагает вообще идею аккумуляции или мультипликации: речь идет о множестве отождествляемых (ассоциируемых) объектов или явлений. Иначе можно сказать, что множественное число выражает повторяемость. Форма слова во множественном числе в обычном случае означает совокупность объектов (состоящую более чем из одного объекта), каждый из которых обозначается соответствующим словом в единственном числе. Так, слово *столы* означает совокупность, состоящую как минимум из двух столов:

столы = стол + стол

В дальнейшем, демонстрируя значение множественности, мы будем пользоваться двучленными формулами, имея в виду (если только не оговорено обратное), что каждый из составляющих элементов может быть повторен сколько угодно раз. Если возможно повторение только одного из составляющих элементов, мы ставим

после него многоточие; в этом случае отсутствие многоточия после другого элемента в двучленной формуле означает, что он не может быть повторен.

Аналогичным образом слово *они* как форма множественного числа слов *он*, *она* или *оно* означает совокупность объектов, каждый из которых может быть обозначен как *он*, *она* или *оно*:

они = он + он
они = она + она
они = оно + оно

они = он + она
они = он + оно
они = она + оно

они = он + они
они = она + они
они = оно + они⁵⁴.

Напротив, слово *мы* не означает совокупности объектов, каждый из которых может быть обозначен как *я*: это в принципе невозможно, поскольку *я* всегда относится к речи одной личности, именно говорящего. В самом деле, *мы* не означает 'я + я', но может означать либо 'я + ты' (а также 'я + ты...'), либо 'я + он', 'я + она', 'я + оно', 'я + они' (а также 'я + он...', 'я + она...', 'я + оно...', 'я + они...')⁵⁵.

Между тем *вы* может означать как 'ты + ты', так и 'ты + он' (или же 'ты + она', 'ты + оно', 'ты + они').

В некоторых языках имеются специальные формы так называемого множественного числа личных местоимений 1-го и 2-го лица (точнее говоря, специальные формы неединственного числа личных местоимений с референцией к 1-му или 2-му лицу): «инклюзивные», означающие 'я + ты...' или 'ты + ты', и «эксклюзивные», означающие 'я + он...' (или же 'я + она...', 'я + оно...', 'я + они...') или 'ты + он' (или же 'ты + она', 'ты + оно', 'ты + они').

Таким образом, если форма *мы* не является формой множественного числа, то форма *вы* может выражать множественное число, но не обязательно его выражает; в то же время форма *они* всегда выражает множественное число.

Как видим, значение множественного числа выражается в 3-м лице, может выражаться во 2-м лице и не выражается в 1-м лице. Это показывает, что местоимение 2-го лица занимает промежуточное положение между местоимением 1-го лица и местоимением 3-го лица: местоимение 2-го лица может ассоциироваться либо с местоимением 1-го лица, поскольку *вы*, как и *мы*, может выражать совокупность противопоставляемых объектов (ср.: «мы = я + ты...», «я + он...»; «вы = ты + он...»), либо с местоимением 3-го лица, поскольку *вы*, как и *они*, может выражать совокупность идентифицируемых объектов (ср.: «они = он + он»; «вы = ты + ты»)⁵⁶.

Ассоциация местоимения 2-го лица с местоимением 1-го лица обусловлена меной ролей между участниками диалога, когда слова *я* и *ты* в процессе коммуникации меняют своих референтов: по отношению к одному и тому же лицу *я* превращается в *ты*, а *ты* — в *я* (тот, кто обозначает себя как *я*, становится обозначенным как *ты*, и наоборот). Это означает, что говорящий (*я*) признает своего собеседника (*ты*) как потенциального говорящего. Таким образом, говорящий (тот, кто обозначает себя как *я*, но кто допускает называть себя *ты*) признает своего собеседника (того, кого он обозначает как *ты*, но кого он допускает называть себя *я*) лицом с равным статусом. Поскольку говорящий осознает себя как субъекта (см. подробнее ниже, § VI-1), можно сказать, что он признает своего собеседника лицом с равным статусом субъекта, т. е. признает его как личность⁵⁷.

Ассоциация местоимения 2-го лица с местоимением 3-го лица обусловлена тем, что в то время как говорящий всегда уникален (каждый речевой акт предполагает одного, и только одного говорящего), у него может быть несколько собеседников: только одно лицо в речевом акте (в процессе высказывания) может обозначать себя как *я*, но возможно неограниченное число лиц, которых оно может обозначать при этом как *ты*⁵⁸.

2. Итак, местоимение *я* обозначает того, кто произносит *я* (кто определяет себя как *я* в процессе речевого акта).

Местоимение *ты* относится к тому, кто может обозначать себя как *я* в процессе коммуникации (в ситуации диалога).

Местоимения *он*, *она* и *оно*, если речь идет о лице, относятся к тому, кто может обозначать себя как *я* вне процесса коммуникации (вне ситуации диалога).

Мы можем заключить, что *ты* соотносится с *я*, в то время как *он* (*она*, *оно*) соотносится с *ты*:

$я \Leftrightarrow ты \Leftrightarrow он \text{ (она, оно)}$.

Другими словами: *я* и *он* (*она*, *оно*) соотносятся (опосредствованы) через *ты*: лицо, обозначаемое как *я*, и лицо, обозначаемое как *ты*, разделяют статус участника разговора; лицо, обозначаемое как *ты*, и лицо, обозначаемое как *он* (*она*, *оно*), разделяют статус потенциального говорящего.

Я и *ты* взаимозаменяемы в разговоре: *я* превращается в *ты*, а *ты* — в *я* (лицо, обозначаемое как *я*, может обозначаться как *ты*, а лицо, обозначаемое как *ты*, может обозначаться как *я*). Таким образом они непосредственно соотносятся друг с другом.

Ты и *он* (*она*, *оно*) также взаимозаменяемы (в тех случаях, когда местоимение *он* / *она* / *оно* обозначает лицо). В принципе я могу говорить с лицом, которое я раньше обозначал как *он*, называя его теперь местоимением *ты*, тогда как лицо, к которому я раньше относился при помощи местоимения *ты*, может обозначаться, соответственно, как *он*. В этом случае *он* превращается в *ты*, а *ты* — в *он*. (То же относится и к местоимениям *она* и *оно*.)

Тем самым местоимение *я* предстает как первичное (исходное) по отношению к другим личным местоимениям: в самом деле, соотношение с *я* (отсылка к *я*) имплицитно присутствует в местоимениях *ты* и *он* (*она*, *оно*), поскольку как *ты*, так и *он* (*она*, *оно*) — если это последнее местоимение обозначает лицо — выступают как потенциальные говорящие: те, кто могут обозначать себя как *я*. Можно сказать, что *я* образует семантическое ядро личных местоимений⁵⁹.

В принципе наличие *я* имплицировано при обозначении кого-нибудь как *ты* и наличие *ты* имплицировано при обозначении кого-нибудь как *он* (*она*, *оно*). Лица, обозначаемые как *он*, *она*, *оно*, могут эвентуально быть обозначены как *ты* (стать со-

беседником), подобно тому как лицо, обозначаемое как *ты*, может быть эвентуально обозначено как *я* (стать говорящим). Если мы употребляем местоимение *он* (*она, оно*) при отсутствии собеседника (т. е. лица, к которому мы могли бы отнестись, используя местоимение *ты*), это предполагает наличие имплицированного адресата. В частном случае этот адресат может совпадать с говорящим, как это имеет место в случае автокоммуникации.

Итак, местоимение *я* непосредственно соотносится с *ты* и опосредованно — с *он, она, оно*.

3. Поскольку личные местоимения, такие как *я* и *ты*, могут относиться к любому лицу, может считаться недопустимым, с точки зрения соблюдения приличий, пользоваться ими при обращении к лицу, занимающему высокую социальную позицию. В самом деле, употребление этих местоимений в принципе предполагает равноправный статус (см. выше, § III-1), и именно эта предпосылка может восприниматься как недопустимая в таких условиях — как оскорбительная для адресата. Поэтому местоимение 2-го лица обычно избегается или даже исключается — в разных языках — при разговоре с монархом, папой, епископом и т. п. (ср. такие специальные гонорифические формы обращения, как *Santità, Eminenza, Eccellenza, Majestà* и т. п., а также такие формы, как *ваше величество, ваше святейшество* и т. п.⁶⁰, которые включают посессивные местоимения 2-го лица, но при этом могут согласовываться с глаголом в 3-м лице⁶¹). В целом ряде языков к вышестоящему лицу принято обращаться в 3-м лице с использованием слова, выражающего превосходство, могущество, старшинство, — такого, например, как *государь, господин, seigneur, sire* и т. п. (часто с добавлением посессивного местоимения 1-го лица, ср. отсюда франц. *monsieur*, итал. *messere* и т. п.)⁶².

Равным образом и местоимение 1-го лица может избегаться в такого рода ситуации: оно может заменяться при этом словом с уничижительным значением, например таким, как *раб, слуга* и т. п. (которое соотносится с наименованием собеседника «господином» и т. п.)⁶³. Ср. также описательные обороты, заменяющие местоимение *я* и противопоставленные формам

обращения типа *ваше величество*, *ваше благородие* и т. п., — такие, например, как *mediocritas nostra*, *parvitas nostra*, *humilitas mea* или, соответственно, *наше смирение*, *моя худость*, *meine Wenigkeit*, и т. п.⁶⁴

Наглядной иллюстрацией может служить следующий пассаж из Библии: «И сказала женщина: позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему, царю. Он сказал: говори» (II Цар. XIV, 12). Если бы мы были не знакомы с контекстом, мы вправе были бы предположить, что женщина, о которой идет речь, имеет в виду какое-то другое лицо, предлагая, чтобы некая раба обратилась к царю. В действительности, однако, выражение *раба твоя* замещает здесь местоимение 1-го лица (*я*), а выражение *господин мой*, *царь* замещает местоимение 2-го лица (*ты*). Цитированная фраза означает таким образом ‘позволь мне сказать тебе’ — но при этом как местоимение *я*, так и местоимение *ты* оказываются недопустимыми в этом контексте⁶⁵.

В определенной разновидности английского языка (в графстве Суффолк) местоимение 1-го лица (*I*), так же как и местоимение 2-го лица (*you*), может заменяться в вежливой речи на местоимение 3-го лица (*he*), например, говорят *He will do it for him with pleasure* вместо *I will do it for you with pleasure* или *He's sure* вместо *I am sure* и т. п.⁶⁶ При этом местоимение *he* в значении 1-го лица выступает, по-видимому, как субститут выражения *your (obedient) servant*, а в значении 2-го лица — как субститут слова со значением ‘господин’ (*Sir, Mylord* и т. п.)⁶⁷. Таким образом, выступая в функции 1-го лица, местоимение *he* выражает смирение, уничижение, тогда как в функции 2-го лица та же форма выражает, напротив, почтение.

Употребление форм 3-го лица как вместо 1-го, так и вместо 2-го лица может наблюдаться и в персидской вежливой речи⁶⁸.

Местоимение 2-го лица единственного числа может заменяться каким-то местоименным субститутотом (гонорифической местоименной формой)⁶⁹ — в частности, соответствующей формой местоимения 2-го лица множественного числа (в разные исторические периоды такой формой может быть, например, лат. *vos*⁷⁰, исп. *vos*⁷¹, порт. *vós*⁷², итал. *voi*⁷³, франц. *vous*⁷⁴, рус. *вы*⁷⁵, польск. *wy*⁷⁶, англ. *ye, you*⁷⁷, нем. *Ihr*⁷⁸, нидерл. *ghi*⁷⁹, дат. *I*⁸⁰, швед. *ni*⁸¹, исланд. *ér, þér*⁸², и т. п.), 3-го лица единственного числа (нем. *er/sie*⁸³, дат. *han/hun*⁸⁴, швед. *han/hon*⁸⁵, исп. *él/ella*⁸⁶,

итал. *Ella, Lei*⁸⁷, ср. также исп. *Usted*⁸⁸, порт. *você*⁸⁹, катал. *vosté*⁹⁰, нидерл. *U*⁹¹) или, наконец, 3-го лица множественного числа (нем. *Sie*⁹², дат. *De*)⁹³. Местоимение 3-го лица в подобных случаях обычно восходит либо к обращению типа *господин*⁹⁴, либо к гонорифическим формам обращения типа *ваша милость* и т. п.⁹⁵, но это, вообще говоря, не обязательно⁹⁶.

В свою очередь отношения между высшим и низшим определяют правила вежливости, принятые между людьми, равноправными по своему социальному положению, — по тому же принципу, как принято кланяться друг другу, именовать своего собеседника «господином», «милостивым государем» и т. п. или же называть самого себя его «покорным слугой», — так, как если бы каждый из собеседников занимал низшее положение по отношению к другому⁹⁷. Иначе говоря, речевой этикет предполагает одинаковое подчеркивание дистанции между говорящим и слушающим, занимающими равную социальную позицию⁹⁸. В результате такого рода замена (замена местоимения 2-го лица единственного числа на тот или иной местоименный субститут) может оказываться регламентированной (нейтральной) формой обращения к собеседнику. Так, во французском языке обращение на *tu* маркировано (будучи ограничено в своем употреблении)⁹⁹, тогда как в английском форма *you* практически вытеснила соответствующую форму единственного числа (*thou*), которая получила специальную функцию поэтической или возвышенной формы¹⁰⁰; в результате *you* является в современном английском языке местоименной формой 2-го лица, общей для обоих чисел¹⁰¹. Равным образом в нидерландском языке в свое время форма *ghi* (местоимение 2-го лица множественного числа) вытеснила форму *du* (местоимение 2-го лица единственного числа)¹⁰².

Форма множественного числа, можно сказать, возвеличивает собеседника, выражая его превосходство над говорящим (в основе такого употребления лежит, очевидно, утверждение, что этот человек по своему могуществу или значимости равен множеству людей)¹⁰³. Типологически это сопоставимо с определением самого говорящего как маленького, ничтожного по отношению к собеседнику¹⁰⁴.

С обращением к вышестоящему лицу во множественном числе, которое призвано показать превосходство собеседника над

говорящим (принятое в вежливой речи), можно сопоставить обратное явление: обращение в единственном числе к группе лиц, занимающих низшее или подчиненное положение по отношению к говорящему (в вежливой речи недопустимое). В первом случае имеет место возвеличивание собеседника, во втором — умаление. В русском языке это наблюдается, например, в военных командах типа *Стой!*, *Ложись!*, *Становись!*, *Разойдись!*, *Заряжай!* и т. п. (ср. особенно: *Пошел все наверх!* — с нарушением согласования по числу). Точно так же у Гоголя в “Ревизоре” (акт V, явл. 2) горюничий, разговаривая с купцами, последовательно использует формы единственного числа: «... Только теперь смотри, держи ухо востро! <...> Чтоб поздравление было... понимаешь? <...> Ну, ступай с Богом!»¹⁰⁵. Ср. еще: «Ну, ребята, — сказал комендант; — теперь отворяй ворота, бей в барабан» (Пушкин. “Капитанская дочка”, гл. VII)¹⁰⁶; «Я затыну, а вы не отставай!» (Крылов. “Парнас”)¹⁰⁷. Говорящий в таких случаях обращается к каждому члену группы, которая как бы состоит при этом из однородного, неразличимого материала¹⁰⁸.

Между тем в основе употребления формы 3-го лица лежит стремление избежать непосредственного обращения к собеседнику¹⁰⁹. Тем самым форма 3-го лица демонстрирует еще большую дистанцию между говорящими, чем форма 2-го лица множественного числа¹¹⁰; показательна в этом смысле последовательная эволюция форм вежливости, когда первоначально местоимение 2-го лица единственного числа заменяется на соответствующее местоимение множественного числа, а затем это последнее заменяется на местоименную форму 3-го лица единственного числа: так, в итальянском *voi* заменяется на *Lei*; в шведском *ni* заменяется на *han/hon*; в немецком *Ihr* заменяется на *er/sie* (3-е лицо единственного числа) и затем, последовательно, на *Sie* (3-е лицо множественного числа); в датском *I* заменяется на *han / hun* (3-е лицо единственного числа) и затем, последовательно, на *De* (3-е лицо множественного числа). Немецкое *Sie*, как и датское *De*, объединяет при этом значения множественности и остраненности. Соответствующая тенденция наблюдается и в других языках, хотя обращение в 3-м лице не везде закрепляется в качестве общепринятой нормы вежливой речи. С распространением обращения в 3-м лице обращение во

2-м лице множественного числа может восприниматься как менее формальное или даже как уничижительное¹¹¹; характерно, что в немецком языке таким же образом может восприниматься обращение на *er* (в 3-м лице единственного числа), после того как стало общепринятым обращение на *Sie* (в 3-м лице множественного числа)¹¹².

Вместе с тем обращение в 3-м лице (с использованием слова, означающего 'господин', 'госпожа' и т. п.) может восприниматься как сервильное: в английском, французском или немецком языке такое обращение характеризует речь слуг, официантов, продавцов и т. п., выражающихся с подчеркнутой отстраненностью, которая не предполагает такого же обращения со стороны собеседника (ср.: *Monsieur m'a appelé?*, *What can I show Madam?*, *Was wünscht der Herr?*)¹¹³.

Мы говорили о замене местоимения 2-го лица единственного числа на соответствующую форму множественного числа, призванную подчеркнуть превосходство собеседника над говорящим. В противоположной ситуации местоимение 1-го лица единственного числа может заменяться соответствующей формой так называемого множественного числа (которая, как мы уже отмечали, не имеет значения множественного числа, см. § III-1); речь идет о случаях *pluralis majestatis*¹¹⁴, ср. в императорских манифестах: *Мы, Николай Второй...* и т. п. Этот оборот появляется в императорский период: сперва он отмечается у римских епископов (начиная с папы Климента I, ок. 91 – ок. 101), а затем и у римских императоров (начиная с императора Гордиана III, 238–244 гг.)¹¹⁵; в дальнейшем это становится традицией, которая усваивается в других странах¹¹⁶. Очевидно, что при этом также подчеркивается дистанция между говорящим и слушающим. Местоимение *мы* при самоименовании определенным образом коррелирует с обращением на *вы*. Разница состоит в том, что если замена местоимения 2-го лица единственного числа может предполагаться у обоих участников диалога, то замена местоимения 1-го лица единственного числа, как правило, имеет односторонний характер: употребление формы *pluralis majestatis* не предполагает ответа с использованием такой же формы. Считается, что формы *pluralis reverentiae*, т. е. формы

множественного числа при обращении к одному лицу, восходят к формам *pluralis majestatis*¹¹⁷, хотя соотношение, вообще говоря, может быть и обратным¹¹⁸.

Аналогичное явление — употребление формы 1-го лица множественного числа при обозначении субъекта в единственном числе — может иметь и другую, прямо противоположную функцию, выражая не противопоставление говорящего и слушающего, как это имеет место в случае *pluralis majestatis*, но, напротив, — их ассоциацию (включение слушающего в личную сферу говорящего). Такое употребление характерно прежде всего для латыни¹¹⁹, но оно наблюдается и в греческом¹²⁰, а отчасти и в других языках (либо родственных греческому и латинскому, либо связанных с ними культурной традицией). В отличие от *pluralis majestatis*, это употребление восходит, по-видимому, к разговорной речи¹²¹. Формы 1-го лица множественного числа могут чередоваться при этом с соответствующими формами единственного числа; в каких-то случаях их можно сопоставить с жестом, приглашающим собеседника включиться в разговор, акцентирующим его согласие или соучастие — вообще, так или иначе подчеркивающим его сопричастность предмету речи; вместе с тем в латинском языке формы единственного и множественного числа могут иногда свободно варьировать, не обнаруживая сколько-нибудь очевидных семантических различий. Случаи такого употребления обычно определяются как *pluralis modestiae*, хотя представляется более точным говорить в этих случаях о *pluralis sociativus* (в этих общих рамках может различаться семантика *pluralis modestiae*, *pluralis affectus*, *pluralis inclusivus* и т. п.)¹²². К ним примыкает авторское *мы* (*pluralis auctoris*), которое может выражать как ассоциацию, так и диссоциацию автора с читательской аудиторией: с одной стороны, оно может объединять автора с читателем, с другой же стороны, может выражать выключение автора из диалогической ситуации¹²³. Существовавшее, что форма 1-го лица множественного числа в принципе не предполагает в этом случае употребление формы 2-го лица множественного числа (*pluralis reverentiae*).

Итак, одни и те же формы — формы 1-го лица множественного числа — могут выражать в разных речевых стилях разные отношения между говорящим и слушающим (адресантом и адресатом). Это странное на первый взгляд обстоятельство очевидным образом связано с амбивалентным характером местоимения 1-го лица единственного числа, которое в принципе может как объеди-

няться с местоимением 2-го лица единственного числа (постольку, поскольку *я* и *ты* взаимозаменяемы в диалогической речи), так и противопоставляться ему. Коль скоро *я* и *ты* могут противопоставляться друг другу, употребление местоимения 1-го лица единственного числа в каких-то случаях может считаться нескромным, вызывая представление о сосредоточенности говорящего на собственной личности (слишком частое повторение этого местоимения носит название *эгоизм* — слово, которое восходит к слову *эгоизм*¹²⁴); соответственно объясняется *pluralis modestiae*¹²⁵.

Можно сказать, что *я* и *ты* в принципе противопоставлены друг другу (в языке), но это противопоставление может нейтрализоваться (в речи). Как то, так и другое вызывает стремление ограничить употребление формы 1-го лица единственного числа, которое приводит к замене ее соответствующей формой множественного числа: в одном случае (при противопоставлении адресанта и адресата) имеет место *pluralis majestatis*, в другом (при нейтрализации этого противопоставления, т. е. при их ассоциации) — *pluralis sociativus*.

Следует заметить, что употребление местоимения 3-го лица единственного числа (если только оно не является гонорифической заменой местоимения 2-го лица, см. выше) может считаться невежливым — постольку, поскольку человек, обозначаемый таким образом, особенно если он присутствует при разговоре, как бы выключается из сферы общения, уподобляясь, тем самым, неличным и, в частности, неодушевленным объектам¹²⁶. Вообще 3-е лицо означает отсутствие, выключение — либо из сферы общения, либо из данного места или времени¹²⁷. В некоторых языках местоименная форма 3-го лица единственного числа может заменяться при этом формой 3-го лица множественного числа (иногда по аналогии с формой 2-го лица множественного числа, принятой при вежливом обращении); в определенном стиле русского языка так принято было говорить о присутствующих¹²⁸. Замена формы 3-го лица единственного числа — как местоименной, так и неместоименной — на соответствующую форму множественного числа характеризует, в частности, вежливый стиль персидского языка¹²⁹.

Очевидно, что указанные ограничения в употреблении местоимений мотивированы в конечном итоге условиями устного общения. Вместе с тем в письменной речи употребление

местоимения 3-го лица по отношению к Богу или высокопоставленному лицу оказывается возможным, если местоимение это написано с прописной буквы: местоимение при этом уподобляется собственному имени, теряя свою местоименную специфику (поскольку подчеркивается его соотнесенность именно с данным конкретным лицом)¹³⁰.

Сходное явление — подчеркивание дистанции между говорящим и слушающим — может наблюдаться и в сфере употребления личных собственных имен. В разных языках — в частности, в русском — существуют более или же менее формальные формы обращения к собеседнику. Так, например, в русском речевом обиходе, обращаясь к малознакомому человеку (если это не ребенок), принято называть его по имени и отчеству. Напротив, близкое знакомство выражается в употреблении уменьшительной формы собственного имени (*Петя, Сережа* и т. п.). Речевой этикет предписывает при этом использование собеседниками стилистически одинаковой (равноправной) формы обращения: если один человек называет другого по имени и отчеству, а тот называет его коротким именем, это демонстрирует различие их социального статуса¹³¹. В этом отношении употребление собственных имен более или менее аналогично употреблению местоимений *ты* и *вы*: обращение на *вы* предполагает такое же обращение к говорящему со стороны его собеседника, в противном же случае подчеркивается социальная дистанция между ними.

Достоин внимания, что говорящий, который называет своего собеседника по имени и отчеству, в принципе не должен называть самого себя таким же образом (это проявляется, например, в разговоре по телефону, когда возникает необходимость сказать, кто говорит): инициатива такого наименования должна принадлежать собеседнику, а не самому говорящему, т. е. такой способ обращения не может быть навязан. Называть самого себя по имени и отчеству, вообще говоря, не принято, хотя это нередко делается (отчасти по незнанию речевого этикета, отчасти в силу влияния со стороны западноевропейских языков, которое приводит как к исчезновению отчеств, так и к нивелировке в их употреблении)¹³²; этот запрет снимается, если в сочетании с именем и отчеством произносится фамилия (в ситуации, когда один человек представляется другому) — постольку, поскольку в этом случае речь идет не о взаимных отношениях собеседников, а о формально-бюрократических сведениях о говорящем (которые к собеседнику не имеют непосредственного отношения).

Еще отчетливее подчеркивалась дистанция между коммуникантами в Древней Руси, где эпистолярный этикет предписывал использование уменьшительной формы имени (так называемого полуимени) по отношению к себе самому, при том что адресат именовался полным именем (ср., например: «Государю Борису Ивановичу бьет челом (...) Терешка Осипов» и т. п.); подобные формы обращения были запрещены специальным указом Петра I от 20 декабря 1701 г.¹³³

Семиотически это ритуальное самоумаление аналогично поклону, в той или иной форме принятому в самых разных культурах при общении с вышестоящим лицом. Очевидно, что и в этом случае подчеркивается дистанция между говорящим и слушающим, причем социальная дистанция проявляется здесь как дистанция пространственная (будучи соотнесена с противопоставлением высокого и низкого). Между тем обратное явление — ритуальное самовозвеличение, проявляющееся в формах *pluralis majestatis*, — типологически может быть сопоставлено с церемониалом византийского двора, где в то время как посол кланялся императору, тот неожиданно возносился над ним с помощью устроенного в троне механизма¹³⁴.

IV. Специфика местоимения «я» (в речи): Ограничения в воспроизведении

1. Предложение с местоимением *я*, как правило, не может быть воспроизведено другим говорящим без изменения смысла (за одним исключением, о котором будет сказано ниже, см. § IV-2).

Для всякого другого предложения в изъявительном наклонении существует такая ситуация, когда оно может означать то же самое в речи другого говорящего. Это, в частности, верно и для предложений с местоимением *ты*. Мы вправе думать, что предложения *Он любит читать* или *Ты любишь читать* могут иметь один и тот же смысл (одно и то же содержание) для разных говорящих. Вместе с тем предложение *Я люблю читать* всегда будет иметь разный смысл для разных говорящих — постольку, поскольку слово *я* будет относиться в этом случае к разным людям.

Представим, что два человека произносят одну и ту же фразу *Он хороший человек*. Слово *он* может относиться к разным

лицам, и говорящие могут вкладывать различный смысл в слово *хороший*. Тем не менее, можно представить себе ситуацию, когда слова *он* и *хороший* имеют для этих людей один и тот же смысл. Такая ситуация немыслима, однако, в случае слова *я*.

Очевидным образом это связано с тем, что местоимение *я* не имеет формы множественного числа, что обусловлено, в свою очередь, уникальным положением говорящего в речевом акте (см. выше, § III-1). Положим, *я* могу повторить фразу (произнесенную другим человеком) *Я сын своего отца*, но это будет новое сообщение (фраза с другим содержанием), поскольку местоимение *я* в моей речи будет относиться к другому человеку — и, соответственно, к другой ситуации, — нежели в исходном тексте (мною повторенном).

Представим, что я слышу фразу *Петр — сын Сергея*. Я могу повторить эту фразу применительно к той же ситуации, вкладывая в нее тот же смысл. В частности, если фраза, которую я воспроизвожу, представляет собой истинное высказывание (соответствует действительности), моя фраза также будет истинной (будет соответствовать действительности). Если исходная фраза является ложной, моя фраза также будет ложной, но смысл фразы не изменится.

Представим теперь, что я слышу фразу *Я сын своего отца*. Я могу воспроизвести эту фразу, но она неизбежно будет относиться к другой ситуации. В моих устах это будет истинным высказыванием, но не потому, что исходная фраза (которую я воспроизвожу) является таковым. Это высказывание истинно, поскольку каждый человек мужского пола является сыном своего отца, но это внеязыковое обстоятельство не имеет отношения к нашей проблеме.

Даже близнецы не могут произнести эту фразу в одинаковом смысле (что было бы возможно, однако, если бы местоимение *я* имело форму множественного числа)¹³⁵.

2. Исключение к сказанному представляет лишь ситуация цитирования, когда слова в цитированном тексте употребляются на принципиально ином логическом уровне, нежели в непосредственно порождаемом тексте. Цитируемый текст не принадлежит актуальному говорящему, который, следовательно, не может нести за него ответственность; этот текст непосредственно не соотносится с говорящим: он соотносится с речевой деятельностью другого лица¹³⁶.

Тем не менее, и в данном случае дело обстоит не так просто. В 1610 г. русский царь Василий Шуйский был смещен с престола и насильственно пострижен в монахи (что должно было лишить его возможности претендовать на престол). Он, однако, отказался произнести слова монашеского обета, и другой человек — князь Василий Тюфякин — произнес их за него. При этом князь Тюфякин должен был говорить от первого лица, имея в виду, что произносимый им текст относится к другому лицу (к царю Василию, а не к нему самому). Отметим, что при произнесении монашеских обетов имя не произносится (ни мирское, ни монашеское); таким образом, Тюфякин говорил от первого лица, не называя имени Шуйского. В результате патриарх Гермоген отказался считать Василия Шуйского монахом: он называл монахом князя Тюфякина, а не Шуйского¹³⁷. Слова монашеского обета имеют перформативную функцию: сам факт их произнесения означает совершение (исполнение) соответствующего действия, и таким образом с точки зрения патриарха они в принципе не могли быть процитированы (воспроизведены другим лицом в качестве цитаты)¹³⁸.

3. Рассматриваемая особенность оказывается весьма существенной при усвоении языка. Усвоение языка в принципе основано на подражании: ребенок повторяет речь взрослых. При этом возможны ситуации, когда может быть повторена фраза с местоимением *ты*: ребенок, услышав, как его мать обращается к третьему лицу с местоимением *ты*, может повторить то, что она говорит, и фраза, которую он порождает при этом, оказывается правильной. Но гораздо труднее обнаружить ситуацию, где он мог бы повторить фразу с местоимением *я*. Подробнее об этом будет сказано ниже (в § VII-1).

V. Дейктические слова и постулирование объективной реальности

1. Экзистенциальный статус лиц, которые могут быть обозначены как *я* и *ты* в диалогической речи, предполагается одинаковым: в самом деле, в обычном случае они относятся к одной и той же ситуации, они имеют общие пространственные и временные координаты, которые определяются самим процессом коммуникации.

Говорящий безусловно уверен в том, что он существует¹³⁹. Если он разговаривает с кем-то и тот ему отвечает, его собеседнику приписывается тот же экзистенциальный статус: предполагается, что они находятся в одном и том же хронотопе (пространстве и времени). Мы можем обращаться к Богу, или к покойнику, или же к нашим будущим потомкам, используя местоимение *ты*. Мы можем не ожидать ответа, но при этом имеет место презумпция, что в случае ответа (возможного, например, в видении или во сне) он может быть выражен в 1-м лице (с использованием местоимения *я*). Предполагается, что в этом случае мы оказываемся с говорящим в одном ситуационном пространстве.

Элементарный случай: я знаю, что мой собеседник существует, поскольку я с ним говорю и поскольку он мне отвечает на том же языке — нас объединяет реальность речи.

Более общий случай: я знаю, что мой собеседник существует, и это выражается в том, что я к нему обращаюсь, даже если он мне и не отвечает. При этом ожидается, что он как-то мне может ответить, хотя его ответ может быть выражен в иной системе знаков (например, он может быть представлен какой-то реакцией на мои слова). Нас объединяет при этом не реальность речи (основанной на общем языке), а реальность коммуникации — в самом общем смысле этого слова. Таково общение с животными¹⁴⁰, с компьютером и, наконец, с потусторонними силами. В случае магической модальности предполагается, что в ответ на наше обращение к потусторонним силам обязательно должна быть та или иная реакция, в случае же религиозной модальности считается, что реакция не обязательно следует, но мы верим, что она может быть. Поэтому вопрос существования Бога в религиозном мировоззрении — это вопрос веры, тогда как магическое мировоззрение, подобно научному мировоззрению, основывается не на вере, а на знании¹⁴¹.

Экзистенциальный статус лиц, которые могут быть обозначены как *я* и *он* (*она*, *оно*), предполагается, напротив, не одинаковым: в самом деле, лицо, которое обозначается местоимениями *он*, *она*, *оно*, не обязательно присутствует при разговоре, оно может относиться к другой действительности (к другому пространству или времени) и, в частности, признаваться несуществующим.

Итак, местоимения *я* и *ты* предполагают одинаковый экзистенциальный статус (принадлежность к одной и той же ситуации и, тем самым, к одной и той же действительности). Рав-

ным образом и местоимения *ты* и *он* (*она*, *оно*), если местоимение 3-го лица относится к человеку, предполагают одинаковый экзистенциальный статус — статус потенциального участника коммуникации: в этом случае предполагается возможность принадлежности к одной и той же ситуации¹⁴². В этом смысле экзистенциальный статус лица, которое обозначает себя местоимением *я*, последовательно распространяется на экзистенциальный статус лица, которое обозначается как *ты*, и затем, опосредствованным образом, на экзистенциальный статус лица, которое обозначается как *он* (*она*, *оно*).

Местоимение *я* выражает абсолютную реальность — эгоцентрическую реальность говорящего субъекта (именно ту реальность, которая выражена в имени Бога: «Я есмь»). Если я обращаюсь к кому-нибудь, я признаю, что мой собеседник существует в том же смысле, что и я. Тем самым я могу усваивать ему свое восприятие действительности — я могу предположить, что он воспринимает мир так же, как я.

Наконец, когда я отношусь к кому-нибудь с помощью местоимения *он* (*она*, *оно*), я распространяю это представление на третье лицо.

Действительно, местоимение *я* предполагает отсылку к моей реальности (к моему индивидуальному опыту, к моему субъективному мировосприятию). Но то обстоятельство, что *я* и *ты* взаимозаменяемы в процессе коммуникации — то, что *я* может превращаться в *ты*, а *ты* в *я* (по отношению к одному и тому же референту), — означает (или, говоря точнее, создает презумпцию того), что мы принадлежим к одной и той же реальности: предполагается, что у нас одинаковый экзистенциальный статус. Отношения между *я* и *ты* последовательно распространяются затем на отношения между *ты* и *он* (*она*, *оно*).

Мой собеседник имеет в моих глазах равноправный статус воспринимающего субъекта, он существует в том же смысле, что и я, и я усваиваю ему свое восприятие действительности: я исхожу из того, что он воспринимает окружающую нас действительность так же, как это делаю я. В самом деле, он ведет себя по отношению ко мне так же, как я веду себя по отношению к нему (он называет себя *я* — так же, как я сам называю себя, — а

меня называет *ты* — так же, как я называю его): это означает, по-видимому, что он воспринимает меня так же, как я воспринимаю его, и естественно думать, что наше общее восприятие не ограничивается нашим восприятием друг друга. В свою очередь, он как говорящий, очевидно, исходит из того же предположения, и таким образом мы приходим к согласию. Равным образом я уверен, что когда мой собеседник беседует с другим человеком — которого я определяю как *он*, но которого он называет *ты*, — тот существует в том же смысле, что и я, т. е. обладает таким же экзистенциальным статусом. Соответственно, мои отношения с собеседником переносятся (экстраполируются) на его отношения с другим собеседником (по отношению к которому он становится *я*, а тот оказывается для него *ты*).

Поэтому мы можем говорить о существовании того, чего сейчас нет: предполагается, что между мной и египетским фараоном, который, как я полагаю, существовал тысячелетия назад, стоит последовательность людей, которые могли сообщать свое восприятие один другому¹⁴³. Равным образом мы можем говорить о существовании мира, в котором еще не было людей, предполагая при этом, что если бы они там были, они могли бы наблюдать то, о чем мы говорим. Соответственно, по мере удаления от непосредственного опыта восприятия вопрос о существовании становится все более и более условным.

В итоге идея существования, основанная на субъективном (индивидуальном) опыте, получает в наших глазах объективный смысл, не сводимый к опыту одного человека¹⁴⁴. Отсюда мы можем обмениваться нашим опытом: иными словами, мы можем осуществлять коммуникацию. Так формируется представление о реальности, не зависящей от отдельного человека, — представление об одной и той же реальности для разных людей, об их общем опыте. Иными словами, на основе субъективного восприятия создается виртуальный образ общей реальности, объединяющей нас всех (форма *нас* здесь соотносится с эксклюзивным *мы*, означая ‘я + он... + она...’, см. выше, § III-1), т. е. всех вообще говорящих.

2. Итак, употребляя личные местоимения, мы — я и мой собеседник — декларируем существование общего опыта. Пред-

ставление об общем опыте, в свою очередь, определяет представление об объективном существовании того, что чувственно воспринимается разными людьми¹⁴⁵.

Именно субъективное восприятие составляет первичное представление о действительности. Представление о действительности по самой своей сущности эгоцентрично: представление о существовании мира основывается на представлении о собственном существовании — иначе говоря, представление о собственном существовании экстраполируется на представление о существовании вообще.

Мы можем общаться постольку, поскольку у нас есть общие точки соприкосновения (общие точки отсчета, исходные пункты референции). И они создаются — в первую очередь — самим речевым актом. Реальность речи выступает как первичная реальность, объединяющая говорящих и позволяющая им соотносить свое восприятие действительности¹⁴⁶. На этом основании создается общее представление о действительности, к которой они (говорящие) принадлежат. Тем самым речевой акт оказывается отправным пунктом для формирования представления об объективной реальности, существующей независимо от индивидуального опыта.

Презумпция одинаково воспринимаемой реальности предстает как условие коммуникации (ср. выше, § I-2). Вместе с тем, как мы видели, виртуальная реальность формируется в процессе коммуникации: таким образом, то, что может рассматриваться как условие коммуникации, оказывается, в сущности, ее результатом.

Постулирование общего опыта как условие коммуникации отчетливо проявляется в таких, например, английских приветствиях, как *How are you?* или *How do you do?*. С формальной точки зрения (по своей языковой структуре) эти приветствия представляют собой вопросительные предложения; очевидно, однако, что это псевдовопросы, поскольку они не предполагают ответа в собственном смысле. Напротив, такое приветствие, как *How do you do?*, предполагает ответ в форме того же самого вопроса: *How do you do?*; приветствие *How are you?* в принципе предполагает ответ *Fine!* (независимо от действительного состояния отвечающего) и затем повторение того же вопроса. Особенно характерно в этом смысле такое приветствие, как *How are you doing today?*; так можно приветствовать человека, которого вы никогда не встречали ранее (та-

ким образом, в данном случае отсутствует импликация, нормальная при вопросе такого рода во всех прочих ситуациях, что вы знаете, как обстояли дела у этого человека раньше, — *how he was doing previously*); показательна подчеркнутая дейктивность этого приветствия — референция к настоящему времени, которая должна объединить обоих участников коммуникации. Эти фразы, если их понимать буквально, лишены смысла, однако они имеют свою особую, специальную функцию: они служат для установления общей точки отсчета, которая делает возможным начало диалога¹⁴⁷.

Сходным образом рекламный агент звонит вам по телефону и произносит: *This is Nancy*. Такого рода фраза в начале разговора, вообще говоря, предполагает знакомство с собеседником, но агент обращается так к человеку, с которым он заведомо незнаком; в этой ситуации назвать себя по имени равносильно тому, что сказать про себя *Это я (This is me)*. Такое обращение предполагает возможность коммуникации, т. е. служит для установления контакта.

3. Как отмечалось, говорящий субъект последовательно распространяет свое представление о существовании на своего собеседника и затем на третье лицо. Говорящий признаёт, что его собеседник имеет такой же экзистенциальный статус, как и он сам, после чего этот статус распространяется и на того, кто находится вне коммуникативной ситуации, кто не участвует в диалоге.

В свою очередь представление о существовании субъекта, не участвующего в коммуникации и вообще реально не присутствующего в данной ситуации, может распространяться на существование неличного или неодушевленного объекта: личные и неличные объекты объединяются в этом случае в качестве объекта коммуникации. Противопоставление субъекта и объекта в этом случае оказывается нерелевантным (нейтрализуется)¹⁴⁸.

Если лицо или предмет, о котором идет речь, находится в том же хронотопе (пространстве и времени), что говорящий и его собеседник, ему усваивается одинаковый с ними статус. В этом случае на него можно указать, воспользовавшись знаком-индексом. Отношение индексальности (выражающееся в использовании знаков-индексов) основывается вообще на смежности (*contiguity*): тот, кто указывает, и тот или то, на кого или на что указывают, должны иметь общие пространственные и временные координаты; тем самым, они обладают одним и тем же экзистен-

циальным статусом (т. е. в одинаковой степени реальны): соответственно, экзистенциальный статус говорящего распространяется на предмет речи. В этом случае употребление местоимения 3-го лица не предполагает предварительного наименования предмета речи: его существование признается безусловным.

В других случаях, прежде чем употребить местоимение 3-го лица, мы предварительно должны назвать соответствующее лицо или предмет, т. е. употребление этого местоимения имеет условный, анафорический характер. Существование того, кого или что мы обозначаем местоимением *он* (*она*, *оно*), зависит тогда от того, кого или что мы называем.

Если я чувственно воспринимаю некоторый объект и мой собеседник, который находится в том же пространстве и времени, тоже его чувственно воспринимает — и при этом мы можем координировать наше восприятие, — признается, что этот объект объективно существует. Его существование не сводится к моей реальности, к моему опыту. В частности, мы оба можем указать на этот объект¹⁴⁹. При этом предполагается, что и любой другой человек, оказавшись он в данном пространстве и времени (т. е. мой возможный собеседник), тоже был бы способен воспринимать данный объект.

Равным образом предполагается, что реальность данного объекта не зависит от пространства и времени: если его перенести в другое пространство и время, он также будет восприниматься. Тем самым опыт восприятия двух людей обобщается, по индукции переносясь на опыт восприятия всех вообще людей, способных координировать свое восприятие и осуществлять коммуникацию¹⁵⁰.

В результате местоимения 3-го лица объединяют — в самых разных языках — личные и неличные (в том числе неодушевленные) объекты.

С одной стороны, местоимение *он* (*она*, *оно*) может обозначать потенциального говорящего и, тем самым, соотноситься с местоимением *ты* (а через него — и с местоимением *я*).

С другой же стороны, местоимение *он* (*она*, *оно*) может относиться к неличному (и, в частном случае, к неодушевленному) объекту, который противопоставлен местоимениям *я* и *ты*.

Так это может быть понято; вместе с тем можно предположить, что данное объяснение представляет собой результат позднейшего (вторичного) осмысления и что на уровне филогенеза дело обстоит иначе. Язык усваивается на стадии есте-

ственного анимизма (когда для ребенка характерны анимистические представления). Это поддерживается обучением: если ребенку больно, взрослые наказывают предмет, причинивший ребенку боль¹⁵¹.

С избавлением от анимизма осмысление 3-го лица как предмета речи предполагает более высокий уровень абстракции. Объект может обозначать не то, что существует, а то, о чем говорят. Очевидным образом это способствует развитию абстрактного мышления.

4. Подведем итоги только что сказанному (позволив себе при этом повторить некоторые формулировки).

Все знания о мире, в котором мы живем (относительно окружающей нас действительности), основаны на нашем восприятии. При этом наше восприятие по необходимости субъективно, а не объективно. Однако мы можем общаться друг с другом, обмениваясь опытом. Откуда мы знаем, что у нас есть общий опыт, что мы воспринимаем мир более или менее одинаковым образом, что мы можем соотносить наши впечатления, наше восприятие? Строго говоря, мы этого знать не можем. Но у нас есть по крайней мере одна точка соприкосновения, одна общая точка отсчета — коммуникационный (речевой) акт. В процессе языковой коммуникации формируется представление об общей реальности, которое имеет объективный, а не субъективный характер — постольку, поскольку объединяет разных говорящих. Процесс коммуникации оказывается, таким образом, отправным пунктом — можно сказать, краеугольным камнем — при создании образа объективной реальности, существующей независимо от индивидуального опыта (внеположной отдельному человеку).

Мы признаем прежде всего, что *я* и *ты* (я и мой собеседник) представляем одну и ту же реальность говорящих субъектов, т. е. реальны в одинаковом смысле. Затем мы признаем, что *он* (лицо, о котором мы говорим друг с другом), как потенциальный говорящий, принадлежит к той же самой реальности. Так возникает презумпция одинаково воспринимаемой действительности, представление об общем опыте, объединя-

ющем всех вообще говорящих в данном социуме. Наконец, мы можем распространить восприятие лица, о котором идет речь, на восприятие вещи или явления — и то и другое объединяется в нашем сознании как предмет коммуникации — и, соответственно, мы можем прийти к согласию, что объект нашего восприятия — внешний мир, который воспринимается нашими органами чувств, — имеет ту же степень реальности, что и мы сами¹⁵². Это соглашение представляет собой продукт общего опыта, постулируемого потенциальными коммуникантами. Тем самым представление о нашем существовании экстраполируется и распространяется на существование окружающего нас мира.

Это достигается с помощью дейктических языковых знаков (в первую очередь — личных местоимений). Основная функция этих знаков — создание общего (для разных говорящих) образа реальности.

Это то, что выражено у Овидия в “Метаморфозах” (III, 446–465) — в сцене, когда Нарцисс, увидев в воде свое отражение, говорит: «Он — это я» (*Iste ego sum*). Нечто похожее выразил Рембо в своей подчеркнута аграмматической фразе: «... Je est un autre»¹⁵³.

«То еси ты» (*Tat tvam asi*) — такова сущность учения, которое получает в Упанишадах сын от своего отца, объясняющего ему устройство мира (“Чхандогья Упанишада”, ч. VI, гл. 8–16)¹⁵⁴. Эта фраза призвана подчеркнуть тождество индивидуального и объективного бытия, т. е. ее содержание можно передать таким образом: ты и мир, в котором ты живешь, в одинаковой мере реальны. Речь идет о «тождестве индивидуального, субъективного начала, с началом высшим, объективным, пронизывающим все сущее»¹⁵⁵. Ср. в гностическом “Евангелии Евы” (*εὐαγγέλιον Ἐῤῥας*): «Я есмь ты, и ты еси я, и где бы ты ни был, там я есмь, и я рассеян во всем. И потому, когда бы ты ни захотел меня собрать, собирая меня, ты собираешь себя самого» (*ἐγὼ σὺ καὶ σὺ ἐγώ, καὶ ὅπου ἐὰν ᾦς, ἐγὼ ἐκεῖ εἶμι, καὶ ἐν ἅπασιν εἶμι ἐσπαρμένος. καὶ ὅθεν ἐὰν θέλῃς, συλλέγεις με, ἐμὲ δὲ συλλέγων ἑαυτὸν συλλέγεις*)¹⁵⁶.

Знаменитый афоризм Декарта *Cogito ergo sum* может быть перефразирован как *Communico ergo sum* (или *Loquor*

ergo sum). Если мы рассматриваем мышление как автокоммуникацию (см. выше, § I-1), эта перефразировка предстает как распространение Декартова высказывания. Говорящий субъект — тот, кто определяет себя как *я*, — прежде всего заявляет о своем собственном существовании. Затем последовательно это представление обобщается и распространяется на другие объекты.

Таким образом представление об индивидуальном (личном) существовании, которое предстает как исходный момент референции, преобразуется в представление о равноправном существовании разных людей, что дает возможность координировать их восприятие; в результате создается представление об объективной действительности, объединяющей воспринимающего субъекта и объект его восприятия.

VI. Осмысление реальности: формирование метаязыка для ее описания

1. Наряду с постулированием объективной реальности язык может определять — в той или иной степени — и ее осмысление в категориальных формах.

Прежде всего это относится к идее субъекта, непосредственно связанной с местоимением *я*. Только в акте коммуникации человек выражает себя как субъект («ego»). Более того: сама идея личности — представление о себе как о субъекте — продуцируется языком¹⁵⁷.

Субъект есть тот, кто определяет себя как *я*; в то же время это тот, кто существует — *hic et nunc*, здесь и сейчас, — отдавая себе отчет в своем существовании¹⁵⁸. Именно это и выражено, как нам кажется, в ответе Бога на вопрос Моисея о его имени, и не случайно этот ответ, как мы видели, допускает разные толкования: оно может быть понято и как указание на абсолютного субъекта, и как указание на существование в абсолютном смысле (см. выше, § II-1).

Подобно тому, как существование *ты* предполагает существование *я*, так и существование *я*, вообще говоря, имплицитно предполагает существование другого лица, которое в принципе

может стать собеседником этого я (и к кому можно обратиться на *ты*).

И в то же время субъект есть тот, кто отличается от другого субъекта. Вообще понятие «себя» («ego») предполагает понятие другого: субъект («ego») способен отдавать себе отчет в своем существовании, только если он признает существование другого субъекта (другого «ego»). Их отношения проявляются в коммуникации. Таким образом возникает идея объективного, а не субъективного существования: употребление местоимения я имплицитно подразумевает эту идею¹⁵⁹.

Вместе с тем понятие субъекта предполагает понятие объекта (того, о чем или о ком может идти речь). Заметим, что субъект осознает себя при этом как часть объективной (внеположной ему) действительности, к которой он принадлежит.

Мы можем, однако, отвлеченно представить себе существование абсолютного я, не зависящего от другого субъекта или объекта. Такое я соотносится не с человеком, а с Богом: такова характеристика Бога как абсолютного субъекта.

Представление Бога как абсолютного субъекта обнаруживается в разных традициях. Оно отчетливо проявляется в имени Бога, которое он сообщает Моисею в библейской Книге Исход: «Я есмь тот, кто (то, что) есмь». Ср., вместе с тем, описание возникновения мира в Упанишадах:

«In the beginning this [world] was only the self, in the shape of a person. Looking around he saw nothing else than the self. He first said „I am“. Therefore arose the name of „I“. Therefore, even to this day when one is addressed he says first „This is I“ and then speaks whatever other name he may have» («Брихадараньяка Упанишада», разд. Мадху, гл. I, 4-я брахмана, 1)¹⁶⁰. Приведем отчасти более точный, но менее ясный (в силу своей точности) русский перевод: «Вначале [все] это было лишь Атманом в виде *пуруши*. Он оглянулся вокруг и не увидел никого кроме себя. И прежде всего он произнес: „Я есмь“. Так возникло имя „Я“. Поэтому и поныне тот, кто спрошен, отвечает сначала: „Я есмь“, а затем называет другое имя, которое он носит»¹⁶¹.

Итак, мир как Космос, согласно Упанишатам, начинается с коммуникации (в этом случае — с автокоммуникации): он на-

чинается с речи, т. е. с семиотической активности. Мир предстает здесь как личность, которая создает семиотическое описание своего собственного существования. Так создается имя мира. Это разительно напоминает начало Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. I, 1).

Нечто подобное прослеживается и в греческой традиции: по свидетельству Плутарха, греки обращались к Богу с приветствием: «Ты еси» (εἶ)¹⁶².

В том случае, когда *я* выступает как обозначение абсолютного субъекта (т. е. когда *я* в принципе не предполагает противопоставления по отношению к *ты* или *он/она/оно*), местоимение 1-го лица выступает на правах собственного имени; иначе говоря, различие между местоимением и именем собственным при этом оказывается нерелевантным¹⁶³. Так, в Библии местоимение 1-го лица оказывается именем Бога (или с ним соотносится). Точно так же ребенок может монополизировать местоимение 1-го лица и заявить своему собеседнику: «Не смей называть себя „я“. Только Я это я, а ты только Ты»¹⁶⁴. Ребенок воспринимает слово *я* как свое имя. Эгоцентрическая позиция ребенка ближайшим образом напоминает при этом позицию Бога.

Взаимоотношение между местоимением и именем собственным обыгрывается у Джалаледдина Руми (суфийского поэта XIII в.). Он рассказывает о человеке, который пришел к своему другу и постучал в дверь. «Кто ты?», — спросил друг. — «Я», — отвечал тот. — «Уходи прочь», — сказал друг. После года разлуки и страданий этот человек пришел и постучал снова. Ему был задан тот же вопрос, и он отвечал: «Это ты у двери». «Поскольку ты — это я, входи, о я! в этом доме нет места для двух „я“. <...> Входи, о ты, кто есть я ...», воскликнул друг («Месневи-и манави», I, 3055–3063, 3077)¹⁶⁵. Одна из возможных интерпретаций этого эпизода: истинная любовь снимает противопоставление между двумя субъектами («я» и «ты»), в результате чего *я* может выступать на правах имени собственного¹⁶⁶.

2. Остается добавить, что и сама идея существования — осмысление существования — может формироваться, по-видимому, благодаря языку, выступая как продукт языковой активности.

В самых разных языках глагол, означающий ‘быть’, нормально предполагает наличие дополняющего его значимого компонента (предикативного члена), т. е. выступает как связка. В свою очередь идея существования образуется опущением предикативного члена, в результате чего связка получает самостоятельный и полноценный — абсолютный — смысл. Так Бог в Библии говорит *Я есмь*; точно так же мир (Атман) в Упанишадах говорит *Я есмь*. Характерно, что согласно Упанишадам, когда я говорю про себя *Я Петр* или *Я человек*, я выражаю идею собственного бытия (см. выше, § VI-1). В этом же смысле мы можем сказать о ком-то или о чем-то *Он был* или *Он будет* — без дополняющего глагол значимого компонента (именной или функционально ей эквивалентной части составного сказуемого)¹⁶⁷.

Соответственно, в самых разных языках глагол *быть* может как утверждать тождество или соотнесенность значимых компонентов текста, так и выражать существование¹⁶⁸. Поэтому данный глагол может передавать утверждение, как, например, в латыни, где утверждение может выражаться формой *est* (т. е. глагольной формой 3-го лица единственного числа со значением существования)¹⁶⁹; этому отвечает, вообще говоря, и значение русского военного *есть*¹⁷⁰. Идея существования и идея утверждения в принципе близки: утверждается то, что есть (существует)¹⁷¹.

При этом соединение в одном контексте форм глагола *быть* в настоящем и прошедшем или будущем времени по отношению к одному субъекту позволяет выразить идею абсолютно-го, панхронического существования¹⁷². Так, по свидетельству Плутарха, на одном из храмов Исиды была надпись: «Я есть все бывшее, и будущее, и сущее...» (Ἐγώ εἰμι πᾶν τὸ γεγονὸς καὶ ὄν καὶ ἐσόμενον...) ¹⁷³. Ср. слова Христа в Апокалипсисе: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель» (Ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ — Откр. I, 8)¹⁷⁴. И в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Πρὶν Ἀβραάμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι — Ин. VIII, 58)¹⁷⁵.

Если наше предположение верно, понятие существования как такового — иначе говоря, абстрактного бытия — первоначально формируется в тех языках, где есть глагольная связка (копула) как способ выражения предикации, — и уже затем, вторичным образом, распространяется на другие языки.

Как известно, глагольная связка имеется далеко не во всех языках. Более того, она появляется, по-видимому, на относительно поздней стадии развития языка. Так, в частности, в индоевропейских языках, как считают исследователи, первоначально связки не было и фраза (предикативное высказывание) могла представлять собой соположение именных членов (как это и поныне имеет место в русском языке — в настоящем времени).

Следует полагать, что связка восходит к полнозначному глаголу (для индоевропейских языков это глагол с корнем **es*), обладающему тем или иным достаточно конкретным значением. На определенном этапе этот глагол утрачивает свое лексическое значение и превращается в «пустое слово», выражая лишь специфические грамматические категории; таковыми являются категории времени и вида, характеризующие действие или состояние относительно речевого акта или же безотносительно к нему. На следующем этапе самостоятельное употребление связки, т. е. опущение предикативного члена (именной или функционально ей эквивалентной группы составного сказуемого), вторичным образом придает связке полноценное значение — на этот раз абстрактное значение существования. Если связка выражает категорию времени, опущение предикативного члена выражает идею существования во времени. Отсюда, в свою очередь, становится возможным и выражение абсолютного, панхронического существования во всех временах. Это, собственно, идея *н а д в р е м е н н о г о* существования, которое в принципе может осмысляться и как существование *в н е в р е м е н н о е*; существенно при этом, что и та и другая идея формируется не самостоятельно, а как развитие идеи существования во времени.

Можно предположить, что наличие грамматических категорий времени или вида является обязательным условием появления глагольной связки в языке: а ргюіг следует ожидать, что в языках, где нет названных глагольных категорий, не может быть и глагольной связки.

Как категория времени, так и категория вида в конечном счете отражают восприятие временного процесса. Если специфические глагольные категории имеют первичную временную семантику, выражая отношения во времени, то такая специфическая именная категория, как падеж, имеет первичную пространственную

семантику, выражая отношения в пространстве. Грамматическое противопоставление имени и глагола соответствует, таким образом, различию пространства и времени как основных категорий нашего познания. Действительно, имена в принципе ассоциируются с объектами, глаголы — с процессами¹⁷⁶: предполагается, что объекты находятся в (трехмерном) пространстве, тогда как процессы протекают (осуществляются) во времени. Таким образом, грамматическое различие между именем и глаголом имеет, по-видимому, эпистемологические корни. Представляется знаменательным то обстоятельство, что это различие обнаруживается в большинстве языков (хотя и не является универсальным явлением)¹⁷⁷.

Таким образом, как представление о Боге, так и представление о существовании может быть, по-видимому, в какой-то мере результатом языковой активности (ментального преобразования языка)¹⁷⁸. Мы не хотим сказать, что содержание этих понятий не выходит за пределы виртуальной реальности: это вопрос веры, т. е. мистического, а не рационального знания (метафизической, а не рационально постигаемой реальности). Но отсюда становится понятным, каким образом люди с разными религиозными и философскими представлениями — например, люди, верующие в Бога, и люди, не верящие в него, — могут общаться между собой, говоря о Боге и, в частности, обсуждая вопрос о его существовании. Очевидно, что если бы дело сводилось к мистическому опыту (который по преимуществу индивидуален), такого рода общение в принципе признавалось бы невозможным.

VII. Дейктические слова и освоение языка

1. Освоение языка начинается с собственных имен. Ребенок на начальном этапе отождествляет себя с собственным именем¹⁷⁹ и лишь постепенно он начинает пользоваться местоимениями и говорить о себе в 1-м лице. Все другие слова (имена существительные) также воспринимаются им как имена собственные¹⁸⁰.

Усвоение местоимений происходит вообще на относительно поздней стадии развития. И наоборот, афазия может начинаться с потери местоимений, когда говорящий теряет способность

правильно употреблять местоименные формы¹⁸¹. Вообще, как показал Якобсон, афатические нарушения правомерно рассматривать как зеркальное отображение процессов усвоения языка: в ряде случаев процессы потери речи и ее развития обнаруживают принципиальное сходство — при том, что последовательность этих процессов является прямо противоположной¹⁸².

Коль скоро ребенок отождествляет себя со своим именем, для него оказывается трудным называть себя *я*, в то время как собеседники называют его *ты*. В частности, он может воспринимать *я* как собственное имя, настаивая на том, что оно относится только к нему, и ни к кому иному (см. выше, § VI-1); или же он может смешивать *ты* и *я*, употребляя эти местоименные формы без различия по отношению к любому из участников диалога¹⁸³. Наконец, местоимение *я* может замещать собственное имя ребенка, и на этой стадии он отказывается произносить свое имя: имя получает для него теперь вокативную функцию, в отличие от номинативной функции местоимения *я*¹⁸⁴.

Ребенок учится своему имени, повторяя слова матери, которая так его называет. Вместе с тем его специально не учат употреблять местоимения (хотя его могут поправлять, если он употребляет их неправильно). Действительно, если употребление собственного имени может быть освоено в процессе подражания, то с местоимениями дело обстоит принципиально иначе; особенно это относится к местоимению *я* (см. выше, § IV-3). Поэтому мать, разговаривая с маленьким ребенком, обычно избегает употреблять местоимение *я*, предпочитая говорить о себе в 3-м лице (называя себя *мама*, *мамочка* и т. п.)¹⁸⁵. Равным образом она может избегать при этом и местоимения *ты*, заменяя его именем ребенка (обычно в уменьшительно-ласкательной форме, если такая форма представлена в языке) или же местоимением 3-го лица¹⁸⁶.

В какой-то мере ребенку помогают овладеть местоимениями, но помощь эта по необходимости ограничена. Например, ему говорят *Скажи: я люблю маму* или *Скажи: я вырасту большим и сам буду водить самолет*. Таким образом ребенка обучают местоимениям — через цитаты (как бы цитируя его собственную речь, вкладывая в его уста те слова, которые он должен произнести). Этого, однако, недостаточно для того, чтобы

освоить употребление местоимений. В отличие от собственных имен, употреблению местоимений невозможно научиться путем имитации чужой речи: ребенок должен освоить его самостоятельно, соотнося местоименные формы с ролями участников диалога. В обычном случае слово ассоциируется с определенной ситуацией; отсюда ситуация вызывает в сознании ребенка соответствующее слово, и наоборот – он может произнести слово, чтобы вызвать ситуацию (как это имеет место в магии). В данном же случае оказывается необходимым соотносить ситуацию с той или иной коммуникативной ролью. Таким образом ребенок переходит от пассивного усвоения языка к активному – когда он представляет себя в качестве говорящего, в качестве слушающего или же в качестве предмета речи (того, о ком говорят). Итак, употребление местоимений ребенок в основном вынужден осваивать сам, без посторонней помощи.

Сначала слова всецело принадлежат ребенку: они непосредственно ассоциируются с ситуацией, и таким образом ситуация вызывает у него слова, а слова – ситуацию. Эта ассоциация относится к его индивидуальному опыту и в этом смысле является как бы его личным достоянием. С освоением местоимений он осознает, что слова (и связанная с ними ситуация) могут принадлежать и другому человеку.

2. Овладение местоимениями отмечает принципиально новый этап в развитии языка. В то же время это значительный этап в развитии мировоззрения, поскольку таким образом появляется представление об объективной действительности, не сводимой к личному экзистенциальному опыту, – межличностной действительности, объединяющей разных говорящих. Когда ребенок называет себя собственным именем, его имя для него уникально. На этом этапе представление об окружающем его мире сводится к его индивидуальному опыту – к его восприятию и переживаниям.

Только когда он начинает называть себя *я* и допускает называть себя *ты* или *он* – когда он называет себя так же, как называют себя другие люди, и допускает по отношению к себе те же наименования, которыми он пользуется по отношению к другим, – в нем формируется представление о внеположной ему

действительности, общей для разных людей и объединяющих его с другими людьми, так же как и представление об общем экзистенциальном статусе разных людей. В дальнейшем оказывается возможным переключение с одной точки зрения на другую и взгляд на себя со стороны (с точки зрения другого человека).

Так становится возможной коммуникация, основанная на общем опыте (см. §§ I-2 и V-2).

Характер функционирования местоимений в детской речи (на относительно продвинутом этапе развития) наглядно иллюстрирует следующий эксперимент, проведенный в свое время американскими исследователями. Дети дошкольного возраста были разделены барьером так, что они могли слышать, но не могли видеть друг друга; таким образом они были вынуждены общаться только с помощью речи, не прибегая к жестам. Каждому из них были даны кубики, и одному ребенку было показано, как можно составить из кубиков определенную фигуру; его задачей было научить другого ребенка (находящегося по другую сторону барьера) произвести такое же действие. Оказалось, что дети в этих условиях могут употреблять указательные местоимения *this* ('этот') и *that* ('тот') так, как если бы они могли наблюдать друг друга. Так, например, один ребенок мог сказать другому *Put this block on the top of that one* ('Положи этот кубик на тот'), его собеседник спрашивал: *You mean that one?* ('Вот этот?'), на что следовал ответ *Yes* ('Да')¹⁸⁷. Здесь, в сущности, проявляется тот же эгоцентризм (характерный вообще для детской речи), который заставляет ребенка на более раннем этапе монополизировать личное местоимение 1-го лица (см. выше, § VI-1)¹⁸⁸. Существенно при этом, что на данном этапе свойственный ребенку эгоцентризм определяет его уверенность во взаимном понимании, необходимую при закреплении речевых навыков (которая, в сущности, обеспечивает в данном случае сам процесс коммуникации).

VIII. Классификация языковых знаков (слов)

Языковые знаки (слова) могут быть подразделены на следующие категории.

1. Информативные знаки.

Информативный знак отсылает к определенному значению; тем самым он соотносится с виртуальной реальностью,

созданной языком (как уже отмечалась, совокупность связанных между собою значений образует виртуальную реальность, которая предстает как языковая модель мира, см. выше, § I-1). В то же время информативный знак не отсылает к речевому акту (он не соотносен с процессом коммуникации); можно сказать, таким образом, что объектом референции предстает в данном случае язык (*langue*), но не речь (*parole*). Такого рода знаки выражают информацию о внешнем мире, однако они относятся не к миру как таковому (не к обозначаемой действительности, внеположной языку), но к его представлению в нашем сознании (к интеллектуальному образу действительности). Иначе говоря, соотношение информативных знаков с актуальной (а не виртуальной) действительностью оказывается не непосредственным, но опосредованным: оно осуществляется через языковые значения; эти знаки непосредственно соотносятся с языком, в котором выражено обобщенное представление об этой действительности. Непосредственным объектом референции является в этом случае не реальное явление (которое может быть доступно, например, — в частном случае — чувственному восприятию), но значение слова, которое его выражает. Если я называю некоторый предмет «столом», я определяю его как стол, т. е. я имею в виду (постулирую), что он обладает качеством «столовости», что он имеет нечто общее с открытой совокупностью предметов, которые я обозначаю таким же образом (эти предметы выступают как возможные денотаты данного слова). Общие характеристики этого класса предметов и определяют значение слова *стол*. Я могу относиться при этом к конкретному столу (который предстает как денотат), однако референция осуществляется через значение слова.

Итак, в этом случае имеет место отсылка к языку — к области значений: референция непосредственно направлена на виртуальную реальность. Не имеет места отсылка к внешнему миру (к области денотатов), независимо от референции к языку. Не имеет места отсылка к речи (к речевому акту), т. е. к процессу коммуникации.

2. Перформативные знаки.

Перформативный знак непосредственно — не через значения — соотносится с актуальной реальностью (с обозначаемой действительностью, внеположной языку): перформативные знаки соотносятся с конкретными объектами и действиями и могут с ними даже отождествляться. Собственные имена являются перформативными знаками: они могут отождествляться со своими денотатами. Равным образом произнесение слова может рассматриваться как тождественное выполнению действия, которое обозначается этим словом (как это имеет место в случае того, что принято называть перформативами или перформативными глаголами¹⁸⁹). Непосредственным объектом референции является здесь реальное явление, обозначаемое соответствующим словом.

Итак, в этом случае имеет место отсылка к внешнему миру — к области денотатов — без посредства значений: референция непосредственно направлена на актуальную реальность. Не имеет места отсылка к языку — к области значений. Не имеет места отсылка к речи (к речевому акту).

3. Формативные знаки.

Формативный знак относится к реальности (актуальной или виртуальной) не непосредственно, но через речевой акт, т. е. через процесс коммуникации. Дейктические слова представляют собой формативные знаки. Непосредственным объектом референции является в данном случае процесс коммуникации, через который и осуществляется соотношение между словом и обозначаемым им явлением.

Формативный знак может при этом соотноситься с денотатом без посредства значений, т. е. соотноситься с актуальной реальностью: таковы местоимения. Или же он может соотноситься с виртуальной реальностью: таковы неместоименные дейктические слова.

Итак, в этом случае имеет место непосредственная отсылка к речевому акту: референция непосредственно направлена на процесс коммуникации. При этом может иметь место как отсылка к языку, так и непосредственная отсылка к внешнему миру (к обозначаемой действительности).

Эта классификация очевидным образом коррелирует с семиотическим треугольником «знак — значение — денотат», так же как и с триадой «мир — язык — речь».

В случае информативных знаков имеет место ориентация на значение: описание внешней реальности (окружающей говорящего действительности) осуществляется через отсылку (референцию) к значениям. Значения представляют собой продукт языка.

В случае перформативных знаков имеет место ориентация на денотат: описание внешней реальности (окружающей говорящего действительности) осуществляется через отсылку (референцию) к денотатам. Денотаты принадлежат к реальности как таковой (миру как таковому, миру как предмету описания), а не ее языковому представлению.

В случае формативных знаков имеет место ориентация на знак (signans, т. е. знаковую форму), который относится к обозначаемому явлению (своему денотату) только через речевой акт (т. е. в процессе коммуникации).

Сказанное можно представить в виде таблицы:

<i>Непосредственный объект референции</i>	<i>Информативные знаки</i>	<i>Перформативные знаки</i>	<i>Формативные знаки</i>
Денотат (явление актуальной, т. е. внеположной языку реальности)		+	
Значение (явление виртуальной реальности, формируемой языком)	+		
Речевой акт (явление речи)			+

¹ В дальнейшем, говоря о функционировании языка, мы будем иметь в виду прежде всего устное общение.

² Термин «значение» здесь и далее употребляется нами в специальном семиотическом смысле, т. е. отличается как от знака (знаковой формы), так и от денотага.

³ По словам Дигнаги (ок. 480 — ок. 540), буддийского философа и основателя буддийской логики, «вся область нашего познания есть создание нашего мышления, различающего категории субстанции и акциденции; оно не есть выражение действительного бытия или небытия» (Щербатской, I, с. 34 и титульный лист). Пресловутое различение субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, говорит Гейзенберг, не работает и создает лишь эпистемологические трудности. Наука исследует не мир как таковой, а мир как объект коммуникации с человеком (мир, отвечающий на запросы человека) — и, таким образом, человек общается здесь сам с собой. Так, в частности, математические формулы не являются нам картину мира, они скорее дают картину наших представлений о мире («The familiar classification of the world into subject and object, inner and outer world, body and soul, somehow no longer quite applies, and indeed leads to difficulties. In science, also, the object of research is no longer nature in itself but rather nature exposed to man's questioning, and to this extent man here also meets himself. (...) The mathematical formulas (...) no longer portray nature, but rather our knowledge of nature», — Heisenberg, 1958, с. 105; ср.: Гейзенберг, 1989, с. 27).

⁴ Ср. известное рассуждение Платона об узниках в пещере, которые способны наблюдать лишь тени, отбрасываемые предметами из внешнего мира, воспринимая при этом тени как реальные предметы («Государство», 514a–515c — Платон, III/1, с. 321–322). Тени, которые видят узники, представляют собой не что иное, как знаки (знаки-индексы) объективной — по отношению к ним (узникам) — действительности: действительности, которую они не способны наблюдать непосредственно и которую в принципе возможно лишь гипотетически реконструировать; при отсутствии подобных гипотез естественно принимать такого рода знаки за подлинную реальность.

С восприятием теней платоновскими узниками любопытно сопоставить то, как воспринимают туземцы Новой Гвинеи волны и зыбь на воде: «Сообщается по секрету, что люди, деревья, свиньи, трава — все предметы [видимого] мира — суть всего лишь узоры волн (are only patterns of waves). (...) Клан, который считает своим тотемом Восточный Ветер, утверждает, что именно Ветер создает волны с помощью веера, которым отгоняют москитов. Однако другие кланы персонифицируют вол-

ны и видят в них человека (Kontum-mali), который не зависит от ветра. У прочих кланов есть свои объяснения» (Bateson, 1936/1958, с. 130–131; ср.: Geertz, 1966/1999, с. 190–191). Грегори Бейтсон, описавший эти представления, сообщает о произведенном им эксперименте: «... Я пригласил своего информанта посмотреть на проявление фотопластинок. Сперва я снизил чувствительность пластинок и затем проявлял их в ванночке при умеренном освещении, так что мой информант мог наблюдать постепенное появление изображения. Он очень заинтересовался увиденным и несколько дней спустя попросил меня никогда не показывать это представителям других кланов. Kontum-mali был одним из его предков, и он видел в процессе фотографического проявления реальное воплощение зыби в образы, усматривая в этом демонстрацию секрета своего клана». В отличие от узников, описанных Платоном, туземцы отдают себе отчет в существовании объективной действительности, внеположной человеку (не данной нам в непосредственном чувственном опыте); в этом отношении их позиция может быть сопоставима с научным мировоззрением. При этом если для нас естественно воспринимать тени как отражение реальных предметов, то туземцы, напротив, могут воспринимать предметы как манифестацию волн (которым может приписываться онтологическая значимость).

⁵ Во многих случаях наша жестикация воспроизводит воображаемый диалог говорящего с его имплицитным собеседником. Некоторые жесты, сопровождающие слова, которые мы произносим, непосредственно выражают точку зрения самого говорящего: они прямо соотнесены с его словами. Вместе с тем другие жесты могут выражать (предвосхищать) реакцию воображаемого слушателя. Например, я могу сказать *Это совершенно исключительное явление!*, отрицательно качая при этом головой, как если бы мой собеседник отвечал мне *Невероятно!*.

Такого рода явление отнюдь не сводится к жестикации или мимике, но может проявляться и в лексике. Так, например, в обороте *конечно же*, который в настоящее время может использоваться как усиление слова *конечно*, частица *же* восходит к диалогу с предполагаемым собеседником.

Возможны случаи, когда автокоммуникация принимает форму прямого диалога с самим собой, когда, например, говорящий обращается к себе самому со словами: *What are you doing?* и т. п. (см.: Chiat, 1986, с. 389). В подобных случаях говорящий может называть себя по имени и использует по отношению к себе местоимение 2-го лица (ср. в этой связи примеры из Мольера, которые мы цитируем ниже, примеч. 99; такого рода случаи следует отличать от условного обращения к воображаемому собеседнику, ср. примеч. 110). Иногда при этом наблюдается изменение перспективы в пределах фразы, ср., например: *I shouldn't do that to yourself*, где говорящий сначала говорит о себе в 1-м лице, а затем относится к себе

самому во 2-м лице («the speaker switches from the 1st to the 2nd person pronoun to put himself in the place of the addressee» — Chiat, 1986, с. 389). Диалогизация автокоммуникации не представляет собой универсального явления, будучи обусловлена, по-видимому, личностными особенностями говорящего (в частности, его интровертностью / экстравертностью, ср.: Пятигорский и Успенский, 1967); не исключено, что в какой-то мере она может отражать процессы освоения языка в детской речи (см. ниже, § VII-1). В дальнейшем, говоря об автокоммуникации, мы не будем иметь в виду специальные случаи диалогической автокоммуникации.

⁶ В специальном случае объективизация восприятия может осуществляться путем игры в нарративный текст, когда человек представляет себя героем повествования, — ситуация, которую описывает Джойс в рассказе “A Painful Case” (из цикла “Dubliners”): «He had an odd autobiographical habit which led him to compose in his mind from time to time a short sentence about himself containing a subject in the third person and a predicate in the past tense» (‘У него была странная склонность к автобиографичности, которая заставляла его время от времени мысленно сочинять короткую фразу о самом себе с подлежащим в третьем лице и сказуемым в прошедшем времени’ — Joуse, 1967, с. 108). Ср. эпизод в “Войне и мире” Толстого (т. II, ч. III, гл. 13 и 23), где Наташа Ростова думает о себе в 3-м лице, как бы воспринимая себя со стороны, глазами постороннего наблюдателя (Толстой, V, с. 199 и 229).

⁷ Это мнение отстаивает в полемике с Сократом Гермоген, ученик Протагора, в “Кратиле” Платона (384d): «Ни одно имя никому не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая тех, кто привык что-либо так называть» (Платон, I, с. 416; о источниках учения Гермогена см.: Верлинский, 2005, с. 76–77). Ср. также у Аристотеля “Об истолкованиях”, гл. II: «Имена имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А возникает имя, когда становится знаком...» (Аристотель, II, с. 94).

Та же мысль очень четко выражена в буддийской теории познания: «слова, по учению буддистов, получили значение по взаимному *уговору* (samketa) между людьми, условившимися известные понятия обозначать известными звуками» (Щербатской, II, с. 140; ср.: Stcherbatsky, II, с. 165, примеч. 1).

⁸ νόμοι χροίή, νόμοι γλυκύ, νόμοι πικρόν. См.: Diels, II, с. 168 (Demokritos, B. 125).

⁹ Ситуация, описанная Свифтом в “Путешествиях Гулливера” (ч. III, гл. 5: школа языкознания Академии в Лагадо).

¹⁰ Языковая ограниченность слов, передающих чувственное восприятие, отчетливо видна на примере цветообозначения. Можно было бы предположить, что физическая природа цвета должна привести к

более или менее одинаковому цветообозначению в культурах, которые находятся в общении друг с другом; разница в таком случае могла бы сводиться только к колебаниям в различении спектральной гаммы. Но дело обстоит иначе.

Словарным коррелятом русского *пурпурный* или *пурпуровый* является англ. *purple*; между тем это совсем другой цвет, который с нашей точки зрения ближе к фиолетовому, чем к красному или розовому. Словарь Ушакова дает, например, следующее определение: «Темно-красный или ярко-красный, алый, багряный цвет» (Ушаков, III, стлб. 1070); соответственно, греч. *πορφύρα*, лат. *purpura* (багряная одежда как знак верховной власти) переводится как *багряница*, греч. *πορφυρογέννητος*, лат. *porphyrogenitus* (характеристика лиц, принадлежащих по рождению к византийскому императорскому дому) — как *багрянородный*. Ср., вместе с тем, определение Оксфордского словаря: «mixtures of red and blue in various proportions, usually containing also some black or white, or both, approaching on the one side to crimson, and on the other to violet» (Ox. Dict., XII, с. 875). При этом в Средние века и англ. *purple* означало различные оттенки красного цвета (см. там же); любопытно, что эволюцию, подобную англ. *purple*, по-видимому, пережило рус. *багровый*, которое ранее означало густо-красный цвет, но позднее стало означать смесь красного с синим (Словарь Академии Российской определяет последнее значение как просторечное, ср.: «*Багровый*, имеющий цвет червленый, пурпуровый, густокрасный. В простореч[ии] показывающий цвет красный, смешанный с синетою» — Сл. Акад. Рос., I, стлб. 77). В результате исследователи геральдики вынуждены констатировать, что пурпуровый цвет не имеет точного определения: он может изображаться лиловым, лилово-красным, темно-синим и т. д. (Арсеньев, 1908, с. 130).

Греч. *χλωρός* может иметь значения ‘бледный’, ‘желтый’, ‘зеленый’, что отражается, между прочим, на переводе выражения *ἵπλος χλωρός* (лат. *equus pallidus*, церковносл. *конь блѣдъ*) в Откровении Иоанна Богослова (VI, 8); ср. такие же значения у лат. *pallens*, между тем как лат. *pallidus* может означать ‘бледный’, ‘белый’, ‘зеленый’, ‘свинцовый’, ‘розовый’, ‘красный’. См. подробнее ниже, *Глава III*, § I-2.

¹¹ Этот вопрос обсуждается у Платона в “Федре” (263a–b), причем здесь утверждается, что мы расходимся в понимании слов с отвлеченным значением, не соотносенных с чувственным восприятием. Ср.: «Сократ. Когда кто-нибудь назовет железо или серебро, разве мы не мыслим все одно и то же? — Федр. Конечно, одно и то же. — Сократ. А если кто назовет справедливость и благо? Разве не толкует их всякий по-своему, и разве мы тут не расходимся друг с другом и сами с собой? — Федр. И даже очень. — Сократ. Значит, кое в чем мы согласны, а кое в чем и нет. — Федр. Да, так» (Платон, II, с. 201).

¹² Актуальная реальность представлена денотатами, виртуальная — значениями (в специальном семиотическом смысле этого слова).

¹³ При этом шкала характеристик не является стабильной: объект «а» может ассоциироваться с объектом «b» на основании общей для них характеристики α , а объект «b» с объектом «с» на основании характеристики β . В результате объект «а» может ассоциироваться с объектом «с», и т. д.

¹⁴ Обсуждая вопрос существования языка, В. Пизани писал (полемизируя с Б. Коллиндером), что, когда двести юкагиров «спят и не видят снов» (предполагается, что все население юкагиров состоит из двухсот человек), язык их перестает существовать и может прекратить свое существование, если по какой-либо причине юкагиры перестанут просыпаться (Pisani 1953, с. 24; ср.: Collinder, 1946). Мы полагаем, напротив, что язык как модель мира, будучи продуктом коммуникации, существует и вне акта коммуникации, независимо от нее. Пизани понимает язык как деятельность (*ἐνέργεια*), а не как способ отражения действительности.

Ср. в этой связи различное понимание времени в разных культурных традициях: время может мыслиться как нечто абстрактное и лишь внешним образом связанное с миром, т. е. условная масштабная сетка, с которой соотносятся происходящие события; или же, напротив, как нечто конкретное и в принципе неотъемлемое от меняющегося мира и происходящих в нем событий (ср., в частности, различие линейного и циклического времени). В первом случае время может мыслиться отдельно от мира, как нечто в принципе от него независимое: мир может перестать существовать, но это не означает исчезновения времени; во втором случае конец мира с необходимостью означает исчезновение времени — предполагается именно, что если мир прекратит свое существование, «времени уже не будет» (Откр. X, 6). См.: Успенский 1988–1989/1996, с. 44–45.

¹⁵ В частности, только через речевой акт они соотносятся со своими денотатами.

¹⁶ Так, в языке самаль (сулу-калимантанская группа филиппинских языков) представлены четыре дейктические выражения со значениями ‘около меня’, ‘около тебя’, ‘около других участников нашего разговора’, ‘около того, кто находится среди нас, но в данный момент не является участником нашего разговора’ (например, если речь идет о человеке, который заснул или чем-либо отвлечен — читает газету, разговаривает с кем-то еще и т. п.; или же о человеке, который не слышит нас, потому что мы разговариваем шопотом); см.: Fillmore, 1975, с. 43). Таким образом различаются две дейктические референции, относящиеся к 3-му лицу (при условии, что 3-е лицо обозначает человека): если человек присутствует при разговоре и легко может в него включиться и если он временно вы-

ключен из разговора, но в принципе может в него включиться. В обоих случаях человек, о котором идет речь, рассматривается как потенциальный участник разговора.

¹⁷ Указание на участника речевого акта выступает как необходимое, но не достаточное условие для определения дейксиса. Так, при указании на говорящего субъекта совсем не обязательно имеет место дейктическая референция, т. е. соотнесение значения слова с речевым актом. В самом деле, указание на говорящего может содержаться в словах, выражающих субъективную модальность (ср., например, такие вводные слова, как *к сожалению, вероятно* и т. п.) или оценочную позицию (ср., например: «Германская война и разные там о ко п ч и к и — все это теперь, граждане, на нас сказывается» — М. М. Зощенко. «Четыре дня»). Такого рода слова, безусловно, ориентированы на говорящего субъекта, но при этом никак не могут считаться дейктическими — постольку, поскольку в подобных случаях не имеет места соотнесение слова с обозначаемым через акт коммуникации (что и является определяющим признаком дейксиса).

Речь идет о так называемых эгоцентрических элементах в языке («egocentric particulars», см.: Russel, 1940, с. 134). Ср.: «Эгоцентрическими называются слова, в смысл которых входит отсылка к говорящему» (Падучева, 1997/2009, с. 451; см. также: Падучева, 2001/2009, с. 464); они охватывают как область дейксиса (ограниченную ориентацией на актуального говорящего), так и область субъективной модальности.

¹⁸ Так, например, во фразе *Я теперь живу в Москве* слово *теперь* относится к времени говорящего; это случай первичного дейксиса. Между тем во фразе *Он был теперь в мундире* слово *теперь* отсылает к текущему времени повествования (времени описываемых событий), не имея отношения к времени коммуникативного акта. Ср.: «Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь (...). Она пела теперь не по-детски ...» («Война и мир», т. II, ч. I, гл. 15 — Толстой, V, с. 63): слова *эту, теперь* не имеют никакого отношения к пространственно-временной позиции автора или читателя, но соотносятся с временем, о котором идет речь.

Сходным образом во фразе *Перед машиной стояла девушка* предлог *перед* может выражать указание относительно говорящего или слушающего (тогда это первичный дейксис), но также и относительно персонажа, с чьей точки зрения ведется повествование, или виртуального наблюдателя, с точки зрения которого описывается данная сцена, при том что его позиция не связана с положением кого-либо из участников рассказа (в этих случаях имеет место вторичный дейксис). Помимо того, слово *перед* может выражать положение девушки относительно машины (ее передней части), безотносительно к положению какого бы то ни было наблюдателя (актуального или виртуального); в этом случае мы вообще не можем говорить о дейксисе (см.: Апресян, 1986/1995, с. 634–635).

¹⁹ Так, например, во фразе *Я здесь живу* слово *здесь* относится к месту, где находится говорящий; это очевидный случай первичного дейксиса. Между тем во фразе *Машина подъехала к светофору и здесь остановилась* слово *здесь* отсылает к месту, где находится светофор, ранее упомянутый в тексте; это типичный случай анафоры и в то же время это случай вторичного дейксиса (поскольку слово *здесь* употребляется в отвлечении от речевой ситуации, безотносительно к участникам коммуникации).

²⁰ Так, время, выражаемое формой плюсквамперфекта, определяется не отношением действия или состояния к моменту речи (как это имеет место в случае первичного дейксиса), а отношением его к другому действию или состоянию, которое уже непосредственно соотносится с реальным временем речевого акта. Например, во фразе «*I had finished my work when he came back*» время, обозначаемое глагольной формой *had finished*, соотнесено с временем, обозначаемым формой *came*, которое при этом соотносится с временем речевого акта. Форма *came* здесь выражает первичный дейксис, форма *had finished* — вторичный. Между тем в русском языке нет плюсквамперфекта и в соответствующей по смыслу фразе «*Я окончил работу, когда он вернулся*» оба глагола соотнесены с временем речевого акта; мы можем только исходя из контекста догадываться о возможной временной соотнесенности обоих действий — предшествовали ли они одно другому или произошли одновременно. Таким образом, в русской фразе оба глагола выражают первичный дейксис.

Если во фразе «*He said that he wanted to go to the cinema*» время, обозначаемое глагольной формой *wanted*, так же как и время, обозначаемое формой *said*, соотнесено с временем речевого акта, то в соответствующей по смыслу фразе русского языка (в котором нет правила согласования времен) — «*Он сказал, что хочет пойти в кино*» — время, обозначаемое глагольной формой *хочет*, соотносится с временем, обозначаемым формой *сказал*, которое соотнесено с временем речевого акта; иначе можно сказать, что настоящее время глагола *хочет* соотносится не с самой реальностью, а с текстом, который ее описывает. В самом деле, настоящее время глагола *хочет* соотносится не с моментом речи, а с действием в прошлом, обозначенным глаголом *сказал*; таким образом обозначается *настоящее в прошедшем*. В этих примерах в английской фразе оба глагола выражают первичный дейксис, тогда как в русской фразе мы имеем как первичный дейксис (в форме *сказал*), так и вторичный (в форме *хочет*).

Итак, в первом (английском) и в последнем (русском) примере представлен как первичный, так и вторичный дейксис: первичный дейксис предполагает непосредственное соотнесение дейктического слова с речевым актом, тогда как вторичный дейксис предполагает отсылку к слову, соотнесенному с речевым актом, — иначе говоря, вторичный дейксис осуществляется в этих случаях через первичный.

Ср. также: «Я *думал*, что он *придет*» (первый глагол выражает первичный дейксис, второй — вторичный); форма будущего времени *придет* выражает будущее не по отношению к моменту речи, а по отношению к описываемому моменту в прошлом — таким образом, это будущее в прошедшем. Или: «Пойди и найди его. — А если я *приду*, а он уже *ушел*?» (форма *приду* выражает первичный дейксис, форма *ушел* — вторичный); прошедшее время глагола *уйти* (*ушел*) определяется не по отношению к моменту высказывания, а по отношению к форме в будущем времени *приду* (по отношению к моменту речи слово *ушел* обозначает будущее действие!) — таким образом, это прошедшее в будущем. Совершенно так же, наконец, выражается и настоящее в будущем, т. е. настоящее время, представленное в перспективе будущего времени, ср., например: «А если я *приду*, а он там *сидит*?».

²¹ См.: Успенский, 2011. Ср. также: Падучева, 2008.

²² Ср. наименование местоимений в санскрите: *sarvanama* ‘имя для всего’ (ср.: Greenberg, 1986, с. XVII). Тем самым подчеркивается, что в системе коммуникации (в языке) местоимения могут обозначать самые различные объекты, при том что в акте коммуникации (в речи) они приобретают конкретное содержание.

²³ Ср.: «Народ различает *эвтом*, эво-тот, сей, и *энтот*, эна-тот, вона-тот, оный, тот» (Даль, I, стлб. 1279).

²⁴ Дейктичность, вообще говоря, может проявляться не только в грамматике, но и в лексике: существуют слова, в семантике которых определенным образом задана дейктическая референция. Таким словом является, например, английское *to come*, в отличие от русского *прийти* или *приехать*: в диалогической речи английский глагол предполагает присутствие говорящего или слушающего в месте назначения (так, например, фраза *John is coming to the shop to-morrow* предполагает, что говорящий или слушающий будет в месте, о котором идет речь; эта импликация не имеет места в соответствующей русской фразе *Джон завтра придет в магазин*). В повествовательном тексте ориентация на говорящего может быть заменена ориентацией на литературного героя (персонажа), с которым как бы ассоциирует себя в этот момент рассказчик (например, *The thief came into her bedroom*). См.: Fillmore, 1975, с. 9–10, 50–69; Падучева, 2004, с. 375–376.

²⁵ См. в этой связи прежде всего работы Э. Бенвениста (Benveniste, 1966, с. 225–236, 251–257, 258–266 [Бенвенист, 1974, с. 259–269, 285–291, 292–300]) и Р. О. Якобсона (Jakobson, 1957/1971, с. 131–133 [Якобсон, 1972, с. 97–98]).

²⁶ Обычно эта фраза переводится с местоимением *я*, хотя более точно было бы передать ее одной глагольной формой (*есмь*) — в тех язы-

ках, где соответствующая форма выражает 1-е лицо единственного числа. В самом деле, элемент 'e в евр. 'ehyeh представляет собой местоименный префикс, и следовательно, форму 'ehyeh надо рассматривать как самостоятельную глагольную форму, а не как сочетание глагола с местоимением. В еврейском языке вообще личное местоимение, как правило, опускается, если лицо однозначно определено в форме глагола. В других языках (например, греческом, латинском, церковнославянском) местоимение в таких случаях обычно употребляется, т. е. фраза без местоимения воспринимается как сокращение.

²⁷ Это имя (представленное в форме *yhwh*) запрещалось произносить. Масоретские редакторы, осуществившие огласовку еврейского текста Библии, вставили между согласными в этом слове гласные слова *adōnāi* ('Господь мой' — в усиливающей форме множественного числа): *e* (= *a*), *ō*, *ā*; тем самым указывалось, что данное слово при чтении Библии надлежало произносить как *adōnāi*. В результате возникла форма Иегова (*yehowah*), которая была воспринята как имя Бога Отца теми, кто изучал еврейский язык в отрыве от еврейской традиции.

²⁸ Ср. также в апокрифическом перечне имен Бога ("Семьдесят имен Богу"): «Аз есмь иже есмь» (Тихонравов, II, с. 340, по рукописи XVI–XVII вв.: ГБЛ, Волк. 181/554, л. 292–297). Так же и в Библии Скорины 1517–1519 гг.: «азь есмь ен'жь есмь» (Библия Скорины, I, с. 208); ср. в чешской Библии, на которой основывался Скорина: «Ja sem kto sem» (Bible 1489, л. 1 об. тетради d).

²⁹ «И рече Б[ог]ъ къ М[о]всїю: Азь есмь еже есмь» (Библ., 1581, л. 26 отдельной фолиации; ср. старообрядческую перепечатку: Библ., 1914, л. 34 об.). Так же и в московской печатной Библии 1663 г., однако ко второму *есмь* здесь дается глосса *сый*: «И рече Б[о]гъ к' Моусїю: Азь есмь еже есмь [вариант: сый]» (л. 20 об.). Хотя слово *сый* фигурирует здесь как глосса к слову *есмь*, а не к сочетанию *еже есмь*, можно предположить, что это ошибка наборщика и что глосса должна относиться именно к данному сочетанию.

Текст Острожской библии не соответствует в этом месте тексту Септуагинты (который нам еще предстоит обсудить), и не исключено, что переводчики Острожской библии основывались в данном случае непосредственно на еврейском оригинале (Agran, 1991, с. 500; Agran, 1993, с. 14; ср.: Thomson, 1998, с. 654). Следует подчеркнуть при этом, что они не могли исходить из текста Вульгаты, поскольку в Острожской библии стоит относительное местоимение *еже* (в соответствии с текстом Вульгаты ожидалось бы *иже*). Основным источником для Острожской библии была Геннадиевская библия 1499 г. (ГИМ, Син. 915), текст которой был получен из Москвы (см.: Алексеев, 1999, с. 204), однако в Геннадиевской библии мы имеем иное чтение («Азь есмь сый», л. 34 об.), точно соот-

ветствующее тексту Септуагинты. В этих условиях отклонение от текста Геннадиевской библии представляется особенно значимым: оно свидетельствует о том, что этот текст в данном случае не удовлетворял переводчиков. О том, что издатели Острожской библии могли вообще обращаться к еврейскому тексту, см.: Лебедев, 1890, с. 353 (ср.: Евсеев, 1916, с. 86, примеч. 2); Алексеев, 1990, с. 70–71; Thomson, 1998, с. 680–681, а также с. 654, ср. с. 652; по некоторым сведениям, они основывались на тексте Антверпенской полиглотты 1569–1572 гг. (см.: Алексеев, 1990, с. 67; Немировский, 1985, с. 450).

Вместе с тем аналогичный перевод интересующего нас места (Исх. III, 13–14) отразился, возможно, в русской толковой азбуке, дошедшей до нас в рукописи 1462 г. (БАН, 13.3.21, л. 8–8 об.), которая начинается словами: «А — Азь есмъ, Б — Б[ог]ъ есмъ», ср. далее: «Д — Добро бо есмъ, Е — Есмъ бо» (см. изд.: Демкова и Дробленкова, 1968, с. 59). Если согласиться с такой интерпретацией, т. е. признать, что здесь в самом деле отразился библейский текст, можно было бы предположить, что эта фраза была переведена на Руси с еврейского в период деятельности жидовствующих (ср. ниже, примеч. 39). В этом случае переводчики Острожской библии могли воспользоваться уже имеющимся переводом.

³⁰ Ср. различные переводы данной фразы на английский язык: «I am that I am», «I am who I am», «I am what I am», «I will be what I will be», «I will be that I will be», «I am wont to be that which I am wont to be», «I am wont to be he who I am wont to be» (Schild, 1954, с. 296–297), ср. также «I will be who I will be» (Exodus, 1999, с. 181). По словам Э. Шильда, «Все эти переводы следуют общепринятой экзегезе, а именно, что данный пассаж призван подчеркнуть непостижимость Бога, невозможность определения его природы, его „имени“. „Я есмь то, что (или: тот, кто) есмь“ означает: „я не говорю вам, кто или что я есмь: я есмь я“. Это никуда не отсылающее, замыкающееся на самом себе определение (a non-committal, circular definition): Бог не может быть определен как нечто иное, он сам есть свое собственное определение» (Schild, 1954, с. 296–297).

³¹ Одновременно фраза *Я есть я* соответствует тавтологическим конструкциям типа *Жизнь есть жизнь, Человек есть человек, Работа есть работа* и т. п., когда обозначения, относящиеся к языку-объекту и к метаязыку, совпадают друг с другом (к толкованию подобных конструкций ср.: Падучева, 1996, с. 238). То, что местоимение *я* при этом выступает как собственное имя, характерно для мифологического сознания (см. в этой связи: Лотман и Успенский, 1973/1996, с. 436–437).

Отдельно следует рассматривать слова апостола Павла «Благодатию Божию есмь, еже есмь» (Χάρτι δὲ θεοῦ εἰμι ὃ εἰμι — I Кор. XV, 10). Эти слова могут напоминать наименование Бога Отца; вместе с тем, буду-

чи произнесены по-гречески, они отличаются от перевода соответствующего места из Книги Исход в Септуагинте.

Ибн Араби (1165–1240), суфийский мистик, известный на Западе как «Doctor Maximus», а на Востоке как «Шейх Аль-Акбар», в своем «Трактате о Божественной сущности», посвященном мистическому значению арабских местоимений, говорит о Боге: «Lâ huwa illâ huwa», букв.: ‘Нет Его помимо Него’ (Ibn ‘Arabî, 2004, с. 136); являясь обозначением Божественной сущности, местоимение *huwa* выступает здесь — вопреки грамматике — в своей исходной, номинативной форме (в этом значении оно всегда предстает в такой форме, см.: Casseler, 2004, с. 53). Это высказывание перефразирует мусульманское исповедание веры («шахада»): «lâ ilâha illâ L-Lâh(u)» (‘Нет Бога кроме Бога’); в то же время оно разительно напоминает ответ Бога Моисею в Книге Исход.

³² Местоимение 1-го лица как обозначение абсолютного субъекта выступает в традиционной подписи испанских монархов: *Yo el rey* — так, например, подписывался король Филипп II (1527–1598), но также и другие испанские короли (см. письма Филиппа II в архиве князей Колонна, хранящемся в монастыре Санта Сколастика [Santa Scolastica] в Италии).

³³ Та или иная интерпретация зависит от того, как трактовать вторую форму *'ehyeh*. Она может пониматься как повторение формы, которая значит в начале фразы, и тогда она имеет то же значение глагольной связки (копулы), которое имеет первая форма. В этом случае вся фраза означает ‘Я есмь тот, кто (или: то, что) есмь’. Вместе с тем при другом понимании форма *'ehyeh* не выступает как связка и имеет самостоятельное значение; соответственно, вся фраза означает тогда ‘Я есмь тот, кто (или: то, что) существует’. Аналогичная двусмысленность может быть усмотрена, как кажется, в русской конструкции *будь что будет* (ср. также у Пушкина в стихотворении «Свят Иван...» другую версию этого выражения: *будь что будь* — Пушкин, III/1, с. 308).

³⁴ При таком понимании переводчики Септуагинты сочли нужным ввести причастную форму, изменив синтаксическую структуру фразы (причастная форма соответствует при этом сочетанию *'asher 'ehyeh*). В результате в греческом переводе (Септуагинты) отсутствует тавтология, представленная в исходном еврейском тексте. Ср. между тем в греческих переводах Акилы и Феодотиона (II в.): ἔσομαι (ὄς) ἔσομαι (Field, I, с. 85); местоимение ὄς как у Акилы, так и у Феодотиона опущено.

³⁵ Библия. 1751, стлб. 89.

³⁶ «Азь есмь сущии» (ГБЛ, ф. 304/Тр.-Серг., № 1, л. 59; рукопись второй пол. XIV или начала XV в., см. описание: Св. кат. XIV в., с. 170–171); «Азь есмь сыйи» (ГБЛ, ф. 256/Румянц., № 27, л. 114 об.; рукопись XV в., см. описание: Востоков, 1842, с. 29–32); «Азь есмь сыйи» (ГИМ, Син. 915, л. 34 об.; Геннадиевская библия, рукопись 1499 г., см. описание: Горский

и Невоструев, I, с. 1–164, № 1); «Азь есмь сыи» (ГБЛ, ф. 256/Румянц., № 28, л. 40 об.; рукопись XVI в., см. описание: Востоков, 1842, с. 32–33); «Азь есмь сыи и сыи» (ГБЛ, ф. 256 / Румянц., № 29, л. 44 об.; рукопись 1537 г., см. описание: Востоков, 1842, с. 33–34); «Азь есмь сщии» (Библ. Литовской акад. наук, ф. 19, № 109, л. 97 об.; рукопись ок. 1556 г., см. описание: Добрянский, 1882, с. 246–255; относительно датировки см.: Мещерский, 1955, с. 385). Ср. также в Библии, переведенной на русский язык для употребления евреев: «Я есмь Сущий» (Библ. 1897, I, с. 92).

³⁷ Ср. об имени Бога в “Октавии” Минуция Феликса (первой трети III в.) (XVIII, 10): «Не спрашивай имени Бога: Бог — Его имя. Имена нужны потому, что разобраться в толпе можно только отметив каждого его собственным названием. Для Бога, Который один, достаточно слова „Бог“» (Minucius Felix, 1992, с. 15 [Минуций Феликс, 1981, с. 149]).

Августин (“De Trinitate”, кн. V, гл. 2), ссылаясь на разговор Бога с Моисеем в Книге Исход, говорит об абсолютном бытии Бога: «Deus est (...) ipsum esse» (‘Бог есть само бытие’ — Augustinus, 1968, с. 208). Августин не любил и, видимо, плохо знал греческий язык (см. его “Исповедь”, I, 13–14 — Augustinus, 1981, с. 11–13), и он едва ли мог исходить из перевода Септуагинты; во всяком случае он цитирует Вульгату: «Ego sum qui sum». Ср. затем у Фомы Аквинского («Summa Theologiae», гл. I, вопр. 4, артикул 2): «... Essentia Dei est ipsum esse», «Deus est ipsum esse per se subsistens» (Thomas Aquinas, I, стлб. 24b, 25a).

³⁸ См.: Елеонский, 1905, с. 498; Reisel, 1957, с. 12.

³⁹ Действительно, в целом ряде русских рукописей XV–XVI вв. мы находим в данном месте еврейскую фразу в славянской транслитерации (см.: Горский, 1860, с. 139; Елеонский, 1905, с. 497–498; Алексеев, 1999, с. 183). Так, в рукописи второй пол. XV в. Румянцевского собрания (ГБЛ, ф. 256 / Румянц., № 27, л. 114 об.) к фразе «азь есмь сыи» дана на верхнем поле глосса «азь ыгье ашерь ъгее» (начальные буквы *ы* и *ь* идентифицированы условно; возможно, имеет место имитация еврейских букв). Совершенно так же в рукописи конца XV в. собрания Кирилло-Белозерского монастыря (ГПБ, Кир.-Бел., № 2/7, л. 80 об.) слова «азь есмь сыи» сопровождаются глоссой «егее ешерь егее».

В другой рукописи Румянцевского собрания, XVI в. (ГБЛ, ф. 256/Румянц., № 28, л. 40 об.), такого рода еврейская фраза дается непосредственно в тексте после соответствующей славянской: «азь есмь сыи азь эгее эшерь эгее» (при этом еврейская фраза сопровождается на полях глоссой: «аданай г[оспод]ь силам»); и далее в следующих затем словах (Исх. III, 14) вместо *сый* написано *эгее*: «эгее ма поусти к вамъ». Аналогично в рукописи первой трети XVI в. собрания Иосифо-Волоколамского монастыря (ГБЛ, ф. 113/Иос.-Вол., № 7, л. 74 об.) читаем

«азь есмь сыи згее ьшеръ» и затем «сыи ма поусти к вамъ», причем к словам «сыи ма» дается на полях вариант: «агее азь», а к следующим затем словам «г[оспод]ь б[ог]ь» — вариант «адонай». Буквой з в слове «згее» (похожей в данном случае на арабскую цифру три) передается буква э («э обратное») — буква южнославянского происхождения, неизвестная, по-видимому, русскому писцу, который и отождествил ее с буквой з («земля») (заметим в этой связи, что буква э, кажется, появляется в русской письменности как сакральная буква, ассоциирующаяся с написанием еврейского слова *эль*, т. е. 'Бог', см.: Успенский, 1987/2002, с. 307, § 11.2).

В некоторых рукописях в тексте Исх. III, 14 написаны были те же, по всей видимости, слова, но бо́льшая часть букв выскоблена; надо полагать, что такого рода написания были расценены как еретические. Так, в рукописи 1493 г. Иосифо-Волоколамского монастыря (ГБЛ, ф. 113/Иос.-Вол., № 8) стоит «азь есмь сыи», после чего стерто несколько слов, последнее из которых может быть прочитано как «егее»; следующая далее фраза читается «сице гл[агол]и с[ы]н[о]мъ езраилевымъ [одно слово выскоблено] сыи ма пбсти к вамъ», т. е. ранее было, видимо, «егее сыи ма пбсти к вамъ» (л. 102 об.). В рукописи рубежа XV–XVI вв. собрания Кирилло-Белозерского монастыря (ГПБ, Кир.-Бел., № 3/8) осталось «азь ге...ге» (см.: Елеонский, 1905, с. 497–498).

Характерно, что в цитированных рукописях можно встретить и другое еврейское наименование Бога в славянской транслитерации — *эль шаддаи* (условно: 'Бог Всемогуший'; слово *шаддаи* не имеет точного перевода). Так, например, в рукописи ГБЛ, ф. 256/Румянц., № 28, мы читаем в Книге Исход (Исх. VI, 2–3): «азь г[оспод]ь ѡвихса авраамоу, исаакоу, іаковоу, б[ог]ь эль шаддаи има же ми г[оспод]ь» (л. 42). Аналогичный текст читается в соответствующем месте в рукописи ГБЛ, ф. 113/Иос.-Вол., № 7, но вместо «б[ог]ь эль шаддаи» здесь стоит «б[ог]ь зль шеддаи сыи ихъ» (л. 78) — слово *сыи* восходит при этом к переводу Септуагинты (начертание буквы з, воспроизводящее, несомненно, «э обратное» протографа, в данном случае отличается от арабской цифры три, но не отличается от обычного в данной рукописи написания буквы «земля» как з). В рукописи ГБЛ, ф. 113/Иос.-Вол., № 8) слова *эль шаддаи* в этом месте выскоблены (л. 108).

Известно, что по благословию митрополита Филиппа I (1464–1473) с еврейского языка была переведена Федором Жидовином (евреем, обратившимся в православие) «Книга глаголемая псалтырь», представляющая собой сборник средневековых еврейских псалмов, приписываемых царю Давиду (Варлаам, 1859, с. 2, 43; см. изд.: Сперанский, 1907); возможно, в это же время была осуществлена сверка славянской Библии с еврейским текстом.

Все это определенно указывает на традицию, которую вслед за Иосифом Волоцким и его единомышленниками принято определять как «ересь жидовствующих». Вопрос о том, в какой мере правомерно говорить о ереси, остается предметом полемики.

⁴⁰ «Nomen Domini tetragrammaton in quibusdam graecis voluminibus usque hodie antiquis expressum litteris invenimus» (PL, XXVIII, стлб. 550).

⁴¹ См.: Cohn, 1899, с. 521–522; Reider, 1914, с. 347–348.

⁴² Эта фраза не совсем точно переведена в Вульгате, что объясняется, видимо, ее аграмматичностью: «Sic dices filiis Israel: QUI EST, missit me ad vos», ср. у Скорины: «Тако повеси сыномъ Из'раилевымъ, Ен'же есть послалъ ма къ вамъ» (Библия Скорины, I, с. 208); между тем в еврейском тексте здесь повторена форма *'ehyeh*, и, следовательно, в переводе здесь должна стоять та же фраза, которая фигурировала раньше (в ответе Бога Моисею); в Вульгате следовало бы ожидать «Ego sum» либо же «Qui sum». Ср. точный перевод в Авторизованной версии английской Библии (так называемой Библии короля Иакова: King James Bible): «I am hath sent me unto you»; ср. также: «„I-will-be“ has sent me to you» (Exodus, 1999, с. 181); между тем в одном из французских переводов читаем: «Celui qui s'appelle „Je suis“ m'a envoyé vers vous» (Bible, I, с. 68). В Септуагинте и, соответственно, в церковнославянском переводе здесь повторена причастная форма *ὁ ὢν* или *сый* ('сущий'): «Ὁ ὢν ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς», ср. в Геннадиевской библии 1499 г.: «сый ма пѣсти к вамъ» (ГИМ, Син. 915, л. 34 об.), в Елизаветинской библии 1751 г.: «Сый посла ма к' вамъ» (Библ. 1751, стлб. 89). В Острожской библии 1581 г. и, соответственно, в Московской библии 1663 г. в этой фразе представлена форма *сый*, восходящая к переводу Септуагинты, но при этом она выступает не в виде обособленного причастия (как это имеет место в греческом тексте), а оказывается определением к слову *Бог*: «сый ма посла къ вам Б[ог]ъ» (Библ., 1581, л. 26 отдельной фолиации, ср. старообрядческую перепечатку: Библ., 1914, л. 34 об.; Библ., 1663, л. 20 об.). Таким образом, издатели Острожской библии берут форму *сый* из текстов предшествующей традиции и придают ей иное значение.

⁴³ Сократ, 1996, с. 13 (кн. I, гл. 6); Opitz, I, с. 10; PG, XVIII, стлб. 577.

⁴⁴ Ср.: «In Greek the phrase „I am“ without a predicate [имеется в виду: без дополняющего семантического компонента, т. е. предикативного члена] is meaningless» (Fossum, 1995, с. 127; ср. также: Fossum, 1985, с. 125).

⁴⁵ Ср. слова Господа в Книге пророка Исаии по тексту Елизаветинской библии: «Сего ради познають людѣ имя мое въ той день, яко азъ есмь самъ глаголяй, ту есмь» (Ис. LI, 6). Между тем в паремейном чтении из той же книги, начинающемся словами «Тако глаголетъ Господь вси языцы собрашися», Господь говорит: «Азъ есмь Богъ,

и нѣсть развѣ мене спасаай. Азъ возвѣстихъ и спасохъ и уничижихъ, и не бѣ въ васъ чуждѣй. Вы мнѣ свидѣтели, и Азъ Господь Богъ, и еще изначала Азъ есмь» (Ис. LXIII, 11–13; см.: Паремейник, II, с. 17; ср. вариантное чтение: Абрамович, 1916, с. 153); в Елизаветинской библии это место читается иначе.

Вот как обыгрывает интересующее нас выражение Кирилл Туровский в Слове в неделю Фомины: «Осязай мя, яко сам аз есмь, его же прежде осязав Семеон и вѣроу прошаше отпущения с миром <...>. И вѣруй ми, Фома, яко сам аз есмь, его же видѣ Ияков в нощи на лѣствицѣ утвержающася <...>. Вѣруй ми, Фома, яко сам аз есмь, его же образ видѣ Исайя на престолѣ высоцѣ, обстоима множеством ангел. <...> Аз есмь, его же видѣ Данил на облацѣх небесных подобьем сына чловѣча ...» (Еремин, 1989, с. 64).

⁴⁶ В русском переводе Евангелия слова Христа переданы как «это я», что превращает текст в обычный диалог, лишая ответ Христа сакрального смысла и делая реакцию людей непонятной.

⁴⁷ В этом же смысле, может быть, следует понимать и рассказ апокрифического Евангелия от Фомы: Фома спрашивает Христа, кто он. Далее читаем: «И он взял его, отвел его и сказал ему три слова. Когда же Фома пришел к своим товарищам, они спросили его: „Что сказал тебе Иисус?“. Фома сказал им: „Если я скажу вам одно из слов, которые он сказал мне, вы возьмете камни, бросите их в меня, огонь выйдет из камней и сожжет вас“» (Guillaumont et al., 1959, с. 8–9; Трофимова, 1979, с. 161; ср.: Layton, I, с. 58–59). Исследователи полагают, что Христос открыл Фоме свое подлинное имя — то имя, которое Бог сообщил Моисею: «'ehyeh 'asher 'ehyeh» (Fossum, 1995, с. 116; DeConick, 2006, с. 84–85).

⁴⁸ Ср. еще: «Аще бо не имете вѣры, яко азъ есмь, умрете во грѣсѣхъ вашихъ» (ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν — Ин. VIII, 24; о связи этого места с текстом Апокалипсиса см. ниже, примеч. 174), «егда вознесете сына чловѣческаго, тогда уразумѣете, яко аз есмь ...» (ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι ... — Ин. VIII, 28), «вѣру имете, яко азъ есмь» (... ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι — Ин. XIII, 19). Во время хождения по водам ученики принимают Христа за призрак, пугаются, и он говорит им: «Азъ есмь, не бойтесь» (ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε — Ин. VI, 20; Мф. XIV, 27; Мк. VI, 50); эти слова, как правило, понимаются как обычная дейктическая фраза («это я...»), но они могут иметь и сакральный смысл. Такая же возможность двойного толкования открыта в диалоге Христа с Каиафой: «Ты ли еси Христось, сынъ благословеннаго? Иисусъ же рече: Азъ есмь» (σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ; ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐγώ εἰμι — Мк., XIV, 62); «Рѣша же вси: ты ли убо сынъ Божій?

Онъ же къ нимъ рече: вы глаголете, яко азъ есмь» (Ἐἶπαν δὲ πάντες: σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ; ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη· ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐγὼ εἶμι — Лк. XXII, 70).

⁴⁹ PG, II, стлб. 93.

⁵⁰ PL, XXVI, стлб. 176. — См. подробнее: Fossum, 1985, с. 124–128; Fossum, 1995, с. 127–129; ср. также: Wetter, 1915; Zickendracht, 1922; Manson, 1947; Zimmermann, 1960; Zimmermann, 1960a; Williams, 2000; Floss, 1991.

⁵¹ См. о собственных именах: Jakobson, 1957/1971, с. 131 [Якобсон, 1972, с. 96].

⁵² Соответственно в изобразительном искусстве мы не находим прямых аналогов дейктическим элементам.

⁵³ См. в этой связи: Vopp, II, с. 108–109 (§ 331); Jespersen, 1924, с. 190–193 [Есперсен, 1958, с. 218–221]; Виноградов, 1947, с. 330 (гл. IV, § 6).

⁵⁴ Как видим, слово *они* означает как совокупность однородных объектов ('они = он + он', 'они = она + она', 'они = оно + оно'), так и совокупность разнородных объектов, которые ассоциируются друг с другом ('они = он + она', 'они = он + оно', 'они = она + оно'). Понятно, почему так происходит: поскольку слово *они* объединяет формы множественного числа слов *он*, *она* и *оно*, любое сочетание этих слов оказывается выраженным данной формой; иначе говоря, эти слова могут произвольным образом соединяться друг с другом, покрываясь одной и той же формой *они*.

Совершенно так же слово *внуки* может означать как 'внук + внук', так и 'внук + внучка'. Таким образом, в форме *внуки*, так же как и в форме *они*, отсутствует противопоставление по роду: *внук* и *внучка* здесь не различаются, и, соответственно, любое сочетание этих слов выражается формой *внуки*. Отсюда форма *внуки* может означать также 'внучка + внучка', и я могу сказать, например, что у меня есть внуки, если у меня есть несколько внучек. В то же время в языке есть форма множественного числа *внучки*, обозначающая исключительно совокупность внучек (т. е. означающая 'внучка + внучка'). В результате форма *внуки* является неоднозначной. С одной стороны, говорящий может исходить из противопоставления во множественном числе форм *внуки* и *внучки*; соответственно, он может сказать *У меня нет внуков*, имея в виду, что у него есть только внучки. С другой же стороны, тот же говорящий может исходить из того, что в форме *внуки* отсутствует противопоставление по роду; соответственно, он может сказать *У меня есть внуки*, при том что у него есть только внучки. Иначе говоря, слова *внуки* и *внучки* могут как противопоставляться друг другу по своему значению (образуя при этом эквивалентную оппозицию), так и покрываться одно другим (образуя привативную оппозицию).

Если в языке есть противопоставление по роду или именному классу во множественном числе (иначе говоря: различаются формы множественного числа для разных родов или именных классов), следует ожидать, что это противопоставление может нейтрализоваться (когда одна из этих форм выступает как общая форма множественного числа). При этом, если такое противопоставление вообще имеется в языке, оно прослеживается в формах местоимений данного языка (см.: Успенский, 1968/1997, с. 40).

⁵⁵ Идиоматической особенностью русского языка являются выражения типа *мы с тобой (вами)*, *мы с ним (ними)* и т. п., где *мы*, в сущности, означает *я*, но представляет *я* как часть группы (ср.: Жолковский, 2010, с. 284).

Лишь в очень специфическом контексте (типа *мы нижеподписавшиеся...*) местоимение *мы* может означать совокупность нескольких говорящих (см.: Булыгина, 1982, с. 211). Такого рода фразы, однако, не противоречат сказанному: в самом деле, *мы* вправе считать, что местоимение *мы* во фразе *мы нижеподписавшиеся...* означает совокупность людей, каждый из которых мыслит себя как часть группы, присоединяясь к своим единомышленникам, т. е. заявляет о себе не как об отдельной личности («я»), но как о личности, объединенной с другими, и тем самым представляет себя как «я + он/она» или «я + они». Таким образом, *мы* может рассматриваться в данном случае не как объединение «я + я...», но как объединение («я + он/она») + («я + он/она») и т. д. — следовательно, как объединение более частных «мы + мы...». Точно так же, как указывает Есперсен, если группа людей в ответ на вопрос *Who will join me?* отвечает *We all will*, в устах каждого говорящего эта фраза не означает ничего другого, как ‘I will and all the others will (I presume)’ (см.: Jespersen, 1924, с. 192 [Есперсен, 1958, с. 221]).

Особый случай представляет употребление *мы* в функции 2-го или 3-го лица при выражении соучастия (сопереживания) или же насмешки: так могут говорить, в частности, обращаясь к ребенку (см. ниже, § VII-1), к старому или больному человеку, а также упоминая о ком-либо из них (как правило, в его присутствии); речь идет, таким образом, о недееспособном человеке, у которого как бы нет своего отдельного *я*, существующего независимо от *я* другого человека. Ср.: «Какие мы красивые!» (о ребенке), «Мы уже забываем слова» (о пожилom человеке), «Мы, знаете, в карточки очень повадливы...» (Петр Степанович в “Бесах” Достоевского о своем отце, ч. I, гл. 5, § 7, — Достоевский, X, с. 162) и т. п. (то же наблюдается и в других языках — например, в английском, немецком, французском, итальянском). Поскольку так говорят о ребенке, это может иметь ласкательный смысл, ср.: «Я (...) хорошо знаю, какая на наших плечиках всевластная головка» (губернаторша Юлия Михайловна в

“Бесах” о Лизе, ч. I, гл. 4, § 7, — там же, с. 126): при этом голова, строго говоря, не может быть на наших плечах, она всегда принадлежит одному человеку (см. в этой связи ниже, *Глава II*, § VIII-7). Отсюда видно, что *мы* не имеет здесь значения множественного числа. Характерным образом в обоих примерах из Достоевского такое *мы* сочетается с уменьшительными формами, относящимися к субъекту, обозначаемому через *мы* (*плечики*, *карточки*) — уменьшительные формы характерны вообще для детской речи или речи, обращенной к детям (см.: Успенский, 1970/2000, с. 72). Равным образом такого рода обращение может выражать покровительственное отношение старшего (ответственного) лица к тому, кто находится под его опекой, ср.: *Раскроем тетради* (обращение учителя к ученикам), *Давайте останемся* (обращение кондуктора к пассажирам), *Граждане, давайте не будем* (обращение милиционера к толпе) и т. п. (ср.: Апресян, 1986/1995, с. 646). В основе такого употребления лежит, по-видимому, обращение к маленькому ребенку (а не подражание французскому, как полагал Шахматов, 1925–1927/1941, с. 464, § 527).

Это явление можно описать как частный случай «замещенной речи» (ср. вообще о «замещенной речи»: Волошинов, 1929, с. 163; Успенский, 1970/2000, с. 79–81). Говорящий, относясь ко 2-му или 3-му лицу, говорит как бы от его имени, т. е. говорит за него, и таким образом местоимение *мы* выступает одновременно как вместо местоимения 2-го или 3-го лица, так и вместо местоимения 1-го лица.

⁵⁶ Ср.: «„Я“ и „он“ суть действительно различные объекты, и они в сущности исчерпывают все, поскольку, другими словами, их можно обозначить как „я“ и „не-я“. Но „ты“ — это „он“, противопоставленный „я“. В то время как „я“ и „он“ основываются на внутреннем и внешнем восприятии, в „ты“ заключена спонтанность выбора. Это также „не-я“, но в отличие от „он“ не в сфере всего сущего, а в сфере действия, обобщественного взаимным участием» (Humboldt, 1830/1848, с. 91–92 [Гумбольдт, 1985, с. 400]). Развивая мысль Гумбольдта, можно сказать, что исходным является противопоставление *я* — *он*. В зависимости от перспективы *он* может пониматься как не-я (и тогда имеет место противопоставление *я* — не-я) или же *я* может пониматься как не-*он* (тогда имеет место противопоставление *он* — не-*он*). *Ты* может относиться как к полюсу *я* (и тогда *я* и *ты* оказываются противопоставленными *он*), так и к полюсу *он* (и тогда *он* и *ты* оказываются противопоставленными *я*).

Ср. замечание Дж. Гринберга об отражении промежуточного положения 2-го лица в грамматической традиции: «2-е лицо занимает позицию между 1-м и 3-м лицом. В западной грамматической традиции принятый порядок местоимений обнаруживает интуитивное понимание промежуточного положения 2-го лица. В семитской традиции принят порядок: 3-е лицо, 2-е лицо, 1-е лицо. Нигде, однако, мы не встречаем такого по-

рядка, как 2-е лицо, 1-е лицо, 3-е лицо» (Greenberg, 1986, с. XX). Ибн Араби в цитированном уже выше (см. примеч. 31) трактате о мистическом значении арабских местоимений соотносит местоимение 3-го лица (*Huwa* 'он') с Богом, местоимение 1-го лица (*Anā* 'я') с воспринимающим субъектом (микрокосмом), тогда как местоимение 2-го лица (*Anta* 'ты') соотносится с физическим миром (макрокосмом) как объектом человеческого восприятия (см.: Urizzi, 2004, с. 8; ср.: Casseler, 2004, с. 56, 96–97). Бог присутствует как в микрокосме, так и в макрокосме, и таким образом в принципе может определяться посредническая роль местоимения 2-го лица в процессе познания Бога; по словам Ибн Араби, «*Anā* ['я'] более близко к *Huwa* ['он'], чем к *Anta* ['ты']» (Ibn 'Arabī, 2004, с. 140).

⁵⁷ Особый статус непосредственных участников диалога (говорящего и его собеседника) отчетливо проявляется в самых разных языках. Действительно, во многих языках формы 1-го и 2-го лица так или иначе противопоставлены формам 3-го лица (см.: Benveniste, 1966, с. 256–257 [Бенвенист, 1974, с. 290]). В частности, в целом ряде языков местоимения 3-го лица, в отличие от местоимений 1-го и 2-го лица, обнаруживают связь с указательными местоимениями (см.: Bhat, 2004; Greenberg, 1986, с. XIX–XX). Далее, местоимения 1-го и 2-го лица могут быть грамматически противопоставлены в языке местоимению 3-го лица, что выражается в системе склонения. Так, во многих языках дифференциация по роду обнаруживается в местоимениях 3-го лица и отсутствует в местоимениях 1-го и 2-го лица (Bhat, 2004, с. 13); в языках эргативного строя в местоимениях 1-го и 2-го лица может отсутствовать эргативный падеж, который объединяет местоимения 3-го лица и имена существительные (см.: Bhat, 2004, с. 5, 113, 126–127, 132–133; Nash, 1997); и т. п.

⁵⁸ Иначе у Бенвениста, который говорит об уникальности как первого, так и второго лица: «... Определяющим признаком лиц „я“ и „ты“ служит только им присущая *уникальность*: „я“, которое производит высказывание, „ты“, к которому „я“ обращается, каждый раз уникальны. Напротив, „он“ может представлять собой бесконечное число субъектов — либо ни одного» (Benveniste, 1966, с. 230 [Бенвенист, 1974, с. 264]). Верно, что в каждый отдельный момент у нас может быть только один собеседник, которого мы можем обозначить как *ты*. Тем не менее, мы можем сказать *ты, и ты, и ты...* (обращаясь к группе собеседников), но ни при каких условиях не скажем *я, и я, и я...* (если имеется в виду множество говорящих, а не множество местоимений *я*, т. е. если *я* обозначает того, кто говорит, а не относится к обозначению слова).

⁵⁹ Ср.: «Если сказано *ты*, то вместе с этим сказано *я* пары *я-ты*. Если сказано *оно*, то вместе с этим сказано *я* пары *я-оно*» (Wenn *Du* gesprochen wird, ist das *Ich* des Wortpaars *Ich-Du* mitgesprochen. Wenn *Es*

gesprochen wird, ist das *Ich* des Wortpaars *Ich-Es* mitgesprochen — Buber, 1966, с. 9 [Бубер, 1993, с. 6]).

⁶⁰ Выражение *ваше величество* (*maiestas tua*) восходит к наименованию римских императоров (оно встречается уже у Горация и Овидия по отношению к Августу); форма *maiestas* в свое время относилась прежде всего к божественной сфере, и это наименование первоначально отражало, видимо, почитание императора как божества (Svennung, 1958, с. 71–74); ср., вместе с тем, выражение *maiestas mea* уже в трагедии Ливия Андроника (III в. до н. э.) — в устах Эгиста (там же, с. 69). См. вообще о наименованиях такого рода: Svennung, 1958, с. 68–81, 439, 455–458 (ср. также с. 59–68, 83–125); Grand, 1930, с. 50–51.

Соответственно сами императоры начиная с III в. могут именовать себя *nostra maiestas*, а также *nostra excellentia*, *nostra clementia*, *mea aeternitas* и т. п. (Svennung, 1958, с. 77; Draeger, I, с. 26; Sasse, 1889, с. 14–19, 36, 38–39, 41, 45–46, 48–50). Император Диоклетиан (245–313), говоря о себе, употреблял выражения *serenitas nostra* и *tranquillitas nostra*, но, обращаясь к проконсулу Африки, называл его *devotio, sollertia, prudentia tua*; с 315 г. по отношению к чиновникам высокого ранга приняты обращения *celsitudo, gravitas, sinceritas, sollertia, sublimitas tua* и т. п. (см.: Hirschfeld, 1901, с. 604–607). Император Гонорий именовал папу Бонифация I (418–422) *beatitudo tua*, а себя самого — *pietas nostra* (Dihle, 1952, с. 176).

Позднее наименования такого рода могут осмысляться в контексте политической теологии, различающей естественное и мистическое тело монарха (см.: Kantorowicz, 1957). Так, Клаудио Толомеи (Claudio Tolomei) в письме 1543 г. Аннибалу Капо (Annibale Caro), будучи противником подобных выражений (см. ниже, примеч. 109), отмечает, что их защитники ссылаются на то, что монархи объединяют в себе две природы: естественную и ниспосланную им судьбой («Non mancherà chi dica che questo modo di parlar per Escellenze e Maestà, non solo è cortese, e debito, ma è ancor necessario. Percio che i Principi rappresentan sempre due persone; l'una della natura loro, l'altra de la fortuna. In una son considerati come uomini così fatti, nell'altra come Principi tali» — Tolomei, 1557, л. 81).

⁶¹ В русском языке выражения такого рода могут согласовываться с глаголом как в 3-м, так и во 2-м лице. Для настоящего и будущего времени исходным является при этом согласование с глаголом в 3-м лице единственного числа (*Ваше величество желает...*, *Ваше сиятельство желает...* и т. п.). Вместе с тем, в целом ряде случаев можно наблюдать и согласование с глаголом во 2-м лице множественного числа, ср., например: «Я мог надеяться, что ваше превосходительство оцените» (А. Н. Островский. «Богатые невесты», акт II, явл. 4 — Островский, IV, с. 233); «Если ваше сиятельство в этом затрудняется...» (А. Крылов,

1984, с. 227); см. в этой связи: Буслаев, 1959, с. 389 (§ 203/1); Пешковский, 1956, с. 192 (примеч. 1). Такого рода согласование может ощущаться как менее формальное и менее стандартизированное (поэтому его с меньшей вероятностью можно ожидать в применении к монарху и с большей — к лицам низшего ранга).

Характер согласования определенным образом зависит при этом от грамматической формы времени. В прошедшем времени дело обстоит иначе, нежели в настоящем и будущем: в обычном случае обращения типа *ваше величество* и т. п. предполагают согласование с глаголом в форме множественного числа; глагольные формы множественного числа не различаются в прошедшем времени по лицам, но условно можно считать, что здесь имеется в виду форма 2-го лица множественного числа. Так, например, при обращении к монарху в настоящем и будущем времени говорят *ваше величество изволит...*, но в прошедшем — *ваше величество изволили...*, и т. п. В принципе не исключено и согласование с глаголом в 3-м лице единственного числа (*ваше величество изволило*), но такие формы гораздо менее употребительны (ср. также архаические конструкции: *Твоя милость пришел, Что учинил ваша милость* — Буслаев, 1959, с. 389, § 203/1; Шахматов, 1925–1927/1941, с. 251, § 325). Таким образом, смена времен в какой-то мере обуславливает преобразование грамматических связей.

⁶² См.: Svennung, 1958, с. 9, 15–19, 27–30, 32–58, 336–372, 434–450, 454–455. В романских языках обращение *Seigneur, Signore, Señor* и т. п., восходящее к лат. *seniorem* ‘старший’, вытесняет обращение *dominus* ‘господин’. Так, в частности, называют в этих языках Бога, при том что в латинском языке Бог называется *dominus*.

Противопоставление собеседника и говорящего по признаку «старший — младший» находит типологические параллели в восточных языках. Так, например, в корейском языке местоимение 2-го лица может заменяться в вежливой речи словом *х’онь* ‘старший брат’ или *нох’онь* ‘старый старший брат’, тогда как самого себя говорящий определяет как *че* ‘младший брат’, *сисэнь* ‘меньшой, младший’ и т. п. (Рамстедт, 1951, с. 71).

⁶³ См.: Svennung, 1958, с. 7, 9, 11–13, 17, 29–30, 34–36, 430–432, 452–453.

⁶⁴ См.: Svennung, 1958, с. 73, 81–83, 456, ср. с. 103 (примеч. 35); Ehrismann, 1901–1904, I, с. 131, 140; Grimm, IV, с. 297–298; Буслаев, 1959, с. 389 (§ 203/1). Выражение *mediocritas nostra* (или *parvitas nostra*), противопоставленное *majestas tua*, было принято при общении с императором уже во времена Тиберия в начале I в. н. э. (Svennung, 1958, с. 81–82, 456). Относительно выражения *моя худость* (которое встречается, в частности, в новгородской берестяной грамоте XI–XII в.) см.: Зализняк, 2004, с. 254.

⁶⁵ Такая же социальная дистанция в принципе может выражаться и неличными местоимениями. Ср. у Гоголя в “Ночи перед Рождеством”

сцену встречи кузнеца Вакулы с запорожскими казаками в Петербурге: «„Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись!“ сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли. „Что там за человек?“ спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее» (Гоголь, I, с. 233). Употребляя местоимение *там*, говорящий (запорожец) подчеркивает дистанцию между собой и тем, о ком он говорит (кузнецом). Поскольку при этом он находится ближе к кузнецу, чем его собеседник, очевидным образом имеется в виду не физическая, а социальная дистанция.

⁶⁶ Svennung, 1958, с. 170, примеч. 36.

⁶⁷ Ср. замену слова *Herr* местоимением *er* в немецком языке (см. ниже, примеч. 83).

⁶⁸ См.: Jensen, 1931, с. 214–215 (§ 281).

⁶⁹ Подробнее о формах обращения такого рода см.: Garitte, 1942; Grimm, IV, с. 312–315; Потевня, 1888, с. 4–8. Специально о формах 2-го лица множественного числа при обращении см.: Brown & Gilman, 1960; Svennung, 1958, с. 373–393; об обращении в 3-м лице — Svennung, 1958, *passim*.

⁷⁰ Почтительное обращение на *vos* в латинском языке наблюдается как более или менее регулярное явление с IV–V в. (см.: Chatelain, 1880; Ehrismann, 1901–1904, I, с. 117–140; Svennung, 1958, с. 376–377; Muller, 1914; Coffen, 2002, с. 36–43; ср.: Garitte, 1942, с. 11–12; Brown & Gilman, 1960, с. 255). Спорадически такие формы встречаются и раньше — их можно найти уже у Овидия (см.: Schmid, 1923, стлб. 480; Grand, 1930, с. 2–5); Симмах (ок. 340–402) называет так своего отца (Ehrismann, 1901–1904, I, с. 119). Ср. отдельные примеры такого рода и в древнегреческих текстах (у Исократ и Каллимаха): Schmid, 1923, стлб. 479–480.

Обращение на *vos* в ранней средневековой латыни может чередоваться с обращением на *tu* (так, например, в письмах папы Григория I): выбор той или иной формы определяется в этих случаях не столько этикетом, сколько меняющейся модальностью авторской установки (см.: Muller, 1914; Coffen, 2002, с. 38–41). Норма обращения на *tu*, принятая в классической латыни, восстанавливается в эпоху Возрождения: Петрарка обращается таким образом к императору и папе, а Энеа Сильвио Пикколomini (папа Пий II) обвиняет немцев в том, что они варварским образом используют в латыни формы множественного числа при обращении (см.: Svennung, 1958, с. 382).

⁷¹ Обращение на *vos* выходит из употребления в Испании в XV в., когда вместо него начинают употреблять *Vuestra Señoria* ('Ваше благородие') и *Vuestra Merced* ('Ваша милость') (Grand, 1930, с. 45–46; Cárceles, 1923; Coffen, 2002, с. 130–136); вместе с тем *vos* при обращении сохраняется в испанском языке некоторых стран Латинской Америки (в качестве

фамильярной формы). В настоящее время в Испании принято обращение на *Usted* (согласующееся с глагольной формой 3-го лица единственного числа); ср. ниже, примеч. 88.

⁷² Обращение на *vós* в португальском языке начинает выходить из употребления в XV в., когда вместо него появляется *Vossa mercê* ('ваша милость'), и практически исчезает из обиходной речи в XIX в. (Coffen, 2002, с. 74). Вместе с тем *vós* может сохраняться при обращении к Богу (см. ниже, примеч. 99).

⁷³ О формах обращения в итальянском языке и их истории см.: Grand, 1930; Coffen, 2002, с. 62–64, 111–126, 242–252. Обращение на *voi* и сейчас еще употребительно в разговорной речи на юге Италии, наряду с принятой формой обращения на *Lei*; кроме того, обращение на *voi*, стилистически маркированное, встречается в литературных текстах и, тем самым, присутствует в языковом сознании. Данте (Paradiso, XVI, 10) подчеркивает, что обращение на *voi* — римского происхождения: «Dal „voi“ che prima a Roma s’offerie (...) ricominciaron le parole mie ...» ('На „вы“, которым сперва страдал Рим, (...) начал я свою речь ...'). О распределении обращения на *tu* и на *voi* у Данте см.: Grand, 1930, с. 18–21; Meyer-Lübke, III, с. 109, § 97. Вместе с тем современник Данте, Салимбене, в своей хронике 1282–1287 гг., л. 258а, считает распространение обращения на *voi* характерным для Ломбардии, отмечая при этом, что в Риме, а также в Сицилии и Апулии говорят *tu* даже папе и императору: «sicut faciunt illi de Apulia et Sicilia et Romani, qui imperatori et summo pontefici dicunt „tu“». Et tamen appellant eum dominum dicentes: „tu messor“. (...) Congruum enim et conveniens est ut uni gartioni dicatur „tu“, eó quod puer et iuvenis sit. Sed Lombardi non solum uni puero, verum etiam uni galline et uni mirilego [читай: murilego] dicunt „vos“, et etiam uni ligno» ('Так поступают жители Апулии и Сицилии и римляне, которые говорят „ты“ императору и верховному понтифику. И при этом называют его господином, говоря: „ты, мессер“. (...) Уместно и подобает говорить „ты“ подростку, поскольку он дитя и молод. Но жители Ломбардии не только мальчику, но даже и курице и коту говорят „вы“, даже бревну' — Salimbene, I, с. 172; Салимбене, 2004, с. 133). Позднее обращение на *voi* может признаваться тосканским обычаем: так, Джованни Джакомо Риччи (Giovanni Giacomo Ricci) писал в XVII в.: «Perduto il *tù* Latino, e 'l *voi* Toscano, barbara Signoria succede ...» (Ricci, 1635, с. 879; о распространении в Италии выражения *Vostra Signoria* при обращении см. ниже, примеч. 87).

⁷⁴ См.: Brunot, IV/1, с. 375–378; Brunot, IX/2, с. 689–696; Nyrop, V, с. 229–240 (§ 192–291); Schliebitz, 1886; Robert, 1917, с. 94–95; Maley, 1972; Maley, 1974; Coffen, 2002, с. 100–111, 230–242.

⁷⁵ К истории обращения на *вы* в русском языке см.: Unbegaun, 1939; Черных, 1948; также: Буслаев, 1959, с. 390, § 203/2; Успенский, 1985, с. 135–

136; Лотман и Успенский, 1975/1996, с. 667 (примеч. 243). Ср. заметку Сумарокова “Истолкование личных местоимений...” 1759 г. (Сумароков, VI, с. 294).

В современном русском языке такое обращение не предполагает согласования с формой полного прилагательного по числу (согласуясь при этом по роду, ср., например: *Какая вы строгая* — Виноградов, 1947, с. 327; гл. IV, § 4), однако ранее это было возможно, ср., например, у Гоголя в “Ревизоре” (акт V, явл. 8): «Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые ...» (Гоголь, IV, с. 94). Такое же согласование могло быть и с предикативным членом, ср. у Грибоедова в “Горе от ума” (акт II, явл. 12): «Вы с барышней скромны, а с горничной повесы» (Грибоедов, 1909, с. 54); или у Гоголя в “Ревизоре” (акт IV, явл. 12): «Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными» (Гоголь, IV, с. 74). См.: Шахматов, 1925–1927/1941, с. 250, § 324.

⁷⁶ Обращение на *wy* вытеснено в польском языке обращением *Pan / Pani*, которое сочетается с глаголом в 3-м лице единственного числа (в просторечии *Pan / Pani* может сочетаться с глаголом во 2-м лице единственного числа).

⁷⁷ Почтительное обращение на *you* восходит к обращению на *ye*, которое отмечается в английском языке с XIII в. (см.: Kennedy, 1915; Stidston, 1917; Brown & Gilman, 1960, с. 265). Форма *you* (которая становится обычной при обращении с XVII в.) исторически представляет собой форму винительного падежа от *ye*.

⁷⁸ Обращение на *Ihr* было принято уже в Средние века (по крайней мере с IX в.); впоследствии (в XVII в.) его вытеснило в вежливой речи обращение на *er / sie* (формы 3-го лица единственного числа), которое, в свою очередь, сменилось в XVIII в. обращением на *Sie* (форма 3-го лица множественного числа). См.: Grimm, IV, с. 301–310; Ehrismann, 1901–1904; Gedike, 1794, с. 13–14; ср. детальную регламентацию того, к кому надлежит обращаться на *Ihr* и к кому на *du*, в изд.: Hüge, 1540, л. VI–VI об. (см. также: Ehrismann, 1901–1904, с. 206–209).

⁷⁹ Обращение на *ghi* (форма 2-го лица множественного числа) в свое время было противопоставлено в нидерландском языке обращению на *du* (форма 2-го лица единственного числа). Форма *du* постепенно исчезает, уступая место местоимению *ghi*, которое под влиянием французского языка стало использоваться при вежливом обращении к одному лицу (в литературном языке форма *du* исчезает к концу XVI в., но в диалектах сохраняется и по сей день). Это местоимение (в современном написании *gij*) до сих пор употребляется во Фландрии и в некоторых южноголландских диалектах как местоимение 2-го лица единственного и множественного числа (т. е. по отношению как к одному, так и многим лицам).

⁸⁰ Обращение на *I* было вытеснено обращением на *han / hun* (формы 3-го лица единственного числа), которое, в свою очередь, сменилось

в XVIII в. обращением на *De* (форма 3-го лица множественного числа); таким образом, эволюция датских форм обращения повторяет эволюцию соответствующих немецких форм (ср. выше, примеч. 78). См.: Svennung, 1958, с. 389–390, ср. с. 55–57, 173.

⁸¹ Обращение на *ni* (форма искусственного происхождения, восходящая к местоимению *i*), которое появляется в XVIII в., впоследствии сменилось обращением на *han / hon* (формы 3-го лица единственного числа), см.: Svennung, 1958, с. 390–393, ср. с. 51–55. В настоящее время в Швеции принято обращаться друг к другу на *du* (2-е лицо единственного числа) — независимо от социального положения говорящих.

⁸² См., в частности: Svennung, 1958, с. 389; Grimm, IV, с. 312. — В “Королевском зеркале” (*Konungsskuggsjá*), написанном в Норвегии при конунге Хаконе Хаконарсоне (XIII в.), представлен разговор отца с сыном, где отец наставляет сына, как вести себя при дворе конунга (гл. XXXII–XXXIV). Он отмечает, в частности, что при общении с конунгом необходимо говорить о себе в единственном числе, но к конунгу следует обращаться при этом во множественном числе. Сын не понимает, почему в подобных случаях нужно употреблять множественное число: ведь когда мы обращаемся к Богу, который могущественнее любого правителя, мы употребляем местоимение *ты* и формы единственного числа — никто не обращается к Богу на *вы*. Отец объясняет ему, что к Богу мы обращаемся таким образом потому, что исповедуем единого Бога, а не многих богов; между тем, когда мы обращаемся к конунгу, мы обращаемся не только к нему, но и ко всем, кого он представляет (ср. в этой связи выше, примеч. 60, о различении физической и метафизической природы монарха). Вместе с тем, по словам отца, множественное число подчеркивает высшее положение конунга по отношению к говорящему: его не следует употреблять в тех случаях, когда собеседник равен говорящему по своему социальному положению или ниже его (см.: *Königspiegel*, 1944, с. 118–121, § XXXII–XXXIV; мы благодарны Ф. Б. Успенскому, обратившему наше внимание на этот текст).

⁸³ Нем. *er, sie* заменяют при обращении слова *Herr* и *Frau*; такую же роль могли играть и слова *der, die*. См.: Grimm, IV, с. 308–310; Svennung, 1958, с. 166–168.

⁸⁴ Дат. *han, hun* заменяют при обращении слова *herre* и *frue*.

⁸⁵ Швед. *han, hon* заменяют при обращении слова *herr* и *fru*.

⁸⁶ Обращение на *él / ella* было распространено в Испании главным образом в XVI–XVII вв., в настоящее время оно сохраняется в диалектах. См.: Svennung, 1958, с. 160–162; *Cárceles*, 1923, с. 245; *Coffen*, 2002, с. 13.

⁸⁷ Итал. *Ella* и *Lei* заменяют *Vostra Signoria* (‘Ваше благородие’), откуда *Vossignoria*. Форма *Lei* по своему происхождению представляет

собой форму косвенного падежа от *Ella* (подобно тому как в английском языке *you* представляет собой форму косвенного падежа от *ye*, см. выше, примеч. 77). Эти формы получают распространение в XVII в., причем в середине XIX в. *Lei* становится доминирующей формой (см.: Grand, 1930, с. 66–67, 81, 84–85). При фашистском режиме обращение на *Lei* с 1938 г. оказывается под запретом (Simonini, 1978, с. 211), поскольку оно расценивается как иноязычное по своему происхождению (форма *Lei* считается производной от исп. *Usted*) и, вместе с тем, женственное (это обусловлено тем, что *Lei* является местоимением женского рода и в принципе может согласоваться с формами женского рода, когда речь идет о женщине; отсюда в первой пол. XX в. на севере Италии обращение на *Lei* сменяется обращением на *Lui*) (см.: Coffen, 2002, с. 245–246).

Что касается обращения *Vostra Signoria*, то оно появляется в Италии в XV в. По-видимому, оно возникло независимо от испанского *Vuestra Señoria*, но на его распространение могла оказать влияние испанская форма обращения (Grand, 1930, с. 37, 50–55). Во всяком случае в Италии это обращение могло восприниматься как калька с испанского; так, например, в стихах Маттио Францези (Mattio Franzesi, † 1565) «Contra il parlar per *Vostra Signoria*» читаем: «Noi siam pur obligati allo Spagnuolo, / perchè con si elegante elocuzione / ci ha fatto insignorir di qualche duolo» ('Мы в долгу перед испанским языком, поскольку он на наше несчастье „облагородил“ [букв.: „осеньорил“] нас столь изящным выражением' — *Opere burlesche*, II, с. 123); ср. ниже, примеч. 109. Отметим, что не только *Vostra Signoria*, но и слово *Signor* как форма обращения воспринималась итальянцами как испанизм. Ср. у Ариосто во 2-й сатире: «Signor, dirò (non s'usa più fratello, poi che la vile adulazion spagnola messe la signoria fin in bordello)» ('Синьор, скажу (больше не употребляется брат, поскольку низкая испанская лесть распространила синьорию вплоть до борделя)' — Ариосто, 1857, с. 4); слово *signoria* может относиться здесь как к обращению *Signoria*, так и к обращению *Signor*: оба значения, по-видимому, не противопоставлены одно другому. Как и *Signoria*, обращение *Signor* появляется в Италии независимо от испанского влияния (см.: Grand, 1930, с. 48–49).

⁸⁸ Испанское *Usted* восходит к обращению *Vuestra Merced*, представляя собой сокращение этого выражения (*Vuestra Merced* ⇒ *vusted* ⇒ *usted*). Эта форма получает распространение с конца XVII в.

⁸⁹ Португальское *você* восходит к обращению *Vossa Mercê* 'Ваша милость'. В настоящее время это обращение является фамильярным, а не почтительным.

⁹⁰ Каталанское *vosté* восходит к обращению *Vostra Mercè* 'Ваша милость'. Форма *vosté* фиксируется с XVI в. (Coffen, 2002, с. 55).

⁹¹ Нидерландское *U* восходит к обращению *Uw Edelheid* / *Uwe Edelheit* 'ваше благородие' (De Vries, 1971, с. 757; Svennung, 1958, с. 110;

Зеленецкий, 1960, с. 126), представляя собой сокращение этого выражения ($Uw Ed \Rightarrow UEd \Rightarrow UE \Rightarrow U$), подобно тому как это произошло и с исп. *Usted* (см. выше, примеч. 88). В настоящее время эта форма, как правило, выступает как местоимение 2-го лица единственного числа; вместе с тем она может сочетаться с глагольной формой не только 2-го лица (например, *U hebt*), но и 3-го (например, *U heeft*); можно сказать, таким образом, что форма эта соотносится с двумя лицами (Зеленецкий, 1960, с. 126).

Форма *U* вводится как прямое обращение (как форма именительного падежа) в XVIII в., но уже с XVI в. она употребляется как форма винительного падежа (при обращении на *ghi*, см. выше, примеч. 79).

⁹² Нем. *Sie* восходит к обращению *Eure (Euer, Ihre) Gnaden* ('ваша милость' — во множественном числе), восходящему к лат. *clementia vestra, gratia vestra* и т. п. Обращение на *Sie* в самостоятельном употреблении (без предшествующего выражения типа *Eure Gnaden* и т. п.) известно в немецком языке с конца XVII в. (см.: Grimm, IV, с. 309–311; Svennung, 1958, с. 108, 171–173; Gedike, 1794, с. 14–17). Относительно формы *Eure (Euer, Ihre) Gnaden* см.: Ehrismann, 1901–1904, V, с. 211–212, Svennung, 1958, с. 104–107 (ср. форму множественного числа и в таких выражениях, как *Euer Gunsten, Euer Liebden* 'ваша милость'); употребление существительных с абстрактным значением во множественном числе наблюдается в древнейший период и в скандинавских языках (Svennung, 1958, с. 104, примеч. 37).

Под влиянием обращения на *Sie* в немецком языке оказывается возможным (по крайней мере до начала XX в.) употребление глагольной формы 3-го лица множественного числа в сочетании с подлежащим в 3-м лице единственного числа, ср., например: *Was meinen Herr Professor?, Haben Excellenz auf mich erwartet?* и т. п. (Gedike, 1794, с. 32–33; Nyrop, V, с. 231, § 193; Braun, 1988, с. 51).

⁹³ Равным образом и в персидском языке наряду с местоименной формой 2-го лица множественного числа при обращении может употребляться и форма 3-го лица множественного числа, которая имеет более формальный характер. Форма 3-го лица множественного числа восходит при этом, как и в немецком, к почтительным обращениям типа *ваша милость* и т. п. (ср. выше, примеч. 92), поскольку обороты такого рода употреблялись во множественном числе (так уже в классическом персидском, например, у Саади). См.: Жирков, 1927, с. 120 (§ 94); Jensen, 1931, с. 214 (§ 281); Garitte, 1942, с. 21.

⁹⁴ Так объясняется, например, обращение на *er/sie* в немецком, на *han/hun, han/hon* в датском и шведском, на *él/ella* в испанском (см. выше, примеч. 83–86).

⁹⁵ Так объясняется, например, обращение на *Lei* в итальянском, на *Usted* в испанском, на *U* в нидерландском, на *Sie* в немецком (см. выше, примеч. 87, 88, 91, 92).

⁹⁶ Так, в нганасанском языке невестка не может в разговоре обращаться к свекру, называя его по имени. Имя это заменяется словом 'они'. В свою очередь свекор, отвечая невестке, пользуется словом 'мы', например, не 'я приехал', а 'мы приехали' (ср. *pluralis majestatis* в европейских языках). Такой же запрет существует и в отношении зятя к теще и тестю (Попов, 1984, с. 30).

Аналогичным образом и у китайцев обращаться по имени можно только к младшему (см.: Тань Аошун, 2004, с. 96; Ларина, 2009, с. 48). У разных народов широко распространен запрет жене называть мужа по имени; иногда аналогичный запрет распространяется и на мужа, т. е. супруги в этом случае вообще не называют по имени друг друга (см.: Зеленин, II, с. 140–141; Н. Толстой и С. Толстая, 1998, с. 104).

⁹⁷ Ср. немецкое приветствие *servus* (из лат. *servus* 'раб'), а также итальянское *ciao*, которое восходит к венецианскому слову *sciavo* 'раб' (соответствующему итал. *schiaivo*). К истории подобных выражений ср.: Svennung, 1958, с. 429–432.

В персидском языке принято заменять местоимение 1-го лица единственного числа (*mān*) словом *bāndā* 'раб' или каким-то другим словом с аналогичным значением (которое сочетается при этом с глагольной формой 1-го лица). Местоимение *mān* 'я' употребляется в персидском только при обращении к лицам, стоящим гораздо ниже говорящего на общественной лестнице, т. е. функционально оно соответствует формам *pluralis majestatis* (так, например, говорили о себе монархи). Равным образом местоимение 2-го лица заменяется в персидском словами, возвеличивающими собеседника, — такими, как *jānāb-e 'ālī* 'высокая сторона', *an jāneb* 'та сторона', *sārkar* 'господин', *sārkar 'ālī* 'высокий господин' (которые могут сочетаться с глагольной формой 2-го или 3-го лица множественного числа) (см.: Жирков, 1927, с. 118–120, § 94). Такого рода замена имеет место и в ряде других восточных языков, например в корейском, бирманском или турецком (о словах, заменяющих местоимения 1-го и 2-го лица в корейском языке, см. вообще: Рамстедт, 1951, с. 71; относительно бирманского см.: Bradley, 1993, с. 158).

В языках Юго-Восточной Азии — таких, например, как японский или тайский — гонорифические формы обращения распространены настолько, что некоторые лингвисты считают даже, что в этих языках нет местоимений; вместе с тем сами эти формы выступают в функции местоимений и по существу должны рассматриваться как таковые (см.: Bhat, 2004, с. 30).

⁹⁸ Отметим, что дистанция между говорящим и слушающим в вежливой речи может проявляться как по вертикали, так и по горизонтали.

В первом случае говорящий подчеркивает относительно более высокое положение собеседника, во втором случае — свою удаленность (отстраненность) от него, отсутствие сколько-нибудь близких отношений между ними. Так, в персидском, как мы видели, собеседник может именоваться как *jānāb-e 'ālī* ‘высокая сторона’, так и *an jānēb* ‘та сторона’ — оба выражения предстают как синонимичные, выступая как средство возвеличения собеседника (см. выше, примеч. 97).

В английском и других западноевропейских языках дистанция между собеседниками проявляется в запрете форм в повелительном наклонении и ограничении форм в вопросительном наклонении (см.: Вежбицкая, 2007, с. 145; Вежбицкая, 2009, с. 10; Ларина, 2009, с. 146, 200, 222 сл.). Например, по правилам речевого этикета нельзя сказать официанту в ресторане *Bring me the menu please*; вместо этого говорят *Could I see the menu please?* и т. п. Точно так же, находясь в автобусе, невежливо спросить *Are you getting off?*; говорят *Excuse me* или *Excuse me, I'm getting off*. Даже вопросительные фразы в сослагательном наклонении (начинающиеся с *Would you...*) рассматриваются как грубые — предпочтительны выражения типа *You might like to...*; и т. д. и т. п. Такого рода запреты и ограничения принято рассматривать как выражение «*prīvasu*», но в основе их лежит, по-видимому, то же стремление к возвышению собеседника, о котором шла речь выше. Характерно в этом смысле, что такие же ограничения традиционно выступали и при общении с монархом или вышестоящим лицом: монарху не принято было задавать вопросы и, тем более, обращаться к нему с приказанием; можно предположить, следовательно, что то, что сейчас осмысляется как «*prīvasu*», восходит к придворному этикету.

В сущности, здесь проявляется та же тенденция, которая заставляет (в разных языках) обращаться к собеседнику не во 2-м лице, а в 3-м: действительно, во всех этих случаях мы наблюдаем стремление по возможности избежать непосредственного общения с собеседником (ср. ниже, примеч. 109).

⁹⁹ Начиная с XVII в. обращение на *vous* становится настолько пространственным во французском языке, что так могут обращаться к мужу или жене, к маленькому ребенку и даже к собаке. Ср., например: *Disez bojou à son père!* (= *Dis, dites bonjour à ton, votre père*), *Donnez sa papatte à la dame!* (= *Donne-moi la patte*), см.: Vauche, 1951, с. 70, примеч. 1 (формы *bojou* ‘bonjour’, *papatte* ‘patte’ являются так называемыми детскими словами, т. е. специфическими словами, которые употребляют взрослые при разговоре с маленькими детьми, см. о них: *Глава II*, § VI-1 (и особенно примеч. 28); ср. об обращении к собаке на *Sie* в немецком языке — Denecke, 1892, с. 328; Svennung, 1958, с. 173, на *usted* в испанском — Braun, 1988, с. 43). Людовик XIII (1601–1643) в детстве обращался на *vous* к неодушевленным объектам (Ernst, 1985, с. 71). В конце XVII в. аббат Бельгард

(Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde), рассуждая о правилах поведения, констатирует, что «не принято обращаться на *tu* ни к своим братьям, ни к своим детям, ни к своим родителям» (on ne tutoyait ni ses frères, ni ses enfants, ni ses parents — Bellegarde, 1697, с. 449; Maley, 1972, с. 1001). Примерно в это же время во Франции идет дискуссия о том, могут ли обращаться друг к другу на *tu* любовники (ср. различные мнения на этот счет аббата Рапена [René Rapin] и графа де Бюсси [Roger de Rabutin, comte de Bussy] — Day, 1911, с. 96; Coffen, 2002, с. 106). Характерным образом Жорж Данден, герой одноименной комедии Мольера, обращается на *vous* даже к самому себе: «George Dandin! George Dandin! vous avez fait une sottise, la plus grande du monde» (акт I, явл. 1), «Eh bien, George Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite» (акт I, явл. 2), «Vous l’avez voulu, George Dandin, vous l’avez voulu ...» (акт I, явл. 9); но, вместе с тем: «Ah! George Dandin, où t’es-tu fourté» (акт I, явл. 4) (Molière, II, с. 419, 422, 432 и 424).

Достоин внимания, что куртуазная форма обращения на *vous* до недавнего времени распространялась во Франции на обращение к Богу: так обычно обращались к Богу французские католики, тогда как протестанты употребляли соответствующую форму единственного числа (*tu*), ср. трактат Ж. Верне, женеvского кальвинистского писателя, посвященный этой проблеме (Vernet, 1752); о полемике по этому поводу в конце XVII — начале XVIII в. как в католической, так и в протестантской среде см.: Brunot, IV/1, с. 377; Vernet, 1752, с. 16–17, 75–77, 80–87, 91–92, ср. с. 72–75; Gedike, 1794, с. 47–48. Замечательно, что протестанты могут мотивировать необходимость обращения к Богу на *tu* как естественностью такого обращения, так и, наоборот, тем, что речь, обращенная к Богу, должна отличаться от обычной, повседневной речи, в которой принято обращение на *vous* («parce qu’un discours adressé à Dieu leur paroît devoir être caractérisé et distingué du langage commun» — Vernet, 1752, с. 15). После Второго Ватиканского собора (1962–1965 гг.) французские католики стали обращаться к Богу на *tu* (в 1967 г. вышел специальный декрет на этот счет, см.: Maley, 1972, с. 1006), хотя обращение на *vous* до сих пор принято у традиционалистов, не признавших решения этого собора. По отношению к Богородице во французском языке до сих пор вполне обычным является обращение на *vous* (наряду с обращением на *tu*; в какой-то мере это может объясняться традицией куртуазного поведения). Обращение к Богу во множественном числе находим уже в “Песни о Роланде”, XI в. (строфа CCLXXXII, стих 3891): «„E! Deus“, dist Carles, „le dreit en esclargiez!“» («„О, Боже“, сказал Карл, „дайте правде воссиять!“»). Обращение на *vos* преобладает вообще в “Песни о Роланде” (ср. анализ случаев обращения на *tu*: Meyer-Lübke, III, с. 109–110, § 97); даже к своему мечу Дюрендалю Роланд обращается во множественном числе (строфа CLXXI, стихи 2005, 2009–2010; строфа CLXXIII, стихи 2351–2352; ср., однако, обращение к нему же на *tu* — CLXXII, стихи 2316–2320).

В просмотренных нами (выборочно) французских изданиях Нового Завета XVII в. текст “Отче наш” (Мф. VI, 9–13) предполагает, как правило, обращение к Богу во множественном числе (см.: Nouveau Testament, 1605, с. 31; Nouveau Testament, 1660, с. 16; Nouveau Testament, 1667, I, с. 19–20; Nouveau Testament, 1678, с. 11), ср., однако, обращение в единственном числе в издании: Nouveau Testament, 1664, тетр. А, л. 5 об. Напротив, в изданиях XVI в. нам встретилось только обращение в единственном числе: Bible, 1535; Bible, 1550, с. 4 третьей пагинации; Bible, 1550а, л. 2 об. второй фолиации; Bible, 1563, л. 4 об. третьей фолиации; Nouveau Testament, 1560, с. 19; Nouveau Testament, 1569, л. 10; Nouveau Testament, 1592, с. 7; Nouveau Testament, 1594, л. 10 об.–11; Bible, 1606, л. 4 об. третьей фолиации. В 1589 г. Пьер Вьель [Pierre Viel], каноник собора св. Юлиана в Мансе, опубликовал рассуждение о том, что непристойно говорить *toi*, обращаясь к Богу, королям или знатым особам (под названием: “Que ceux-là parlent impertinemment, qui disent *toi* à Dieu, aux Rois, & autres personnes signalées d’honneur” — Pierre de St. Julien, 1589; см.: Vernet, 1752, с. 17). Тем не менее, еще Людовик XIII, будучи дофином (в 1605 г.), во время адорации св. Даров обращается к Богу таким образом («Mon Dieu, je t’adore en ta r[г]esence»), при том что при обращении к людям обычным для него было обращение на *vous* (Ernst, 1985, с. 71). Отметим, что обращение к Богу в единственном числе в XVII в. сохраняется в поэзии (см.: Ferber, 1917, с. 299–304) — это можно объяснить как дань литературной традиции). Прежнее обращение к Богу на *tu* отразилось в слове *tudieu* ‘ей-богу’. Закономерно, вместе с тем, что в “Уроке женам” Мольера (акт IV, явл. 5) герой обращается во множественном числе к небу: «Ciel! faites que mon front soit exempt de disgrâce» (Molière, I, с. 385).

О единичных случаях обращения к Богу и Богоматери во множественном числе в Италии в XIII–XV вв. см.: Grand, 1930, с. 6–7, 31, 33; подобное обращение к Богоматери является при этом относительно менее редким явлением. О необходимости обращаться к Богу в единственном числе говорит Салимбене в “Книге прелата” (Liber de prelate), вошедшей в его хронику 1282–1287 гг., л. 257d (Salimbene, I, с. 172; Салимбене, 2004, с. 133). Салимбене приводит в качестве иллюстрации латинскую молитву, но из контекста ясно, что он имеет в виду как латинский, так и итальянский язык. Об обращении к Богу и Богоматери во множественном числе в немецкой литературе XIII–XIV вв. см.: Ehrismann, 1901–1904, IV, с. 245; Ehrismann, 1901–1904, V, с. 167. В Испании в XVI–XVII вв. к Богу могли обращаться как во 2-м лице единственного числа (на *tú*), так и в 3-м лице единственного числа (со словами *vuestra maestad*, см.: Coffen, 2002, с. 132, 135). В Португалии к Богу обращаются на *tu* или на *vós* (см.: Braun, 1988, с. 96).

¹⁰⁰ Форма *thou* до недавнего времени была принята в английском языке при обращении к Богу. Замена *thou* на *you* при обращении к Богу в

английском языке совпадает с заменой обращения на *vous* обращением на *tu* во французском (см. выше, примеч. 99).

¹⁰¹ Поскольку форма *you* в современном английском языке объединяет значения единственного и множественного числа, в том случае, когда имеется в виду множественное число, к местоимению *you* часто оказывается необходимым прибавлять существительное (например, говорят *you gentlemen, you boys, you guys, you folks* и т. п.); в некоторых диалектах английского языка *you* во множественном числе произносится особым образом (см.: Garitte, 1942, с. 14; Глисон, 1959, с. 214).

Аналогичное явление наблюдается во французском языке, где форма *vous* может относиться как к одному, так и к нескольким собеседникам. В последнем случае (если имеются в виду несколько собеседников) в разговорном французском к ней может добавляться *vous autres* (например: *Vous riez, vous autres, On vous voit venir; vous autres* и т. п. — Garitte, 1942, с. 8); такого рода употребление не столь характерно для соответствующих форм других романских языков (таких, как исп. *vosotros/vosotras*, итал. *voi altri* и т. п.), где обращение к собеседнику во 2-м лице множественного числа не получило такого распространения, как во французском.

¹⁰² С исчезновением из литературного языка формы *du* местоимение *ghi* (или восходящие к нему формы) на какое-то время становится единой формой обращения (как это до сих пор имеет место, в частности, во Фландрии, см. выше, примеч. 79). Вместе с тем после появления в нидерландском языке формы *U* (из *Uwe Edelheit*) местоимение *jij*, первоначально, как и *ghi*, имевшее значение 2-го лица множественного числа (форма *jij*, как полагают, представляет собой архаическую форму этого местоимения, которое впоследствии превратилось в *ghi/gij*), приобретает значение 2-го лица единственного числа, т. е. выступает как субститут формы *du*, исчезнувшей из литературного языка (см. примеч. 79 и 91). Этот процесс, в свою очередь, стимулировал развитие вторичной формы множественного числа: ее источником явились сочетания местоимения 2-го лица с элементом *-liede/-lude* (отсюда объясняется современная форма 2-го лица множественного числа *jullie*, которое восходит к *jijluj*, соответствующему англ. 'you folk', ср. выше, примеч. 101).

Как уже отмечалось, старая форма местоимения 2-го лица единственного числа *du* сохраняется в диалектах (см. примеч. 79). В этих диалектах представлены, таким образом, две местоименные формы 2-го лица единственного числа, восходящие к *du* и *jij*. Литературное происхождение формы *jij* придает ей — или восходящим к ней формам — более высокий статус. Соответственно, в одних диалектах *du* (*doe*) звучит фамильярно, а *jij* (*ij, ie, ai*) — вежливо; в других первое местоимение используется при обращении к женщинам, второе к мужчинам (Зеленецкий, 2000, с. 128).

Форма *ghi* (*ghij*, *ghy*) была принята при обращении к Богу (так, в частности, уже в Лувенской Библии 1648 г.), что было специально регламентировано нидерландским национальным синодом. Употребляя это местоимение, переводчики Библии пытались дифференцировать глагольные формы 2-го и 3-го лица, но эта дифференциация не была последовательно выдержана (Зеленецкий, 2000, с. 215–216). С недавнего времени при обращении к Богу может употребляться форма *jij*. Другой формой обращения к Богу (как у католиков, так и у протестантов) служит форма *U*.

¹⁰³ Ср. замечание Стародума в “Недоросле” Фонвизина (акт III, явл. 1): «Отец мой воспитал меня по-тогдашнему. (...) Тогда один человек назывался *ты*, не *вы*. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих» (Фонвизин, I, с. 129). Это замечание восходит, возможно, к французским выступлениям против обращения на *vous*: так, например, Демаре (J. Desmarest) писал в предисловии к героической поэме “Кловис” (1666 г.): «Слово *vous* при разговоре с единственным человеком появилось лишь благодаря назойливой лестиности последних веков, когда вздумали говорить с одним лицом как со многими, чтобы внушить ему мысль о том, что оно одно стоит многих» (Le mot de *vous* en parlant à une seule personne, n’a esté introduit que par la basse flaterie des derniers siècles, qui s’est avisée de parler en pluriel à une personne en voulant luy faire croire que toute seule elle en valloit plusieurs — Brunot, IV/1, с. 377, примеч. 1). Между тем Кондильяк видел в обращении на *vous* проявление дикости нравов: «... Нашим диким и раболепным отцам вздумалось говорить во множественном числе о человеке, который вызывал уважение или страх, и *vous* стало обращением раба к своему господину» (... Nos pères barbares et serviles imaginèrent de parler au pluriel d’une seule personne, lorsqu’elle se faisait respecter ou craindre, et *vous* devint le langage de l’esclave devant son maître — там же, IX/2, с. 689). Ср. затем речь Мальбека (Malbec) во французском парламенте (31 октября 1793 г.): «Мы различаем три лица в единственном числе и три во множественном, и вопреки этому правилу дух фанатизма, надменности и феодализма заставил нас принять обычай употреблять второе лицо множественного числа, когда мы говорим с одним человеком» (Nous distinguons trois personnes pour le singulier et trois pour le pluriel, et, au mépris de cette règle, l’esprit de fanatisme, d’orgueil et de féodalité nous a fait contracter l’habitude de nous servir de la seconde personne du pluriel lorsque nous parlons à un seul — там же, с. 691; ср.: Нурр, V, с. 235, § 197). 12 ноября 1793 г. обращение на *vous* было запрещено в Париже (Brunot, IX/1, с. 692; ср.: Gedike, 1794, с. 3). Оно было восстановлено после переворота 9 термидора (27/28 июля 1794 г.), и замечательно, что в этот период именно обращение на *tu* было объявлено признаком деспотизма: по словам Лагарпа (La Harpe), «тыканье присуще деспотическим странам, таким как Россия» (Le tutoiement est chose propre aux pays despotiques comme la Russie — там же, с. 694).

Для типологических параллелей см. выступления английских квакеров против обращения на *you*, в частности, книгу: Fox, Stubs & Furley, 1660; см.: Brown & Gilman, 1960, с. 265–266.

¹⁰⁴ См. выше (примеч. 64) о самонаименовании типа *parvitas nostra, meine Wenigkeit* и т. п. В корейском языке местоимение 1-го лица в вежливой речи заменяется такими словами, как *сисэнь* ‘меньшой’, ‘младший’, *соин* ‘маленький человек’, *соджа* ‘маленькая личность’, *сосэнь* ‘маленький ученик’ (Рамстедт, 1951, с. 71). Ср. в этой связи русский эпистолярный обычай, предписывающий именовать себя уменьшительным именем (см. с. 31 наст. изд.).

¹⁰⁵ Гоголь, IV, с. 84.

¹⁰⁶ Пушкин, VIII, с. 324.

¹⁰⁷ Крылов, III, с. 15. — См. в этой связи: Пешковский, 1956, с. 196; Гвоздев, 1952, с. 227 (§ 359).

¹⁰⁸ Говоря о русских глагольных формах повелительного наклонения, Н. С. Трубецкой замечал: «... Формы, обращенные ко множеству, подразделяются ⟨...⟩ смотря по тому, рассматривается ли множество как дифференцированный коллектив или как коллектив недифференцированный. „Стой, ребята!“ обращено к недифференцированному коллективу, „стойте!“ — к дифференцированному. Стилистическое различие здесь тоже имеется, но оно — вторично: естественно, что рассматривать собеседников как недифференцированную массу менее почтительно, чем рассматривать их как множество индивидуумов. Совершенно такое же различие существует, на мой взгляд, и между формами „пойдем“ и „пойдемте“. При „пойдем!“ говорящий как бы сливается с собеседниками в одну недифференцированную массу; при „пойдемте“ разумеется множественность дифференцированная. Опять-таки и тут получается стилистическое различие, в том смысле, что „пойдемте“ вежливее, чем „пойдем“, при котором говорящий ставит себя на одну доску с собеседниками. Но это стилистическое различие между „пойдем“ и „пойдемте“ слабее, чем между „стой“ и „стойте“. Сказать „садись, господа!“ совершенно невозможно, можно сказать только „сидитесь, господа“. Но „пойдем, господа“ и „пойдемте, господа“ — одинаково допустимо. Это доказывает, что стилистическое различие вообще вторично, а суть дела — в вышеуказанном различии между дифференцированным и недифференцированным коллективом ...» (из письма Н. С. Трубецкого к Р. О. Якобсону от ноября 1931 г., см.: Jakobson, 1975, с. 224–225). Ср. понятие грамматической индивидуализации (и, соответственно, дезиндивидуализации), предложенное в свое время А. А. Шахматовым (Шахматов, 1925, с. 103; см. вообще в этой связи: Klenin, 1980; Успенский, 2004, с. 15–17, 31).

¹⁰⁹ Ср. протесты в Италии против обращения к собеседнику в 3-м лице — будь то обращение *Vostra Signoria* или заменяющие его местоимения

Ella и *Lei* (ср. выше, примеч. 87). Так, в стихотворении Джованни Джакомо Риччи (Giovanni Giacomo Ricci), которое мы уже отчасти цитировали выше (в примеч. 73), читаем: «Cottotta è la natia dolce favella, / Perduto il *tù* Latino e 'l *Voi* Toscano, / Barbara *Signoria* succede, e quella / Suona per ogni bocca il volgo insano, / Con *lei* si tratta, e si parla con *ella*, / E chi presente ascolta, appar lontano» ('Испортилось родное наречие, утрачены латинское *tu* и тосканское *voi*, их заменяет варварское *Signoria*, которое повсеместно звучит в устах безумного народа: обращаются на *Lei* и говорят *Ella*, и тот, кто находится рядом, кажется вдалеке' — Ricci, 1635, с. 879). Еще ранее Аннибал Каро (Annibale Caro) в письме 1544 г. к Бернардо Тассо (Bernardo Tasso) говорит о «странном и тошнотворном обыкновении говорить с кем-то так, как если бы это был другой человек, и притом абстрактным образом — как бы с идеей человека, а не с самим человеком» (Cosa, che a me pare stranissima, e stomacosa; che habbiamo a parlar con uno, come se fusse un'altro; e tutta via in astratto, quasi con la idea di colui, con chi se parla, non con la persona sua propria — Caro, I, с. 205). В сходных выражениях о том же говорится в стихах Маттио Францези «Contra il parlar per *Vostra Signoria*», которое мы цитировали выше (в примеч. 87): «Mutansi le persone per usanza, / parlasi in terzo al modo cortigiano, / con tanto stomachevole eleganza» ('Лица [грамматические] меняются одно на другое: на придворный манер с тошнотворным изяществом говорят [обращаются к собеседнику] в третьем лице' — Opere burlesche, II, с. 123). Между тем Клаудио Толомей (Claudio Tolomei) в упоминавшемся уже (в примеч. 60) письме 1543 г. Аннибалу Каро замечает, что когда кто-нибудь по глупости обращается к нему с льстивыми словами в 3-м лице, говоря, например, *La Signoria vostra mi faccia questa grazia* ('Ваше благородие да соблаговолит оказать мне любезность'), он (Каро) прежде всего сомневается, к нему ли относится это обращение, и потом, убедившись в ошибке, отвечает: *La Signoria mia vi risponda, poi ch'ella s'ha a far questa grazia, e non io* ('Вам отвечает мое благородие, ибо это оно должно оказать Вам любезность, а не я') («Io talora quando qualcuno scioccamente mi vuol lusingare e me dice (sia per sempio) *la Sig[noria] vostra mi faccia questa grazia*, prima penso se parla a me, e poi avvedendomi di questo errore, gli dico: *la Signo[ria] mia vi risponda, poi ch'ella v'ha a far questa grazia, e non io*» — Tolomei, 1557, л. 83 об.); ср. здесь же возражения против местоименных оборотов (*quella, la medesima, lei*), заменяющих это выражение (л. 85). И сегодня в Италии собеседники, желающие подчеркнуть свою отчужденность, дистанцированность друг от друга и невозможность подлинного общения, могут сказать: «*Ci diamo del lei*» ('Давайте обращаться друг к другу на *lei*').

Более или менее сходные возражения против обращения к собеседнику в 3-м лице мы встречаем и во Франции во второй половине XVII в. (Brunot, IV/1, с. 379; Svennung, 1958, с. 41–42).

¹¹⁰ Дистанция между собеседниками при обращении в 3-м лице проявляется, между прочим, в том, что такого рода обращение не принято, насколько мы знаем, в неопределенно-личных оборотах, описывающих ситуацию при помощи условного обращения к воображаемому собеседнику — обращения, которое объединяет говорящего и его собеседника. Если в русском языке в этом случае возможно употребление формы 2-го лица как единственного, так и множественного числа (ср., например: *Ранним утром ты выходишь на двор...* или *Ранним утром вы выходите на двор...*, и т. п.; см. в этой связи: Виноградов, 1947, с. 459–460; гл. VII, § 15), то в немецком или итальянском, где в вежливой речи принято обращение в 3-м лице, в этом случае выступает только форма 2-го лица единственного числа: едва ли возможно обратиться к воображаемому собеседнику на *Sie* в немецком или на *Lei* в итальянском.

¹¹¹ Так, в Испании в XV–XVII вв., после того как вместо *vos* начинают употреблять *Vuestra Señoría* и *Vuestra Merced* (см. выше, примеч. 71), обращение на *vos* может восприниматься как оскорбление (Grand, 1930, с. 45–46; Cárceles, 1923, с. 245, 248; Coffen, 2002, с. 131–132; ср. также: Svennung, 1958, с. 93); в комедии Тирсо де Молина “*La huerta de Juan Fernández*” (1626 г.) звучит фраза: «*Mudad, señor, en tú el vos; que el vos en los caballeros es bueno para escuderos*» (‘Смените, сударь, *vos* на *tú*, ибо среди дворян годится только оруженосцев’ — акт I, явл. 1, см.: Tírso de Molina, III, с. 602). В шведском, когда обращение на *ni* сменяется в вежливой речи обращением на *han/hon* (см. выше, примеч. 81), форму *ni* продолжают употреблять по отношению к подчиненным, а также молодым людям (Svennung, 1958, с. 391–392). Когда в фашистской Италии оказывается под запретом обращение на *Lei* (см. выше, примеч. 87), обращение на *voi* становится принятой формой — оно признается национальным и демократическим; в какой-то мере это можно сопоставить с запретом обращения на *vous* и предписанием использовать *tu* в революционной Франции (см. выше, примеч. 103).

¹¹² Ср.: *Er, Schuft!* (‘Ты, негодяй!’), *Ich verbitte mir das «Er»* (‘Я запрещаю называть меня *он* [при обращении]’) (Svennung, 1958, с. 168, 187). Ср.: Gedike, 1794, с. 9–13.

¹¹³ См.: Svennung, 1958, с. 454; Nyrop, V, с. 241 (§ 203).

¹¹⁴ *Pluralis majestatis* может проявляться как в формах местоимения (личного, возвратного или притяжательного), так и в соотносенных с ним глагольных формах множественного числа; в русских средневековых текстах глагольные формы могли быть при этом не согласованы с местоимением (см. примеры ниже, примеч. 116). В английском языке множественное число местоимения *we* в этом случае не распространяется на возвратную форму: если это местоимение относится к одному чело-

веку, коррелянтной возвратной формой оказывается *ourself*, а не *ourselves* (Fillmore, 1975, с. 77).

¹¹⁵ См.: Sasse, 1889, с. 7, 53, 55; Ehrismann, 1901–1904, I, с. 117–118 (Климент I писал при этом по-гречески, а не на латыни). Отдельные случаи *pluralis majestatis*, возможно, наблюдаются уже у Тацита — при передаче речей Нерона или Германика (см.: Svennung, 1958, с. 375; ср., однако, иную трактовку: Slotty, 1926, с. 280, 283).

¹¹⁶ Григорий Котошихин в сочинении “О России” ок. 1666 г. (гл. III) сообщает, как именуется себя московский царь в посланиях к иностранным государям: «Мы, великий государь царь ...», «От нашего царского величества ...», «Брату нашему любительному...» (Котошихин, 1906, с. 36–37). Царь Михаил Федорович и его отец, патриарх Филарет Никитич, переписываясь друг с другом, говорят о себе во множественном числе, причем формы множественного числа чередуются с формами единственного: «Писал еси, государь, к нам в своей государственной святительской грамоте ...», «Егда же убо, Великий Государь, прочтохом о вашем Царском здравии посланную к нам грамоту, <...> велми духовно возрадовахся и всемогущему, в Троице славивому Богу попремногу хвалу воздал. Молю, Ваше Царское Благородие, да повелиши нам писаньем почасту возвещати о своем Царском здоровье и о путном шествии, чтоб мы, слыша ваше Царское путное шествие здраво и весело, духовно веселился» (Письма русских государей, 1848, с. 48, № 40, и с. 42, № 32). Такого рода формы наблюдаются на Руси с XIV в. — первоначально в текстах юго-западно-русского происхождения (см. примеры: Потебня, 1888, с. 3), где они появляются, по-видимому, под латинским влиянием.

Ср. чередования местоимений *мы* и *я* в мещанской речи у Достоевского в “Преступлении и наказании” (ч. II, гл. 4): «Слышамши все это, мы тогда никому ничего не открыли <...>. А сегодня поутру <...> вижу, входит ко мне Миколай ...» (Достоевский, VI, с. 106–107). К истолкованию подобных случаев см.: Успенский, 2004, с. 42.

Любопытна реакция на формы *pluralis majestatis* Феодосия Яновского, архимандрита Александро-Невского монастыря (1712–1725 гг.) и архиепископа новгородского (1721–1725 гг.). Управитель монастырских вотчин капитан Збруев в письме к Феодосию употребил по отношению к себе местоимение *мы*. Феодосий сделал на письме следующую ремарку: «всякий глупец присволяет себе в назывании и в письмах высокая титла, подобно нечто и в твоих письмах всех видится. Что обычай есть великим судьям и духовным властям именоватися и писаться множественным числом, яко вместо *я* — *мы*, вместо *мне* — *нам*, вместо *от меня* — *от нас*, понеже имеют товарищей, а духовныя власти братию, яко игумен и архимандрит не может писаться единственным числом, но множественным — *мы*, понеже имеет братию яко товарищей. А у тебя нет ни товарищей, ни

братьи, и судья ты не великий, а пишешь к настоятелю как к твоему конюху» (Рункевич, 1900, с. 932).

¹¹⁷ См. такую точку зрения: Wackernagel, I, с. 101 (§ XVIII); Draeger, I, с. 26 (§ 9); Ehrismann, 1901–1904, I, с. 117; Hofmann, 1965, с. 20 (§ 30); Schmid, 1923, стлб. 479; Garitte, 1942, с. 11–12; Brown & Gilman, 1960, с. 255; Grand, 1930, с. 3.

¹¹⁸ К истории *pluralis majestatis* см. вообще: Sasse, 1889; Schmid, 1923; Garitte, 1942, с. 12; Grimm, IV, с. 299–300; Draeger, I, с. 26; Coffen, 2002, с. 36–38; Потебня, 1888, с. 3. Начиная с Моммзена принято считать, что *pluralis majestatis* первоначально имело реальный, а не переносный смысл: римские императоры выступали от имени своих соправителей, и таким образом форма множественного числа относилась к нескольким лицам (см.: Mommsen, 1882, с. 540–544); сходным образом объяснялось *pluralis majestatis* в посланиях римских епископов (отмечаемое с конца I в.), поскольку они выступали не только от своего имени, но и от имени духовного сообщества, которым они управляли (Sasse, 1889, с. 55–65; Hofmann, 1965, с. 20, § 30). Другие исследователи, однако, указывают на подобное употребление, относящееся к существенно более ранней эпохе, которое не может объясняться таким образом (см.: Schmid, 1923, стлб. 479). Наличие *pluralis majestatis* в языках, никак не связанных с европейской традицией (например, в индусском, см. выше, примеч. 96), заставляет объяснять это явление типологически, а не исторически. Достоинно внимания, что в греческих текстах *pluralis majestatis* наблюдается сначала в высказываниях восточных царей (так выражаются, например, Ксеркс у Фукидида или Кир у Ксенофонта), а затем у македонских царей и диадохов; эта форма является обычной у селевкидов; не исключено, таким образом, что она объясняется здесь восточным влиянием (см.: Schmid, 1923, стлб. 479; Wackernagel, I, с. 100; ср.: Schwyzer, II, с. 243–244, § BIV2ß; Katsouris, 1977, с. 232).

¹¹⁹ См.: Hofmann, 1965, с. 19–20 (§ 30); Hofmann, 1926, с. 135–136 (§ 126); Hofmann, 1980, с. 291–292 (§ 126); Draeger, I, с. 25–26 (§ 9).

¹²⁰ См.: Wackernagel, I, с. 99–100 (§ XVIII); Schwyzer, II, с. 45–46 (§ B13ζ); Katsouris, 1977, с. 232–233. Отметим, что так может говорить о себе апостол Павел (II Кор. I, 6–14).

¹²¹ См. об этом в цитированных выше (в примеч. 119) работах Й. Гофмана (J. V. Hofmann). Ср. иное мнение: Waltz, 1926; Marouzeau, 1935, с. 211.

¹²² Помимо упоминавшихся уже работ Й. Гофмана (указанных в примеч. 119), см. в этой связи: Slotty, 1926; Slotty, 1928; Marouzeau, 1935, с. 210–212. Ср.: Vernet, 1752, с. 3.

¹²³ На Руси *pluralis auctoris* наблюдается уже в начальной летописи, ср. начало “Повести временных лет”: «Се начнем повѣсть сию» (ПСРЛ,

I/1, 1926, стлб. 1; см.: Потехня, 1888, с. 3–4). Относительно средневековых немецких текстов см.: Ehrismann, 1901–1904, II, с. 125–129, 131–132.

Под известным углом зрения *pluralis auctoris* может сближаться с *pluralis majestatis*: характерно в этом смысле, что поэты, как и влиятельные особы, могут не употреблять при обращении форму *pluralis reverentiae*: по словам Энея Сильвия Пикколомини (будущего папы Пия II), «в поэтической речи даже к князьям обращаются на „ты“» (*tibizando poetae scribunt etiam principibus* — Du Cange, III, с. 105b; Ehrismann, 1901–1904, V, с. 213). В персидском языке автор может употреблять местоимение 1-го лица единственного числа *mān*, которое в обычном случае избегается в речи и которое применяется при обращении к лицу, занимающему низшее социальное положение, соответствуя по своей функции *pluralis majestatis* (см.: Жирков, 1927, с. 118, § 94; ср. выше, примеч. 97).

¹²⁴ Слово *égotisme* было искусственно создано во Франции, по некоторым сведениям — в школе Пор-Рояль, где это слово выступало как риторический термин (Ox. Dict., V, с. 95; ср.: Vernet, 1752, с. 4). В словаре Ушакова *эготизм* определяется как «преувеличенное мнение о себе, преувеличенное чувство значения своей личности» (Ушаков, IV, стлб. 1394), но это определение не вполне соответствует исходному значению данного слова, ср.: «*Égotisme* — habitude de parler de soi, de mettre sans cesse en avant le pronom *moi*» (Littré, III, с. 515); «*Egotism* — the obtrusive or too frequent use of the pronoun of the first person singular; hence the practice of talking about oneself or one's doings» (Ox. Dict., V, с. 95).

¹²⁵ В современном итальянском языке субститутутом местоимения 1-го лица единственного числа в относительно формальной речи может выступать слово *Il sottoscritto* («нижеподписавшийся»); оно употребляется при этом не только в письменной, но и в устной речи. И в этом случае, как и в случае *pluralis modestiae*, ограничения в использовании местоимения 1-го лица единственного числа определяются стремлением избежать эготизма.

¹²⁶ Николенька Иртенев, герой «Юности» Толстого, описывая семейство Нехлюдовых (глава «Я ознакамливаюсь»), замечает, что ему понравилась манера называть его при первом свидании *Nicolas* (при обращении к нему) и *он* (когда говорят о нем в его присутствии); соответственно, в прямой речи Нехлюдовых, относящейся к Николеньке, слово *он* выделено курсивом (глава «Нехлюдовы»; см.: Толстой, I, с. 251, 244). Речь идет о фамильярности, несоблюдении условных правил вежливости, возможном в интимном кругу и тем самым предполагающем в данном случае близкие отношения; в другой ситуации это воспринималось бы как вульгарность или даже как грубость.

Автору этих строк довелось как-то наблюдать конфликтную ситуацию, когда покупатели, недовольные продавщицей, стали обсуждать при

ней ее поведение, говоря о ней в 3-м лице. «Вы мне не *онакайте!*» — закричала разгневанная продавщица.

Во французском языке, по крайней мере с XVII в., считается неприличным употреблять местоимение 3-го лица по отношению к присутствующему человеку, даже если он перед тем был назван по имени (Brunot, IV/1, с. 379). В английском языке это может считаться невежливым в том случае, когда человек предварительно не был назван. Чарльз Филлмор рассказывает о трудностях, которые возникают в ресторане в ситуации, когда мужчина должен сделать заказ для своей спутницы, и которые обусловлены запретом употреблять (в английском языке) местоимение 3-го лица: «Предположим, я нахожусь в фешенебельном ресторане и официант спрашивает меня, что я желаю заказать. Поскольку в английской речи тех, кому более тридцати лет, использование личного местоимения [3-го лица] при первом упоминании считается грубым, мне трудно было бы сказать: *She's going to have a cheeseburger* ('Она хотела бы чизбургер'). Моя спутница как-то должна быть названа, но все альтернативные решения также кажутся неудачными. Фраза *My wife will have a cheeseburger* ('Моя жена хотела бы чизбургер') или *Mrs. Willoughby here will have a cheeseburger* ('Эта вот миссис Уилоби хотела бы чизбургер') не годится, поскольку кажется неуместным и ненужным представлять свою жену или „Mrs. Willoughby“ официанту в ресторане. Я пытался выяснить, как поступают разные люди в этой ситуации, и обнаружил целый ряд различных решений. Некоторые пытаются обойти эту дилемму, говоря со своей спутницей так, чтобы официант услышал этот разговор: *Let's see, you wanted the cheeseburger with everything, right?* ('Ты, кажется, выбрала чизбургер с гарниром, не так ли?'). Другое решение состоит в том, чтобы заказать одно и то же для себя и своей спутницы, а затем изменить свой заказ: *That'll be two cheeseburgers. No, on second thought, make mine a carrot-and-raisin salad* ('Мы возьмем два чизбургера. Нет, впрочем, я, пожалуй, возьму салат с морковью и изюмом'). Наиболее же частое решение, согласно официантке, которая служила моим информантом, состоит в напускной формальности с использованием выражения *the young lady* ('молодая дама'). Достаточно обычен и шуточный тон: *Her ladyship will have one of your superb cheeseburgers* ('Ее превосходительство съест ваш замечательный чизбургер')» (Fillmore, 1975, с. 80).

¹²⁷ В арабской грамматической традиции 1-е лицо определяется как «тот, кто говорит», 2-е — как «тот, к кому обращаются», но 3-е лицо — как «тот, кто отсутствует» (Benveniste, 1966, с. 228 [Бенвенист, 1974, с. 261]); см. также: Casseler, 2004, с. 96–97).

Ср. описание русского юридического, который настаивает на том, что о присутствующих *он* не говорят: на этом основании он зачеркивает в Евангелии слово *он* там, где говорится о Христе (Кириллова, 1995,

с. 33–34). Напротив, местоимение *он* может употребляться по отношению к покойнику (которого при этом избегают называть по имени — Г. Виноградов, 1923, с. 297), а также по отношению к черту, лешему, домовому (Зеленин, II, с. 88–89, 91–93, 108–109) или, наконец, к неприятелю (Лотман, 1989/2002, с. 379; см. примеры у Толстого в “Рубке леса” [гл. 6, 7, 13 — Толстой, II, с. 65, 68, 83] или “Войне и мире” [т. I, ч. II, гл. 7, т. III, ч. II, гл. 21, 25 — Толстой, IV, с. 172; Толстой, VI, с. 200, 211]), который ассоциируется при этом с демонической стихией (характерным образом слово *неприятель* представляет собой кальку с лат. *inimicus*, переключаясь с названием дьявола, ср. церковносл. *неприянь* ‘дьявол’; как слово *неприянь*, так и слово *неприятель* — западнославянского происхождения, одно в церковнославянском, другое в древнерусском языке, см.: Успенский, 1987/2002, с. 73, § 3.3.4; Сл. др.-рус. яз., V, с. 344; Sl. staropolsk., V, с. 222).

Табуистическая замена наименования представителей потустороннего мира местоимением *он*, возможно, отразилась в производной от него религиозной лексике; так, в Волынской губ. (Олевский околоток, ныне Олевский р-н Житомирской обл.) говорили: *Татусу выонач мене* ‘Батюшка, прости меня’, *Оныонач мане* ‘Прости меня’, *Нехай тебе оныоначить и доведе до оного* ‘Пусть тебя Бог простит и до спасения приведет’ (Зеленин, 1914–1916, с. 317).

¹²⁸ Ср.: «Замена единственного множественным в третьем лице особенно употребительна тогда, когда говорят о лице присутствующем; например, *они говорят* вместо *он говорит*» (Буслаев, 1959, с. 389, § 203/2). Разумеется, таким образом могли говорить и об отсутствующих, но отсутствие человека делало менее обязательным употребление специфических форм вежливой речи. См., например, у Достоевского в “Преступлении и наказании” слова поручика Пороха: «Вот-с, извольте видеть: господин сочинитель, то бишь студент, бывший то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, непрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил. Сами п-п-подличают, а вот-с, извольте взглянуть на них: вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с!» (ч. II, гл. 1 — Достоевский, VI, с. 80). Употребляя имена существительные, поручик Порох говорит о Раскольникове в единственном числе, но, переходя на местоимения, он пользуется формами множественного числа. Ср. также ответ Раскольникова: «Я готов даже просить у них извинения, если в чем со своей стороны манкировал» (там же); или слова дворника о Раскольникове: «Да вот они сами!» (ч. III, гл. 6 — там же, с. 208).

Помимо местоимения, такого рода замена может отражаться на форме глагола или прилагательного, когда глагол или прилагательное во множественном числе сочетаются с субъектом в единственном. Так, на-

пример, в “Преступлении и наказании” Мармеладов говорит о Лебезятникове: «Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли» (ч. I, гл. 2 — Достоевский, VI, с. 18). Упомянув о предшествующих событиях, не актуальных для повествования, Мармеладов употребляет глагольную форму несовершенного вида, говоря же о событии актуальном, он употребляет форму совершенного вида; в первом случае глагольная форма стоит в единственном числе, во втором — во множественном, как если бы Лебезятников присутствовал при разговоре. Ср. также у Лескова в “Соборянах”: «Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией ...» (ч. I, гл. 3 — Лесков, IV, с. 20), у Тургенева в “Нахлебнике”: «Павел Николаевич совершенно правы-с» (акт II — Тургенев, т. II, с. 162) и т. п. (см.: Шахматов, 1925–1927/1941, с. 250–251, § 324).

¹²⁹ См.: Jensen, 1931, с. 214–215 (§ 281); Lambton, 1953, с. 166.

¹³⁰ По тем же причинам, по-видимому, в английском языке принято писать с прописной буквы местоимение 1-го лица, которое также ассоциируется с собственным именем.

¹³¹ Западноевропейские языки, такие как, например, английский, менее показательны в этом отношении; вместе с тем мы наблюдаем здесь тенденцию закрепления разговорной формы имени в качестве официальной. Характерным образом американские президенты могут настаивать на том, чтобы их называли неформально (*Jimmy Carter, Bill Clinton*), как бы подчеркивая при этом отсутствие дистанции между собой и американским народом, свою доступность в общении, открытость. Такого рода тенденция может наблюдаться и в русском языке (так, например, современный модельер именуется *Слава Зайцев*), но здесь она, как правило, обусловлена не стремлением к демократичности, а западноевропейским влиянием.

Как бы то ни было, и в английском языке, если отец может называть своего сына Джеком, то это, как правило, не предполагает того, чтобы сын называл его подобным образом (см.: Brown & Gilman, 1960, с. 267).

¹³² Аналогичным образом носители английского языка подразделяются на тех, кто могут употребить титул *Mister*, говоря о самом себе (например, *I'm Mr. Jones*), и на тех, кто никогда этого не сделают (см.: Fillmore, 1975, с. 81).

¹³³ См.: Буслаев, 1959, с. 417–418, § 220; Успенский, 1970/2000, с. 44–48. Нам еще предстоит вернуться к проблеме самонаименования (см. ниже, примеч. 184).

¹³⁴ См. описание приема императором Константином VII Багрянородным Лиутпранда, посла итальянского короля Беренгара II (и впоследствии епископа кремонского), в 949 г. (“*Antapodosis*”, VI, 5). Отмечая разного рода театральные эффекты в императорском дворце, поражающие воображение посетителя (искусственные позолоченные птицы, щебечу-

щие на ветвях позолоченного дерева, вместе с позолоченными львами, рычащими и бьющими хвостами по полу и как бы оберегающими восседающего на троне императора), Лиутпранд сообщает: «В третий раз склонившись в поклоне перед императором, я поднял голову и того, кого я видел перед тем сидящим на умеренном возвышении, теперь узрел облеченного в другие одежды сидящим под потолком здания; как это произошло, я не мог понять, но возможно, он был поднят механизмом, которым поднимается по опорам пресс для выделки вина и оливкового масла» (Tercio itaque pronus imperatorem adorans caput sustuli et, quem prius moderata mensura a terra elevatum sedere vidi, mox aliis indutum vestibibus poenes domus laquear sedere prospexi; quod qualiter fieret, cogitare non potui, nisi forte eo sit subvectus argálio [τὸ ἐργαλεῖον — instrumentum], quo torcularium arbores subvehuntur — Liudprandus, 1998, с. 147; PL, CXXXVI, стлб. 895).

¹³⁵ Разные языки могут различаться по степени чувствительности к дейктической природе местоимений. В английском языке, например, если вам говорят *I am glad to see you*, вы можете ответить: *So am I* (ср. по-французски: *Enchanté de vous voir. — Moi aussi*). При этом имеется в виду: *Also I am glad to see you* (что соответствует по смыслу русскому ‘И я тоже рад видеть тебя’), где местоимения *I* и *you* относятся к другим референтам, чем в первой фразе: *I* второй фразы соотносится с *you* первой фразы, а *you* второй фразы соотносится с *I* первой фразы. (Ср. также: *I missed you. — So did I*, и т. п.) Такого рода ответ, как кажется, невозможен или по крайней мере странен в русском языке: здесь ощущается разница в референции. В самом деле, если мне говорят *Рад тебя видеть*, я оказываюсь единственным референтом местоимения *ты*. Поэтому ответ *Я тоже* должен был бы означать, строго говоря, ‘Я тоже рад видеть себя’, что лишено смысла.

И в других случаях русский язык оказывается более чувствительным к употреблению местоимений, чем английский. По-английски, положим, можно сказать *If I were you...* (например, *If I were you, I would do this*, и т. п.), ср. нем. *Wenn ich du wäre...*, франц. *Si j'étais toi...* Подобная конструкция, опять-таки, невозможна в русской речи: по-русски говорят в этом случае *На твоём месте...* (ср. франц. *Si j'étais à ta place...*, итал. *Se ero al tuo posto...*, нем. *An deiner Stelle würde ich...*). В самом деле, невозможно сказать *Если бы я был тобой*: я могу быть на твоём месте, но ни при каких обстоятельствах я не могу быть тобой — даже в сослагательном наклонении! Любопытно, что и по-итальянски говорят *Se io fossi in te...* (букв. ‘Если бы я был в тебе...’), но ни в коем случае не *Se io fossi tu...*

¹³⁶ «Message referring to message» (‘сообщение, направленное на сообщение’), по классификации Якобсона (Jakobson, 1957/1971, с. 130 [Якобсон, 1972, с. 95]). — Заметим, что воспроизводя текст с местоиме-

нием я (который принадлежит не самому говорящему, а другому человеку), говорящий может показать на себя (изображая при этом другого человека). Точно так же, например, говорящий может сказать *Он сказал, что у него болит сердце* и указать на свое сердце (при том, что этот жест должен относиться к сердцу другого человека, который может даже присутствовать при разговоре). Таким образом, при жестикуляции не выполняется условие дейктической конгруэнтности. Как видим, жесты, соотношенные с местоимениями, могут не обладать функцией дейктических элементов.

¹³⁷ «... Приѣхаша ко царю Василью на старой дворъ, начаша его постригати. Онъ же противу вопросовъ на постриганіи отвѣту не даяше и глаголаше имъ: „нѣсть моево желанія и обѣщанія къ постриганью“. Выступи жъ изъ единой заводчикъ, князь Василей Тюфякинъ. Той же за нево отрицашеся, и тако его постригоша и отвезоша ево въ Чюдовъ монастырь. (...) Патріархъ же Ермогѣнъ вельми о томъ оскорбися. Царя жъ Василья нарицаше мірскимъ имянемъ, царемъ, а тово князь Василья проклинаше и называше его инокомъ» (ПСРЛ, XIV/1, с. 100; ср.: Соловьев, IV, с. 575).

¹³⁸ В сходной ситуации оказался посол Лжедмитрия Афанасий Власьев, которому поручено было замещать жениха во время венчания Лжедмитрия с Мариной Мнишек по католическому обряду в Кракове 19 ноября 1605 г. по старому стилю (затем 6 мая 1606 г. в Москве состоялся обряд венчания по православному обряду, где присутствовал уже сам Лжедмитрий). Афанасий Власьев должен был произносить от первого лица слова, полагающиеся произносить жениху (*Я тебя беру в супруги...* и т. п.), но при этом он избегал любого физического контакта с невестой, подчеркивая таким образом условный характер своего участия. Так, например, «когда кардинал хотел связать епитрахилью руки жениха и невесты, то посол послал (...) за чистым платком и хотел обернуть им свою руку и исполнить таким образом этот обряд, а не прикоснуться к руке невесты своею голою рукою, но ему не позволили этого сделать, и он должен был дать свою руку от имени своего царя, князя Московского»; автор описания сообщает далее, что «боясь царя, [посол] остерегался, как бы не дотронуться своею одеждою до ее [Марины] платья» (РИБ, I, стлб. 58–59, 61, ср. также стлб. 63, 65; Niemcewicz, II, с. 289, 290, ср. с. 291). Афанасий Власьев имел все основания проявлять сугубую осторожность: при всей условности его участия в свадебном обряде произносимые им слова имели безусловный — перформативный — смысл; не исключено, что он опасался обвинения в самозванстве (см.: Успенский, 1997/2002, с. 199–200; Успенский, 1998, с. 188–189).

¹³⁹ Весьма характерна в этом смысле божба (заверение) *Я не я буду...* (ср. нем. *Ich wäre nicht mehr ich...*, итал. *Non sarò più io...*), прямо

противоположная тому смыслу, который выражен в ответе Бога Моисею. Если Бог говорит, в сущности, *Я — это я*, заявляя тем самым об абсолютности своего существования (см. выше, § II-1), то слова *Я не я буду...* выражают, напротив, готовность усомниться в собственном существовании, если не исполнится то, о чем идет речь. Иными словами, говорящий заявляет, что он столь же уверен в том, что ожидаемое совершится, как уверен он в своем собственном существовании.

¹⁴⁰ Характерным образом домашние животные в английском языке имеют амбивалентный статус: так, собаки и кошки могут обозначаться как местоимением *it*, так и местоимениями *he*, *she*. Возможность употребления личных местоименных форм (*he* или *she*), очевидно, обусловлена тем обстоятельством, что мы можем разговаривать с этими животными (пользуясь при этом местоимением *you*), — это в принципе предполагает возможность какого-то ответа (реакции). Когда мы употребляем местоимение *it*, мы имеем в виду именно животное, которое не обладает статусом личности. Если же мы употребляем местоимения *he* или *she*, мы, в сущности, приписываем ему такой статус. В самом деле, домашние животные, в отличие от всех прочих, имеют собственные имена, и это означает, что к ним можно обращаться с речевым высказыванием; тем самым, они рассматриваются как потенциальные собеседники. Равным образом и маленький ребенок в английском языке может обозначаться местоимением *it*, наряду с местоимениями *he*, *she* (характерно в этой связи, что в разных языках ребенок может обозначаться существительным среднего рода — например, рус. *дитя*, греч. *τέκνον*). Соответственно, местоимение *we* в английском языке может объединять людей и домашних животных (Fillmore, 1975, с. 77).

В русском языке кошки (в отличие от собак) могут называться христианскими именами (*Васька*, *Машка*), см.: Никольский, 1900, с. 6; Брандт, 1882, с. 61; Успенский, 1983–1987/1996, с. 152 (примеч. 44). Ср. обычай давать человеческие имена домашней скотине (Moszyński, II/1, с. 561).

¹⁴¹ Характерным образом, мы не говорим *Я верю, что $3 \times 3 = 9$* : мы знаем, что это так. И вместе с тем, мы говорим *Я верю в Бога*, — когда речь идет о Боге, подчеркивается именно момент веры, а не знания (ср.: Leach, 1976, с. 70).

¹⁴² Как уже было сказано, *ты* обозначает потенциального участника коммуникации в актуальном дискурсе. Статус участника коммуникации в актуальном дискурсе объединяет *ты* и *я*. Статус потенциального участника коммуникации объединяет *ты* и *он* (*она*, *оно*). См. выше, § II-2.

¹⁴³ Ср.: Успенский, 1988–1989/1996, с. 20–22.

¹⁴⁴ По словам Дхармакирти, индийского философа и логика, жившего между 600 и 660 г., «умозаключение о существовании чужой оду-

шевленности, несмотря на то, что мы познаем ее только на основании аналогии со своею собственной, имеет, как и всякое мышление, для нас значение хотя косвенного, не прямого, не непосредственного, но все же несомненного познания действительности или, что то же самое, истинно существующего» (Дхармакирти, 1922, с. XII).

¹⁴⁵ Чувственное восприятие в принципе поддается контролю: в этом случае мы можем соотносить наше восприятие, воспользовавшись знаками-индексами (см. выше, § I-2).

¹⁴⁶ Ср.: «Какова же та „реальность“, с которой соотносится (имеет общую референцию) *я* или *ты*? Это исключительно „реальность речи“ (<...>). *Я* может быть определено только в терминах „производства речи“, а не в терминах объектов, как определяется именной знак. *Я* значит ‘человек, который производит данный речевой акт, содержащий *я*’» (Benveniste, 1966, с. 252 [Бенвенист, 1974, с. 286]).

¹⁴⁷ Ср.: Malinowski, 1930, с. 313–316. — Не менее характерен вопрос *Are you OK?* (например, в ситуации дорожного происшествия и т. п.), который предполагает положительный ответ независимо от реального состояния спрашиваемого лица: положительный ответ в этом случае означает, что спрашиваемый находится в состоянии коммуникативной связи. В американских фильмах герой падает с крыши, он тяжело ранен и его друг спрашивает его: *Are you OK?* Вопрос кажется бессмысленным: в самом деле, как можно быть «окей», упав с крыши многоэтажного дома? Тем не менее, следует ответить *Yes*. Герой находится в крайне тяжелом состоянии, но он имеет в виду, что он способен воспринимать то, что ему говорят. «Окей» — это подтверждение наличия коммуникативной ситуации. Это то, для чего шлепают новорожденного ребенка: ребенок должен заплакать, взрослый — сказать *Окей*.

Нечто подобное имеет место в ситуации, когда человек, которого ищут и не могут найти, кричит *Я здесь!* Слово *здесь* при этом не имеет дейктической функции, означая лишь подтверждение коммуникативной ситуации (ср.: Fillmore, 1975, с. 39).

¹⁴⁸ Ср.: «Изначальным, конечно, является личность самого говорящего, который находится в постоянном непосредственном соприкосновении с природой и не может не противопоставлять последней также и в языке выражение своего „я“. Но само понятие „я“ предполагает также и „ты“, а это противопоставление влечет за собой и возникновение третьего лица, которое, выходя из круга чувствующих и говорящих, распространяется и на неживые предметы» (Humboldt, 1836/1848, с. 115 [Гумбольдт, 1984, с. 114]).

¹⁴⁹ Если я один воспринимаю данный объект, это не обязательно так: это может быть сон или галлюцинация. (В случае видения я верю,

что то, что я вижу, действительно существует, но это именно вопрос веры — иначе говоря, вопрос личного, индивидуального опыта.)

¹⁵⁰ В противном случае наше восприятие могло бы быть признано результатом массового гипноза.

¹⁵¹ Ср. в воспоминаниях Короленко: «Голова у меня в детстве была большая, и при падении я часто стучался ею об пол. Один раз это было на лестнице. Мне было очень больно, и я громко плакал, пока отец не утешил меня особым приемом. Он побил палкой ступеньку лестницы, и это доставило мне удовлетворение. Вероятно, я был тогда в периоде фетишизма и предполагал в деревянной доске злую волю. И вот ее бьют за меня, а она не может уйти... Разумеется, эти слова очень грубо переводят тогдашние мои ощущения, но доску и как будто выражение ее покорности под ударами вспоминаю ясно. Впоследствии то же ощущение повторилось в более сложном виде. Я был уже несколько больше. (...) Мне было страшно, — вероятно, днем рассказывали о ворах. Мне показалось, что наш двор при лунном свете очень странный и что в открытую дверь со двора непременно войдет „вор“. Я как будто знал, что вор — человек, но вместе он представлялся мне и не совсем человеком, а каким-то человекообразным таинственным существом, которое сделает мне зло уже одним своим внезапным появлением. От этого я вдруг громко заплакал. Не знаю уж по какой логике, — но лакей Гандыло опять принес отцовскую палку и вывел меня на крыльцо, где я, — быть может, по связи с прежним эпизодом такого же рода, — стал крепко бить ступеньку лестницы. И на этот раз это опять доставило удовлетворение; трусость моя прошла настолько, что еще раза два я бесстрашно выходил наружу уже один, без Гандыла, и опять колотил на лестнице воображаемого вора (...). На следующее утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не было, к нам приходил вор, которого мы с Гандылом крепко побили. Мать снисходительно поддакивала. Я знал, что никакого вора не было и что мать это знает. Но я очень любил мать в эту минуту за то, что она мне не противоречит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображаемого существа, которого я сначала боялся, а потом положительно „чувствовал“ при странном лунном сиянии, между моей палкой и ступенькой лестницы» («История моего современника», кн. I, ч. I, гл. I — Короленко, V, с. 10–11). Если в первом эпизоде ребенок, по-видимому, не делает различия между одушевленными и неодушевленными предметами, то во втором эпизоде он уже отдает себе отчет в таком различии и ему кажется, что он бьет не доску, а вора.

По словам Владимирского-Буданова (1915, с. 307–308), «У древних и германских народов находим множество случаев суда и наказания животных и неодушевленных предметов за вред, нанесенный человеку». «У славянских народов, — замечает Владимирский-Буданов, — не встречается вовсе подобных случаев». Это последнее замечание представляет-

ся не вполне точным: наказание животных имело место в Полице (Греков, 1951, с. 186, ср. с. 249–251).

¹⁵² Ср.: «Все человеческое познание возникает из процесса *взаимодействия*, в котором человек как вполне *реальная* и *активная* живая система и как познающий *субъект* сталкивается с фактами столь же реального внешнего мира, составляющего *объект* его познания» (Lorenz, 1977, с. 11, ср. с. 12–14 [Лоренц, 1998, с. 244, ср. с. 245–246]). Таким образом, основная предпосылка познания состоит в том, что познающий субъект и познаваемый объект в одном и том же смысле реальны.

¹⁵³ Эту фразу невозможно передать по-русски, но можно передать по-церковнославянски: «Азь есть [не „есмь“!] другій». Ср. в письме Рембо к Полю Демени (Paul Demeny) от 15 мая 1871 г.: «Car Je est un autre. (...) Cela m'est évident: j'assiste à l'éclosion de ma pensée: je la regarde, je l'écoute ...» («Ибо Я другой. (...) Это для меня очевидно: я присутствую при рождении моей мысли, я ее вижу, я ее слышу ...» — Rimbaud, 1946, с. 254; Rimbaud, 1975, с. 135).

¹⁵⁴ Radhakrishnan, 1953, с. 458, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 467; ср.: Сыркин, 1965, с. 114, 115, 116, 117, 118. А. Я. Сыркин переводит данную фразу как «Ты одно с Тем» (ср. с. 218).

¹⁵⁵ Сыркин, 1965, с. 218.

¹⁵⁶ Holl, I, с. 278 (этот пассаж цитирует Епифаний Кипрский в своем «Панарии», XXVI, 3, 1). См. комментарий: Puech, 1959, с. 166–167; Puech, 1963, с. 241–242).

Ср. перевод М. К. Трофимовой: «Я — ты, и ты — я; где бы ты ни был, я там; рассеян во всех я; и в чем ни пожелаешь, ты собираешь меня; но когда ты меня собираешь, ты собираешь себя самого» (Трофимова, 1993, с. 175). Приведем также немецкий и английский переводы: «Ich bin du und du bist ich, und wo du auch bist, da bin ich und bin in allem gesät; und woher du auch willst, sammelst du mich, wenn du mich aber sammelst, sammelst du dich selbst» (Puech, 1959, с. 166); «I am thou and thou art I, and wherever thou art, there am I, and I am scattered through all things. And whencesoever thou wilt thou gatherest me together, and gathering me together thou gatherest together thyself» (Puech, 1973, с. 77, примеч. 65; ср.: Puech, 1963, с. 241). Формула $\epsilon\gamma\omega\ \sigma\upsilon\ \kappa\alpha\iota\ \sigma\upsilon\ \epsilon\gamma\omega$ часто встречается в гностицистических, герметических, магических или алхимических текстах (Puech, 1959, с. 167).

¹⁵⁷ Ср.: «Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как *субъект*, ибо только язык придает реальность, *свою* реальность, которая есть свойство „быть“, — понятию „Ego“» (Benveniste, 1966, с. 259 [Бенвенист, 1974, с. 293]).

«Открытие собственного Я — начало рефлексии — должно было быть потрясающим моментом в истории человеческого мышления», —

писал Лоренц; «Весьма вероятно, что в загадочном процессе становления человека решающую роль сыграл тот момент, когда существо, любознательно исследовавшее окружающий мир, увидело вдруг в поле своего исследования самого себя» (Lorenz, 1977, с. 28 [Лоренц, 1998, с. 256]; Lorenz, 1973, с. 35 [Лоренц, 1998а, с. 18]). Можно предположить, что это открытие ознаменовалось появлением местоимений; в свою очередь наличие в языке местоимений является, в сущности, предпосылкой рефлексии человека о себе самом.

¹⁵⁸ Ср.: «Быть *я* и произносить *я* суть одно» (Ich sein und Ich sprechen sind eins — Buber, 1966, с. 10 [Бубер, 1993, с. 7]).

¹⁵⁹ Ср.: «Осознание себя возможно только в противопоставлении. Я могу употребить *я* только при обращении к кому-то, кто в моем обращении предстанет как *ты*. Подобное диалогическое условие и определяет *лицо*, ибо оно предполагает такой обратимый процесс, когда я становлюсь *ты* в речи кого-то, кто в свою очередь обозначает себя как *я*. (...) Язык возможен только потому, что каждый говорящий представляет себя в качестве *субъекта*, указывающего на самого себя как на *я* в своей речи. В силу этого *я* конституирует другое лицо, которое, будучи абсолютно внешним по отношению к моему „я“, становится моим эхо, которому я говорю *ты* и которое мне говорит *ты*» (Benveniste, 1966, с. 260 [Бенвенист, 1974, с. 294]). Или еще: «В некоторых отношениях человек напоминает товар. Так как он рождается без зеркала в руках и не в качестве фихтеанского философа: „Я есмь я“, то человек сначала смотрится, как в зеркало, только в другого человека. Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку. Вместе с тем и Павел как таковой, во всей его павловской телесности, становится для него формой проявления рода „человек“» (Маркс, 1936, с. 17, примеч. 19; гл. I, § 3). Маркс имеет в виду Иоганна Готлиба Фихте, центральным моментом учения которого было понятие «Я», полагающего как себя, так и свою противоположность («не-Я»); известно, что он отмечал не день рождения своего сына, а тот день, когда тот впервые назвал себя «я» (см.: Jespersen, 1922, с. 123).

¹⁶⁰ Radhakrishnan, 1953, с. 163.

¹⁶¹ Сыркин, 1964, с. 73. Комментируя этот текст, переводчик (А. Я. Сыркин) поясняет: «... Слово Атман (...) оставлено нами без перевода. Слово это (...) употребляется в Упанишадах в значении ‘тело’ (...), как местоимение „я“, „себя“ и, наконец, чаще всего — для обозначения субъективного психического начала индивидуального бытия (...). Атман как субъективное начало является в Упанишадах коррелятом объективной первичной реальности ...». Слово *пуруша* (букв. ‘человек’, ‘мужчина’) означает «первичное существо, из которого творится вселенная» (там же, с. 168–169). В соответствии с этим комментарием первую фразу можно

было бы перевести: «Вначале [все] это было лишь „я“ в виде человека» или «Вначале [все] это было лишь субъектом в виде человека».

В переводе А. Я. Сыркина дважды встречается фраза «Я есмь», что не соответствует исходному (санскритскому) тексту, где в соответствующих местах представлены разные фразы: «so'ham asmītu» (т. е. 'это я есмь', где глагол *быть* употреблен без предикативного члена, означая существование как таковое) и «aham ayaṁ itū» (буквально 'я — этот', где глагол *быть* подразумевается, связывая при этом местоимение я с предикативным членом). Перевод С. Радхакришнана представляется в данном случае более точным.

¹⁶² Ср.: «... Бог обращается (...) к каждому из нас как бы (...) с приветствием: „Познай самого себя“ (γνῶθι σαυτόν) [имеется в виду надпись на дельфийском храме], что имеет смысл не меньший, чем „Здравствуй“ (χαῖρε). А мы, со своей стороны, в ответ богу говорим: „Ты еси“ (εἶ), обращаясь к нему с единственно правдивым и истинным приветствием, подходящим только ему одному, утверждая, что он существует» (“О е в Дельфах”, § 17, 20, 21 — Plutarch, V, с. 238–239, 244–245, 248–249 [Плутарх, 1996, с. 90, ср. с. 92, 94]). О надписи на дельфийском храме («Познай самого себя») говорит Платон (в “Хармиде”, 165а, и в “Федре”, 229е — см.: Платон, 1986, с. 311; Платон, II, с. 160), к которому и восходят, может быть, сведения Плутарха.

¹⁶³ Отсылка к 1-му лицу в этом контексте одновременно выражает «code referring to message» (что присуще местоимениям) и «code referring to code» (что присуще именам собственным) — ‘код, направленный на код’ и ‘код, направленный на сообщение’ (Jakobson, 1957/1971, с. 130–133 [Якобсон, 1972, с. 95–98]).

¹⁶⁴ Jakobson, 1957/1971, с. 132–133 [Якобсон, 1972, с. 95–98]. Ср. в этой связи детские надписи, такие как *Здесь был я* и т. п.

¹⁶⁵ «Since thou art I, come in, O myself: there is not room in the house for two I's. (...) Come in, O thou who art entirely myself ...» (Rumi, I, с. 167–168).

¹⁶⁶ См. комментарий в изд.: Rumi, VII, с. 186. Ср. у Плавта (“Стихус”, V, 4), где один друг говорит другому: «Я — ты, а ты — я, мы — одна душа ...» (ego tu sum, tu es ego, unanimi sumus ... — Plautus, V, с. 86).

М. Бубер приводит хасидский рассказ (восходящий к VII в.), где описывается аналогичная ситуация: человек стучит в окно к другу и на вопрос «Кто там?» отвечает: «Я». Дверь не открывается, он продолжает стучать, и тогда слышится голос: «Кто это дерзает называть себя „я“, что приличествует одному лишь Богу?» (Buber, 1949, с. 326–327; из цикла “Ahron von Karlin”). В основе этого рассказа лежит, конечно, имя Бога, которое Бог открывает Моисею в Книге Исход («Я есмь тот, кто есмь»).

Таким образом, и в этом случае местоимение *я* трактуется как имя собственное.

¹⁶⁷ Согласно древнеиндийским грамматикам, если слово представлено в форме существительного (например, *дерево*), то при этом предполагается глагол *быть*, т. е. за отдельным словом стоит суждение (например: «это есть дерево») (см.: Alackapally, 2002, с. 234).

¹⁶⁸ Э. Бенвенист описывает, как в языках, где связка выражается глаголом, обозначающим существование, «то, что было не чем иным, как грамматической связью, получает лексическое подкрепление, и „être“ [имеется в виду глагольная связка, соответствующая франц. *être*] становится лексемой, способной и выражать существование, и утверждать тождество» (on aboutit (...) à donner un support lexical à ce qui n'était qu'un relation grammaticale, et «être» devient un lexème, susceptible aussi bien d'énoncer l'existence que d'asserter l'identité — Benveniste, 1966, с. 193 [ср.: Бенвенист, 1974, с. 209]; исправляем русский перевод, не вполне точный в данном месте).

Связь существования и тождества отразилась, по-видимому, в этимологии польского *istnienie* 'existendi natura, ipsum esse', зарегистрированного уже в XV в. (Sł. staropolsk., III, с. 43; ср. более поздние глаголы *istnać ~ istnieć* 'существовать'), которое восходит к слав. *istъ* 'тот же самый', ср. лат. *iste* 'этот, тот' (ср. в этой связи этимологию слов *истый, истина, истец* и т. п.: Фасмер, II, с. 144; Успенский, 2010, с. 225).

¹⁶⁹ Ср. в Вульгаре: «Sit autem sermo voster, est, est: non, non: quod autem his abundantius est, a malo est» (Мф. V, 37; ср. то же: Иак. V, 12); в этой фразе слово *est* дважды употреблено в значении утвердительной частицы и дважды — в качестве глагольной связки.

Соответственно может объясняться, по-видимому, и итальянское утвердительное слово *eh* (междометие, выражающее согласие), которое пишется таким образом по аналогии с междометиями *ah, oh*, но, вообще говоря, может рассматриваться как форма 3-го лица единственного числа глагола *essere*. Слово *eh* как выражение утверждения или согласия имеет широкое употребление в итальянской разговорной речи; удивительным образом это значение данного слова за редкими исключениями не отражено в словарях итальянского языка (ср., однако: Vocabolario della Crusca, V, с. 74; Petrocchi, I, с. 809; De Mauro, II, с. 801).

¹⁷⁰ Ср. рус. *нет* из *нѣсть ту* (Соболевский, 1907, с. 94) или *не е ту* (Фасмер, III, с. 67). Что касается русского военного *есть* в значении 'слушаюсь', то его возводят обычно к английскому *yes* (Томсон, 1910, с. 347; Ушаков, I, стлб. 839; Фасмер, II, с. 29); если эта этимология верна, то во всяком случае она была поддержана, надо думать, значением глагольной формы *есть*, соответствующей латинскому *est*. Слово *есть*

в данном значении определяется обычно как междометие, но при этом оно открыто для синтаксической связи, допуская сочетание с инфинитивной конструкцией (ср.: *Выполняйте команду! — Есть выполнять команду!*).

В английском языке сочетание местоимения с личными формами глагола *to be* при отсутствии дополняющего этот глагол значимого компонента (*I am, you are, he is* и т. п.) выражает утверждение или согласие. То же значение выражается и личными формами глагола *to do* в нетранзитивном употреблении: обычно этот глагол предполагает наличие дополнения, но при отсутствии такового он выражает утверждение или согласие.

¹⁷¹ Ср. в этой связи русские диалектные конструкции типа *Ребята есть курят, Есть вернулись после плена* и т. п. См.: Шевелева, 1993; Успенский, 1987/2002, с. 249 (§ 8.7.6).

¹⁷² Поучительны в этом смысле рассуждения древнерусских книжников о значении глагола *быти* и о применимости тех или иных временных форм этого глагола для выражения существования Бога (см.: Живов и Успенский, 1986/1997).

¹⁷³ “Исида и Осирис”, § 9 (см.: Plutarch, V, с. 24–25; Плутарх, 1996, с. 11).

¹⁷⁴ Вульгата: «Ego sum α , et ω , principium et finis, dicit Dominus Deus: qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens»; Елизаветинская библия: «Азь есмь алфа и ѱмега, начатокъ и конецъ, глаголетъ Господь, сый, и иже бѣ, и градый, вседержитель».

В словах Христа, воспроизведенных в Апокалипсисе, отразилось самонаименование Бога в Ветхом Завете (Исх. III, 13–14); при этом в греческом и церковнославянском тексте Апокалипсиса нашёл отражение перевод Септуагинты (см. выше, § II-1). Ср. в этой связи слова Христа в Евангелии от Иоанна: «Аще бо не имете вѣры, яко азъ есмь, умрете во грѣсѣхъ вашихъ. Глаголаху убо ему: ты кто еси? И рече имъ Иисусъ: начатокъ, яко и глаголю вамъ» (ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. ἔλεγον σὺν αὐτῷ: σὺ τίς εἶ; εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς: τὴν ἀρχὴν ὁ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν — Ин. VIII, 24–35, ср. VIII, 28, XIII, 19). Христос произносит имя Бога «Аз есмь» (Ἐγώ εἰμι) (см. § II-1), но окружающие понимают эти слова буквально и спрашивают его: «Ты кто еси?». На это Христос называет себя «начатком» (ἀρχή), что прямо соответствует тексту Апокалипсиса. Отсюда ясно, что в основе интересующей нас фразы из Апокалипсиса лежит имя Бога.

¹⁷⁵ Вульгата: «Antequam Abraham fieret, ego sum»; Елизаветинская библия: «Прежде даже Авраамъ не бысть, азъ есмь». Фраза *Я есмь* в этом контексте также соотносится с именем Бога в Ветхом Завете (см. выше, § II-1; ср. в этой связи: Fossum, 1995, с. 127). Мы вернемся к обсуждению этой фразы в *Главе II*, § VIII-3.

¹⁷⁶ Иначе говоря, пространство наполнено предметами, а время — событиями (ср. в этой связи: Успенский, 1988–1989/1996, с. 40–41).

¹⁷⁷ Если в языке есть категория времени, различие между именной синтагмой (которая представляет собой распространение имени) и предикативным высказыванием (которое представляет собой распространение глагола, т. е. является глагольной синтагмой) состоит в том, что именная синтагма никак не соотнесена с временем, выражая содержание вне времени, тогда как высказывание, напротив, выражает содержание во времени. В самом деле, такие фразы, как *Бег лошади* и *Лошадь бежит*, не отличаются по своему содержанию — в том смысле, что представляют один и тот же фрагмент действительности (актуальной или же воображаемой). Разница между ними состоит в том, что последняя фраза выражает время, т. е. соотнесена с моментом коммуникации, тогда как первая фраза, напротив, никак с ним не соотнесена. Для того, чтобы превратить именную синтагму в высказывание (в такого рода языке), необходимо, следовательно, ввести фактор времени, соотнеся предмет речи с моментом высказывания (речевым актом). Это может быть сделано, в частности, с помощью глагольной связки (которая имеет при этом чисто временное значение, не осложненное какой бы то ни было дополнительной семантикой). Ср. архаические конструкции в скандинавских языках типа дат. *din svin* ('ты свинья', букв. 'твоя свинья'), где атрибутивная синтагма с притяжательным местоимением выступает в функции предикативной (см. о таких конструкциях: Svennung, 1958, с. 128–140).

Следует отметить, вместе с тем, что появление глагольной связки — не единственный способ образования высказывания (выражения предикации) на базе именной синтагмы. В ряде языков в соответствующей функции может использоваться местоимение 3-го лица единственного числа (или же указательное местоимение), которое в этом случае вставляется между субъектом и предикатом; таким образом фраза *Ваш бог* — *бог богов* буквально выглядит как *Ваш бог он бог богов*, фраза *Мы — рабы бога и земли* — как *Мы они его рабы бога и земли* и т. п. (см. примеры: Benveniste, 1966, с. 189–191 [Бенвенист, 1974, с. 205–207]). Такого рода фразы можно понять как результат соположения именных синтагм: («ваш бог = он») + («он = бог богов») = («ваш бог = бог богов»); («мы = они») + [(«они = его рабы») + («его = бога и земли») = («они = рабы бога и земли»)] = («мы = рабы бога и земли»); и т. п.

¹⁷⁸ Ср. в этой связи протесты средневековых теологов против изучения грамматики. Они обосновывали это тем, что грамматические преобразования могут порождать ложные идеи: так, например, склонение слова *Бог* во множественном числе порождает идею о многобожии, и т. п. (см.: Успенский, 1988/1996, с. 17, 26–27, примеч. 41, *passim*). Возможность языковых преобразований (и построения с помощью язы-

ка виртуальной реальности) заложена в самом языке и не зависит от изучения грамматики.

¹⁷⁹ Ср. диалог Алисы и Хампти-Дампти у Льюиса Кэрролла в “Алисе в Зазеркалье” (гл. VI): «“... Tell me your name and your business”. — “My name is Alice, but—” — “It’s a stupid name enough!” Humpty Dumpty interrupted impatiently. “What does it mean?” — “Must a name mean something?” Alice asked doubtfully. — “Of course it must”, Humpty Dumpty said with a short laugh: “*my* name means the shape I am — and a good handsome shape it is too. With a name like yours it might be any shape, almost”» (‘... Скажи мне, как тебя зовут и зачем ты сюда пришла’. — ‘Меня зовут Алиса, но...’ — ‘Вот так глупое имя!’ нетерпеливо прервал ее Хампти-Дампти. ‘Что оно значит?’ — ‘Разве имя должно что-то значить?’ спросила Алиса с сомнением. — ‘Конечно, должно’, сказал Хампти-Дампти, усмехнувшись. ‘Мое имя означает образ, который и есть я — и это замечательный, красивый образ. А с таким именем, как у тебя, это может быть почти любой образ’» — Carroll, 1939, с. 192; Carroll, 1970, с. 263). Для Хампти-Дампти его имя уникально и означает ‘я’, тогда как другие имена могут повторяться, относясь к разным людям.

¹⁸⁰ См.: Лотман и Успенский, 1973/1996, с. 440. Ср. здесь же (с. 435 сл.) о роли собственных имен в формировании мифологического сознания.

¹⁸¹ Jakobson, 1966/1971, с. 310 [Якобсон, 1985, с. 290]; Jakobson, 1980/1985, с. 136 [Якобсон, 1996а, с. 83]. — Ю. М. Лотман рассказывал мне о своей родственнице, которая преподавала в школе для умственно отсталых детей. Ее любимая ученица, читая стихотворение Некрасова “Крестьянские дети”, сопровождала местоимения жестами, при этом, произнося местоимение *ты*, она указывала на себя, а произнося местоимение *я*, — на собеседника: «Уж больно *ты* [указание на себя] грозен, как *я* [указание на собеседника] погляжу».

¹⁸² Jakobson, 1941/1962; Jakobson, 1949/1962, с. 321 [Якобсон, 1972а, с. 251]; Jakobson, 1955/1971, с. 232; Jakobson, 1963/1971, с. 581.

¹⁸³ Jakobson, 1957/1971, с. 133 [Якобсон, 1972, с. 98–99]. — Есперсен приводит характерные примеры употребления в детской речи местоимения 1-го лица в функции местоимения 2-го лица (*Will I tell a story* вместо *Will you tell a story*) или, наоборот, местоимения 2-го лица в функции местоимения 1-го лица (*That’s your chair* вместо *That’s my chair*), см.: Jespersen, 1922, с. 124. Ср. еще примеры такого рода: Chiat, 1986, с. 388.

Употреблению местоимения 2-го лица в функции 1-го лица в детской речи соответствует употребление глагольных форм, когда ребенок, говоря о себе, повторяет те же формы глагола, которые употребляют по отношению к нему взрослые. Таким образом он может употреблять фор-

мы как императива (например: *Беги* [вместо *Бегу*], *Снимай* [вместо *Снимаю*] и т. п.), так и изъявительного наклонения (например: *Ты поедешь со мной?* — *Поедешь* [вместо *Поеду*]); см.: Цейтлин, 2009, с. 239, 245.

Равным образом ребенок может употреблять по отношению к себе звательную форму имени (в языках, где есть особая звательная форма).

В болгарском языке при разговоре старшего с младшим — например, родителей с детьми или стариков с молодыми людьми — могут называть сначала имя собеседника (в звательной форме), а затем свое имя (также в звательной форме!), ср.: *Цвете* [зват.] *маме* [зват.] *беше много хубаво* (букв. ‘Цвета, мама, было очень хорошо’, т. е.: ‘Я, мама, говорю тебе, Цвета: было очень хорошо’), *Цвете* [зват.] *ела тук маме* [зват.] (букв. ‘Цвета, иди сюда, мама’, т. е.: ‘Я, мама, говорю тебе, Цвета: иди сюда’), и т. п. (Звательная форма может оканчиваться также и на *-о*, т. е. те же фразы могут иметь *Цвето, мамо*; равным образом слово ‘мама’ может быть в исходной номинативной форме: *мама*.) Здесь отражается, можно думать, ранняя стадия процесса освоения языка, когда ребенок повторяет свое имя, произнесенное матерью, а мать повторяет слово ‘мама’, произнесенное ребенком, после чего переходит к построению всей фразы. Такого рода явление довольно широко представлено в самых разных языках мира, хотя и не во всех этих языках оно отражается в употреблении звательной формы (см.: Braun, 1988, с. 12, 265–296; Svennung, 1958, с. 424–433; специально о болгарском языке см.: Василева, 1973; Knobloch, 1977; Beyrer & Kostov, 1978); его называют обычно «address inversion» (нем. «umgekehrte Anrede», итал. «allocuzione inversa»). Сущность этого явления состоит в имитации речи собеседника (адресата), которая инкорпорируется в порождаемую фразу: наименование собеседника говорящим объединяется с наименованием самого говорящего собеседником.

¹⁸⁴ Как отмечает Р. О. Якобсон, «эта установка может укорениться в качестве инфантильного пережитка. Так, Ги де Мопассан признавался, что его имя, произносимое им самим, звучало для него как-то странно» (Jakobson, 1957/1971, с. 133 [Якобсон, 1972, с. 98]). Ср. еще о восприятии своего имени Глебом Успенским: Jakobson, 1956/1971, с. 257 [Якобсон, 1996, с. 50].

Отождествление себя со своим именем прослеживается в архаических культурах. Табуистические запреты произносить собственное имя сопоставимы с запретами смотреть на себя в зеркало; в обоих случаях возникает своеобразный эффект двойничества: имя вообще служит не для самоназывания, а для обращения, и произнесение своего имени оказывается аналогичным созданию своего двойника. У нганасанов, например, «сам человек не может называть свое имя, а на вопрос, как его зовут, отвечает „Не знаю“». Не могут произносить своего имени и младшие по возрасту. Это право имеют только старшие. Некоторые из нганасан, общающиеся с русскими, чтобы не называть свое имя, что приходится делать

часто, например, при выдаче разных расписок, присваивают себе второе имя, производящее которое не считается грехом» (Попов, 1984, с. 39; ср.: Зеленин, II, с. 124).

¹⁸⁵ В Италии мать может обращаться таким образом даже ко взрослым детям. В самых разных странах после рождения ребенка его родители (муж и жена) начинают называть друг друга *отец* и *мать*, заменяя этими словами собственные имена (Зеленин, II, с. 130, 140; Svennung, 1958, с. 159). Таким образом они исходят из перспективы ребенка (принимают его точку зрения), независимо от того, присутствует ли он при их общении.

Ср.: «Ребенок слышит, как слово „я“ обозначает отца, затем мать, затем дядю Питера, и так далее до бесконечности — самым путаным образом. Многие осознают те трудности, с которыми сталкивается при этом ребенок, и для того, чтобы избежать их, говорят о себе как об „отце“ или „бабушке“ и, обращаясь к ребенку, вместо того чтобы сказать „ты“, называют его по имени» (Jespersen, 1922, с. 123).

¹⁸⁶ Так, например, в итальянском языке мать может сказать ребенку *La mamma sua gli regala un gelato* 'Его мать [= я] подарит ему [тебе] мороженое' (Svennung, 1958, с. 158), где выражение *la mamma sua* относится к говорящему (т. е. к самой матери), а местоимение *gli* — к слушающему (т. е. к ребенку). Ср. формально аналогичные английские диалектные примеры (из графства Суффолк), которые мы цитировали выше (в § III-3). См. еще примеры (из разных европейских языков): Svennung, 1958, с. 144–145, 154–159.

¹⁸⁷ Fillmore, 1975, с. 38–39, со ссылкой на устное сообщение Г. Кларка (Herbert H. Clark).

¹⁸⁸ Заметим, что нечто подобное может наблюдаться и у взрослых, которые, разговаривая по телефону, могут сопровождать свою речь жестами. Вместе с тем для жестов не столь характерна дейктическая функция (см. выше, примеч. 136); кроме того, жесты, в отличие от местоимений, могут передавать эмоциональное состояние говорящего, не будучи непосредственно направлены на коммуникацию.

¹⁸⁹ Открытие перформативных глаголов принято приписывать Дж. Остину (Austin, 1962), однако задолго до этого о них писал Э. Кошмидер, который называл перформативность «коинцидентией». Ср.: «Если, например, высказывание *pisze* 'я пишу' ни при каких обстоятельствах не есть сам акт писания, являясь лишь сообщением об этом акте, то высказывание *proszę* 'я прошу' может быть как раз той просьбой, о которой это высказывание говорит, и именно этот случай мы и называем коинцидентией. Очевидно, речь идет здесь только о глаголах говорения (в широком смысле) и только о первом лице, т. к. произнесение слов говорящего, естественно, не может быть действием кого-то другого» (Koschmieder, 1934, гл. III, разд. «W», § IV, ср.: Кошмидер, 1962, с. 163).

Глава II
Коммуникация и понимание:
Отношение понимания к порождению речи

Un même sens change selon les paroles qui
l'expriment. Les sens reçoivent des paroles
leur dignité, au lieu de la leur donner.

Pascal

*I. Предварительные замечания:
общие предпосылки языковой коммуникации*

1. Языковая коммуникация с необходимостью предполагает наличие следующих компонентов:

I. *Адресант*, т. е. отправитель сообщения.

II. *Сообщение*, которое предстает в виде текста, т. е. последовательности языковых знаков. Языковыми знаками могут быть признаны слова, представленные в той или иной форме (иначе говоря, словоформы). Как форма слова, так и сочетание словоформ определяется грамматикой языка (выбор словоформы определяется парадигматикой языка, возможные комбинации словоформ — его синтагматикой).

Слово является инвариантом по отношению к своим словоформам (подобно тому, как фонема является инвариантом по отношению к своим звуковым реализациям — аллофонам). Заметим, что понятие инварианта относится к компетенции языка, а не речи.

III. *Текст*, в котором закодировано сообщение. Текст может рассматриваться как сложный знак, образуемый в речи сочетанием разного рода языковых знаков; в свою очередь, сообщение может рассматриваться как обозначаемое (сигнификат) или

содержание текста. В минимальном случае текст может быть представлен всего лишь одним языковым знаком.

Текст представляет собой явление речи, а не языка, и таким образом в этом случае мы должны говорить о речевом, а не о языковом знаке. Иначе говоря, знак образуется в данном случае именно в речи, не относясь к сфере языка; между тем слова (представленные в той или иной форме) являются тем языковым материалом, из которого строится речь. Если текст состоит всего лишь из одного слова, речевой знак совпадает с языковым. В случае идиоматического сочетания (фразеологического оборота) определенная последовательность языковых знаков (т. е. некоторый текст) может рассматриваться как явление языка, а не речи, т. е. как языковой знак: в самом деле, идиоматическое сочетание функционирует как элемент языка, т. е. по своей функции оказывается аналогичным слову.

В отношении языкового знака может различаться значение и денотат; применительно же к тексту целесообразно говорить не о значении, а о смысле — отличая его при этом от денотата, т. е. объекта референции. При этом мы можем говорить о смысле как текста в целом, так и некоторой вычленяемой из него части; например, мы можем говорить о смысле слова, если оно рассматривается не как явление языка, а как явление текста.

При таком понимании смысл существует для слушающего (адресата), но не для говорящего (адресанта). В самом деле, смысл — это явление текста, уже порожденного говорящим, и он определяется в процессе восприятия текста. Что же касается говорящего, то смысл существует для него лишь постольку, поскольку он способен остраненно воспринимать созданный им текст — и в этом случае он оказывается в роли слушающего.

Таким образом, термины *значение* и *смысл* предстают как соотносимые понятия, но значение относится к языку (представляет собой явление языка), а смысл — к речи (представляет собой явление речи): значения заданы в языке, между тем смысл строится (образуется) в тексте. Если денотатом языкового знака является некоторое явление (объект, действие или состояние), то денотатом текста оказывается некоторая обозначаемая им ситуация, т. е. фрагмент действительности — актуальной или

мыслимой, реальной или же представленной в нашем воображении. Актуальная ситуация всегда конкретна (что выражается в ее соотношенности с пространственно-временными координатами), между тем как мыслимая ситуация может быть как конкретной, так и абстрактной (в последнем случае она мыслится вне пространства и времени)¹.

Итак, триаде «слово — значение — явление» соответствует триада «текст — смысл — ситуация». Денотат языкового знака (слова) может рассматриваться как актуализация значения, денотат речевого знака (ситуация) — как актуализация смысла. Между тем сообщение (обозначаемое текста, его содержание) — это общее понятие, объединяющее смысл и ситуацию.

IV. *Адресат*, т. е. получатель сообщения. Он может быть не представлен в актуальной действительности, однако он всегда так или иначе предполагается, т. е. имплицирован в самом процессе коммуникации. В случае его отсутствия мы имеем в виду потенциального адресата (*implied addressee*).

Адресат может совпадать с адресантом — это случай автокоммуникации. Экспрессивная (*emotive*) функция языка, которая проявляется в тех случаях, когда речь ориентирована на самого говорящего (адресанта, отправителя сообщения)², в принципе может рассматриваться именно как продукт автокоммуникации.

V. *Язык*, т. е. механизм порождения текста: при помощи языка сообщение закодировано в тексте. В обычной ситуации он объединяет отправителя и получателя сообщения, т. е. является общим для адресата и адресанта. В противном случае предполагается перевод с одного языка на другой.

Перевод может рассматриваться как специфическая разновидность коммуникации. В ситуации перевода адресант порождает текст, тогда как адресат создает адекватный (с его точки зрения) текст на другом языке. Предполагается, что эти тексты имеют один и тот же смысл (такова исходная посылка, которая, вообще говоря, может не реализоваться на практике). Итак, при переводе тексты признаются тождественными (по своему смыслу), а языки — разными. Соответственно, переводческая деятель-

ность противостоит обычному диалогическому дискурсу, когда говорящие говорят на одном языке, но при этом порождают разные по смыслу тексты.

2. Таковы необходимые и достаточные условия языковой коммуникации. В процессе коммуникации адресант отправляет сообщение, порождая некоторый текст, и адресат понимает этот текст, т. е. получает сообщение. Это означает, что он воспринимает смысл текста: слова *понимать* и *осмыслить* предстают как синонимы. Текст оказывается, тем самым, связующим звеном между адресантом и адресатом.

II. Смысл и перевод

1. Итак, понимание — это восприятие смысла, выраженного в тексте. В случае адекватного понимания смысл, воспринятый адресатом, должен быть тождественным исходному смыслу данного текста (тому, как воспринимает этот текст адресант, если он остранично представляет себя в роли адресата, т. е. в случае автокоммуникации). Адекватное понимание предполагает координацию опыта между участниками коммуникации (см. *Глава I, § I-2*).

Если имеет место адекватное понимание, смысл предстает как информация, инвариантная в коммуникационном процессе. В частности, смысл может определяться тогда как инвариант при операциях перевода с одного языка на другой. Вообще при таком подходе смысл — это то, что можно выразить разным образом (как на разных языках, так и на одном и том же языке). Совершенно так же мы могли бы определить действительность как то, что можно описать разными способами.

По словам Якобсона, «равнозначные высказывания на двух языках, но прежде всего и главным образом — интерпретация понятий посредством эквивалентных выражений, как раз и являются тем, что лингвисты называют „значением [meaning]“»³; в наших терминах следовало бы говорить в данном случае не о значении, а о смысле. Смысл и перевод предстают,

таким образом, как взаимоопределяемые понятия: смысл определяется через перевод, перевод — через смысл.

На практике, однако, любой перевод необратим (*irreversible*), так же как необратима, вообще говоря, и любая внутриязыковая трансформация. Хорошо известно, что если один человек переведет текст с языка *A* на язык *B*, скажем, с английского на русский, а затем другой человек переведет полученный русский текст обратно на английский, то он с большой вероятностью получит новый английский текст, не совпадающий с исходным: обратный перевод в принципе не позволяет восстановить исходный текст. Это настолько обычный случай, что совпадение текста, восстановленного с помощью обратного перевода, с исходным текстом должно расцениваться как случайность⁴.

Перевод представляет собой особую разновидность коммуникации (см. выше, § I-1), и невозможность обратного перевода отчетливо демонстрирует принципиальную неадекватность коммуникации такого рода. Мы вправе думать, что такая же неадекватность в принципе характеризует вообще языковую коммуникацию, не будучи специфична для перевода. Действительно, смысл образуется в тексте; тем самым любое преобразование текста в принципе оказывается небезразличным по отношению к смыслу: следует ожидать, что оно так или иначе должно отражаться на смысле⁵. Если считать, что понимание в принципе аналогично переводу с языка на язык или внутриязыковой трансформации (см. выше), то необходимо признать, что понимание преобразует смысл, т. е. привносит некоторую новую информацию (по сравнению с исходным смыслом, выраженным в тексте, т. е. тем смыслом, который данный текст имеет для его создателя). Можно сказать тогда, что понимание имеет смыслообразующий характер. Естественно полагать, таким образом, что всякое понимание в какой-то мере неадекватно — при том, что оно может быть вполне достаточным для тех задач, которые ставят перед собой коммуниканты.

2. Смысл, в отличие от значения, не существует вне текста или отдельно от текста (см. § I-1). Важно отметить при этом,

что тождественность смысла, предполагаемая при адекватном понимании, оценивается самими коммуникантами. Иными словами, смысл не существует независимо от акта коммуникации (как это имеет место в случае значения) и предполагает своего рода консенсус между участниками коммуникации. При диалогическом общении, когда имеет место поочередная смена ролей между адресантом и адресатом, этот консенсус, как правило, достигается именно в процессе коммуникации.

Поскольку смысл не существует вне текста, он определяется в процессе восприятия: можно сказать, что смысл выражается в тексте (имманентно в нем присутствует) и проявляется (эксплицируется) при его восприятии. Вместе с тем мы можем говорить о смысловом задании, которое определяет порождение текста; смысловое задание соответствует тому, что мы выше определяли как исходный смысл текста (см. § II-1).

Итак, наличие консенсуса является необходимым условием адекватного — с точки зрения самих участников коммуникационного процесса! — понимания. Можно говорить в этом случае об общем контексте, объединяющем адресанта и адресата; подробнее о понятии контекста будет сказано ниже (см. § V-3).

III. Языковая коммуникация как эвристический процесс

1. В самом деле: как осуществляется речевое общение? Каков обычный процесс диалога?

Я говорю нечто моему собеседнику исходя из ситуации, которая известна мне, но не обязательно известна ему. Я отправляюсь от содержания, которое я хочу выразить, и порождаю текст. Мой собеседник, в свою очередь, получает текст и извлекает из него содержание, которое не обязательно совпадает с исходным (т. е. может отличаться от того сообщения, которое я вложил в свой текст). (Иначе говоря: мой собеседник извлекает из текста смысл, отличающийся от того смысла, который этот текст имеет с моей точки зрения.) Если это несовпадение не препятствует нашему общению, мы не обращаем на него внимания

(не замечаем его) и продолжаем наш диалог. В противном случае я возвращаюсь назад и выражаюсь иначе, приспособляясь к моему собеседнику. Таким образом в процессе коммуникации имеет место взаимная адаптация партнеров (участников общения). В итоге достигается общий контекст — один и тот же для участников коммуникации.

Процесс языковой коммуникации при диалогическом общении в принципе предстает, таким образом, как эвристический процесс (предполагающий рекурсивные ходы). Совершенно иначе обстоит дело в том случае, когда один человек посылает сигнал другому. Сигнальная коммуникация имеет односторонний характер, т. е. в принципе не предусматривает возможности диалога (обмен сигналами, строго говоря, диалогом не является)⁶. Сигнал по самой своей функции призван исключить возможность разной интерпретации: он предполагает непосредственную реакцию со стороны адресата, которая не является пониманием в собственном смысле: здесь не имеет места координация опыта между возможными участниками коммуникации (необходимая для адекватного понимания) и вытекающая отсюда концептуализация действительности.

Сигналы, в отличие от языковых знаков, не служат для обмена информацией и, тем самым, не рассчитаны на диалог. Соответственно, здесь не может иметь место мена ролей между участниками коммуникации, которая лежит в основе дейксиса (см. *Глава I, § II-2*). Вместе с тем сигналы не имеют значения в семиотическом понимании этого термина: они относятся непосредственно к денотату, однако здесь нет референции к системе понятий, которая определяет значение языкового знака (в этом плане сигналы аналогичны собственным именам, поскольку последние также не имеют значения, см. *Глава I, § II-2*). Значения языковых знаков взаимосвязаны в языке таким образом, что общая совокупность значений моделирует наше восприятие мира, наше представление о реальности (см. *Глава I, § I-1*); напротив, денотаты предстают как изолированные феномены, никак друг с другом не связанные.

Язык строится как система ассоциаций и противопоставлений, и таким образом явления (поскольку они отражаются в языке) предстают как взаимосвязанные: каждое явление может быть определено через другое (подобно тому, как каждое слово в тол-

ковом словаре может быть определено при помощи других слов). Таким образом язык моделирует мир, для описания которого он предназначен: в частности, он позволяет описать не только актуальные, но и потенциально возможные явления — потенциально возможные в рамках данного языка⁷.

Когда мы произносим слово, относящееся к некоторому фрагменту реальности, мы определяем отношение данного феномена к другим возможным феноменам (с которыми он так или иначе соотносится: с которыми он ассоциируется или же которым он противопоставлен), т. е. определяем его место в общей картине мироздания — что, в сущности, и составляет значение слова. Когда мы произносим, например, слово *стол*, имея в виду при этом некоторый конкретный объект, мы не только называем его (что соответствует простому указанию на этот объект), но одновременно определяем его отношение ко всем другим мыслимым объектам: мы характеризуем данный объект как представителя некоторого открытого класса объектов, объединенных общими свойствами и противопоставленных другим объектам, — что предполагает целую сеть относительных характеристик (отождествлений и оппозиций). При этом в процессе речи актуализируются какие-то связи между обозначаемыми явлениями, тогда как другие связи, потенциально присутствующие в нашем сознании (заданные нашим языком), напротив, нейтрализуются.

Вообще описание мира, заложенное в нашем языке, не задано как фиксированная система отношений, оно достаточно свободно. Семантические границы между словами заранее не определены, и, соответственно, называя слово, мы не исходим из некоторой заранее установленной и четко определенной системы отношений; напротив, мы ее каждый раз задаем (воссоздаем) заново. Так, говоря о том или ином предмете, мы можем акцентировать определенный признак, тогда как другие признаки нейтрализуются в нашем сознании (не являются актуальными)⁸. Таким образом, когда мы говорим, мы говорим о мире вообще — но при этом каждый раз заново моделируем мир (с актуальной для нас — в данный момент, в момент речи — точки зрения, в интересующей нас — *hic et nunc* — перспективе).

Итак, при произнесении слова *стол* мы имеем в виду не только некоторый стол, взятый сам по себе, но одновременно также и концепт стола (идею бытия столом — «столовости») — нечто, что заставляет нас ассоциировать (в рамках данного языка) все возможные столы, отличая их от других объектов. Напротив, сигналы, как и другие знаки, не имеющие значения (например, име-

на собственные), обозначают конкретный и изолированный фрагмент действительности — безотносительно к другим явлениям. В случае сигнала денотатом является некоторая специфическая ситуация (например, ситуация опасности, и т. п.), причем набор ситуаций, которые могут быть обозначены сигналами, ограничен⁹.

2. Языковая коммуникация при диалогическом общении принципиально отличается от сигнальной. Как было сказано, это эвристический процесс, т. е. последовательность рекурсивных шагов. В процессе коммуникации адресант и адресат опытным путем достигают консенсуса. Адресант подбирает слова для выражения своей мысли (того, что он хочет сказать), но если он замечает не вполне адекватную реакцию адресата, он возвращается назад и предлагает другие слова, чтобы уточнить свою позицию, т. е. выражает свою мысль другим образом.

Адресат, в свою очередь, каким-то образом понимает слова своего собеседника и формулирует предварительную гипотезу относительно содержания текста; затем в процессе коммуникации также и он может отступить назад, преобразуя свое понимание, приспособлявая его к тому, что он слышит.

Нечто подобное может происходить и в случае восприятия письменного текста. Когда мы начинаем читать, у нас возникает гипотеза относительно содержания текста, однако эта гипотеза имеет предварительный характер, и мы готовы отказаться от нее, чтобы уточнить свое понимание в процессе чтения. Эта готовность уменьшается по мере углубления в текст: она обратно пропорциональна объему прочитанного текста.

Другой особенностью восприятия письменного текста является наличие пробелов (интервалов), отделяющих одно слово от другого и в какой-то мере компенсирующих отсутствие указания на интонацию. Наличие пробелов позволяет воспринимать текст, не читая его последовательно от начала до конца (в европейской культурной традиции — слева направо в пределах строки, при том что сами строки читаются сверху вниз), но более или менее произвольно выхватывать из него какие-то фрагменты и самостоятельно связывать их между собой, угадывая таким образом смысл фразы. Отсюда становится возможным, в частности, беглое чтение текста (то, что иногда называют чтением «по диагонали»). В какой-то мере это сопоставимо с прослушиванием текста в условиях плохой аку-

стической связи, когда те или иные помехи затрудняют его восприятие: мы слышим отдельные слова и связываем их друг с другом¹⁰.

Обсуждая сопоставление функционирования языка с шахматной игрой, предложенное Ф. де Соссюром¹¹, Дж. Гринберг писал: «Есть один момент, не замеченный де Соссюром, где язык не сходен с игрой в шахматы. В шахматной игре мы знаем правила (...). Но язык более похож на игру, в которой мы пытаемся вывести правила в процессе наблюдения за играми»¹². Мы могли бы добавить, что в языковой деятельности, в отличие от игры в шахматы, разрешается брать ходы назад.

IV. Общий контекст, объединяющий адресанта и адресата, как условие понимания

1. Итак, общий контекст, объединяющий адресанта и адресата, предстает как необходимое условие адекватного понимания текста. Очень часто этот контекст не задан заранее и достигается именно в процессе коммуникации.

Однако бывают случаи, когда контекст ясен для участников диалога с самого начала: тогда они способны сразу же адекватно понять друг друга.

Примером может служить сцена объяснения Левина и Кити в “Анне Карениной” Толстого (ч. IV, гл. 13):

«Как же я останусь один... без нее?» — с ужасом подумал он и взял мелок. — Пойдите, — сказал он, садясь к столу. — Я давно хотел спросить у вас одну вещь.

Он глядел ей прямо в ласковые, хотя и испуганные глаза.

— Пожалуйста, спросите.

— Вот, — сказал он и написал начальные буквы: *к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т?* Буквы эти значили: «когда вы мне ответили: *этого не может быть*, значило ли это — никогда, или тогда?» Не было никакой вероятности, чтоб она могла понять эту сложную фразу; но он посмотрел на нее с таким видом, что жизнь его зависит от того, поймет ли она эти слова.

Она взглянула на него серьезно, потом оперла нахмуренный лоб на руку и стала читать. Изредка она взглядывала на него, спрашивая у него взглядом: «То ли это, что я думаю?».

— Я поняла, — сказала она, покраснев.

— Какое это слово? — сказал он, указывая на *н*, которым означалось слово: *никогда*.

— Это слово значит *никогда*, — сказала она, — но это неправда.

Он быстро стер написанное, подал ей мел и встал. Она написала: *т, я, н, м, и, о*.

⟨...⟩.

Он вдруг просиял, он понял. Это значило: «тогда я не могла иначе ответить».

Он взглянул на нее вопросительно, робко.

— Только тогда?

— Да, — отвечала ее улыбка.

— А т... А теперь? — спросил он.

— Ну, так вот прочтите. Я скажу то, чего бы желала. Очень бы желала! — Она написала начальные буквы: *ч, в, м, з, и, н, ч, б*. Это значило: «чтобы вы могли забыть и простить, что было».

Он схватил мел напряженными, дрожащими пальцами и, сломав его, написал начальные буквы следующего: «мне нечего забывать и прощать, я не переставал любить вас».

Она взглянула на него с остановившеюся улыбкой.

— Я поняла, — шепотом сказала она¹³.

Этот пример может показаться искусственным, однако в основе данной сцены лежит реальный, а не вымышленный эпизод: Толстой описывает здесь случай из своей жизни — именно так он объяснялся в любви своей будущей жене¹⁴.

Такого рода ситуация не уникальна. Близкие люди могут настолько хорошо понимать друг друга, что возникает ощущение соучастия в интеллектуальной деятельности: каждый из них как бы читает мысли своего собеседника. Известно, например, что соавторы, работающие в постоянном творческом контакте, часто оказываются не в состоянии определить, кому из них принадлежит та или иная мысль, та или иная формулировка. Случается, что один из них начинает фразу, а другой продолжает ее таким образом, что начавшему фразу кажется, что именно так он и предполагал ее закончить. Есть точные выражения: *понимать с полуслова* (франц. *entendre à demi-mot*), *подхватить мысль* (ср. англ. *to be quick on the uptake*) — они удачно характеризуют эту ситуацию.

В обоих рассмотренных случаях участники диалога сосредоточены на одной теме (в одном случае это тема любви, в другом — тема совместной работы) и они оказываются, так сказать, в общем семантическом пространстве, когда слова имеют для них один и тот же смысл, одни и те же семантические ассоциации и когда они выражают свои мысли и чувства одними и теми же словами.

Вне этой семантической сферы между ними возможно непонимание, которое может устраняться в процессе коммуникации.

Разумеется, такого рода ситуация необычна. Как правило, участники диалога не столь близки друг к другу и их речь не ограничена одной темой, одной семантической доминантой.

Вместе с тем, функционирование языка не сводится к диалогической речи, когда участники речевого общения — адресант и адресат — могут контролировать и соответственно корректировать процесс общения. В ситуации диалога говорящий имеет возможность проверять адекватность понимания, и если он не удовлетворен результатами этой проверки, он может уточнить свои позиции, выбрав иные средства выражения. Это, однако, отнюдь не универсальный случай. Многие тексты — в особенности это относится к культурным текстам, которые рассчитаны не на конкретного, а на абстрактного, потенциального адресата, — не предполагают непосредственную реакцию со стороны адресата.

Исторический процесс также может рассматриваться как своего рода дискурс, однако здесь может не быть коммуникации, предполагающей попеременный обмен ролями между говорящим и слушающим. Если при этом и имеет место диалог, т. е. обмен текстами, то диалог этот может быть как угодно растянут во времени — настолько, что сами участники этого диалога претерпевают существенные изменения. В этих условиях тексты постоянно переосмысляются, и тем самым исторический дискурс представляет собой процесс не столько коммуникационный, сколько смыслообразующий — мы имеем здесь, в сущности, не столько обмен информацией, сколько создание новых смыслов.

Итак, в процессе историко-культурного дискурса одна сторона получает от другой некоторые тексты, но не получает всего

того комплекса ассоциаций, который связан с этими текстами, — иначе говоря, она не получает того контекста, который первоначально определял их понимание. Эти тексты наполняются — в новом культурном контексте — определенным смыслом, который может существенно отличаться от смысла, обусловившего в свое время появление данных текстов.

В дальнейшем это может приводить к культурным конфликтам, когда при обмене информацией стороны пользуются как бы одними словами, но в разном значении¹⁵. Такого рода конфликты типичны вообще для истории; они в большой степени и определяют ход истории, т. е. динамику исторического процесса.

Существенно при этом, что тексты по определению фиксированны, тогда как смысл изменчив; в этих условиях тексты могут читаться — осмысляясь тем или иным образом — много лет спустя после того, как они были созданы¹⁶.

2. Ситуация, когда адресант и адресат принадлежат к одному пространству и времени и находятся в непосредственном контакте, может быть признана типичной для функционирования языка, но не является единственно возможной. Действительно, адресант и адресат могут быть разделены в пространстве или во времени (или же в том и другом). В этом случае понимание текста может в той или иной мере отличаться от намерений адресанта, т. е. смысл, воспринятый адресатом, оказывается отличным от того смысла, который данный текст имеет для самого его создателя, причем у последнего нет решительно никакой возможности контролировать восприятие текста и исправить неадекватное понимание. Мы можем сказать, что адресат создает в этом случае новый смысл для данного текста. Тогда мы имеем один и тот же текст, обладающий двумя разными смыслами (в разных культурных контекстах). Эта ситуация прямо противоположна ситуации перевода, когда, напротив, два разных текста признаются имеющими один и тот же смысл (ср. выше, § I-1).

Нечто подобное может наблюдаться, вообще говоря, и в ситуации диалогической речи: в процессе коммуникации содержание порождает текст, но текст, в свою очередь, может порождать некоторое новое содержание, не вполне адекватное исходному; затем это новое содержание находит выражение в

новом тексте — в ответной реакции адресата; и т. д. и т. п. Ведь значения слов, которыми обмениваются говорящий и слушающий, как правило, аморфны, границы их в принципе размыты, и эти значения конкретизируются в том или ином контексте; однако контекст, из которого исходит говорящий при порождении текста, и контекст, из которого исходит слушающий при понимании этого текста, могут не совпадать — что, естественно, не может не приводить к недоразумениям.

Возможность неадекватного понимания обусловлена прежде всего двумя причинами: 1) эллиптичностью текста и 2) многозначностью составляющих его элементов.

С одной стороны, адресант, как правило, не сообщает всей информации, относящейся к той или иной ситуации, а именно, он не упоминает о том, что ему представляется очевидным, само собой разумеющимся. Адресат, в свою очередь, должен восстановить эту отсутствующую в тексте информацию, и если он не знаком с ситуацией, о которой идет речь, ему приходится восстанавливать недостающую информацию более или менее произвольным образом. Он представляет себе некоторую ситуацию, которая могла бы оправдывать появление данного текста, и эта ситуация может отличаться от той, которая является исходным пунктом для адресанта. В частности, неадекватное понимание может быть обусловлено употреблением дейктических элементов (например, местоимение 3-го лица у адресанта и у адресата может относиться к разным референтам, дейктические слова могут предполагать перспективу говорящего, перспективу слушающего или же перспективу какого-то третьего лица, и т. п.).

С другой же стороны, употребляя те или иные слова, адресант может не отдавать себе отчета в их многозначности. Характерно в этом плане, что для говорящего вообще не существует омонимии; она в принципе может существовать только для слушающего¹⁷.

В процессе диалога осуществляется корректировка смысла — в той степени, в какой она необходима для практических задач коммуникации. Итак, речевая деятельность — это своего рода эвристическая игра, когда в диалогической речи образуется некоторый общий контекст и в рамках этого контекста уточняется, актуализируется значение конкретных слов.

1. Деятельность адресанта и деятельность адресата предстают как диаметрально противоположные процессы.

В самом деле, адресант выражает некоторое содержание, облекая его в форму текста: можно сказать, что адресант кодирует сообщение (содержание) и порождает текст. Таким образом, для адресанта исходным пунктом коммуникационного процесса является содержание, т. е. то, что он хочет выразить словами, — то, что должно быть понято, то, что он хочет сообщить своему собеседнику. Напротив, для адресата исходным пунктом оказывается текст, т. е. форма, а не содержание: если адресант исходит из содержания, которое он оформляет в виде текста, то адресат исходит из текста, который он получает и из которого он должен извлечь содержание.

Вместе с тем, если деятельность адресанта предполагает кодирование сообщения (содержания), то деятельность адресата не предполагает, по-видимому, обратного процесса декодирования.

Поясним это на простом примере.

Носитель русского языка, который имеет дело с английским языком, пользуется двумя типами словарей — русско-английским (он служит для порождения английского текста) и англо-русским (для перевода английского текста). Словарь первого типа необходим для кодирования, словарь второго типа — для декодирования текста.

Можем ли мы думать, что нечто подобное имеется в нашем мозгу, т. е. что туда вложено как кодирующее, так и декодирующее устройство?¹⁸

Полагаем, что нет. Понимание — это не дешифровка сообщения, и мы не обладаем, по-видимому, специальным декодирующим устройством. В нашем распоряжении есть лишь механизмы распознавания фонем и, соответственно, идентификации слов — но это именно механизмы распознавания и идентификации языковой формы, а не механизмы декодирования: сами по себе они не позволяют перейти от формы к содержанию.

Процесс понимания — это активный процесс, в принципе несводимый к опознанию языковых форм: понимание текста осуществляется через его моделирование, которое принципиально отличается от декодирования текста. Это означает, что мы используем в первую очередь механизмы порождения текста и именно они служат для его восприятия¹⁹. Понимание текста не предполагает поэлементный анализ, при котором последовательно подыскивается соответствие каждому языковому знаку, как это должно было бы иметь место при декодировании; не предполагает оно и анализ непосредственно составляющих, когда определяется иерархическая последовательность компонентов текста: текст (по крайней мере на уровне предложения) в принципе воспринимается как целое.

2. Как же осуществляется понимание? Для того, чтобы понять текст, адресат должен представить себе такую ситуацию, в которой он мог бы породить такой же или аналогичный (с его точки зрения) текст.

Таким образом, адресат (получатель сообщения) фактически представляет себя в роли адресанта (отправителя сообщения). Он как бы отождествляет себя со своим собеседником, ставя себя на его место. Очевидно, что такого рода отождествление возможно лишь в условиях языковой коммуникации, предполагающей мену ролей между ее участниками (когда в процессе диалога слушающий становится говорящим, и наоборот) — мену ролей, которая проявляется, в частности, в функционировании личных местоимений (см. *Глава I, § II-2*).

Итак, если адресант при порождении текста исходит из определенной ситуации, то адресат, в свою очередь, стремится найти такую ситуацию, которая могла бы служить мотивацией для данного текста (т. е. могла бы оправдывать его появление) — такую ситуацию, в которой данный текст становится осмысленным, получает смысл; в противном случае он оказывается не способен понять этот текст. Иначе говоря, он должен подобрать ситуацию, в которой он мог бы представить самого себя порождающим такого рода текст. Поступая таким образом, адресат им-

плицитно принимает перспективу адресанта: он приспособляется к своему собеседнику. Можно сказать, что адресат условно принимает на себя функцию адресанта: воспринимая текст, он ведет себя так, как если бы он был его создателем²⁰.

Понимание, таким образом, оказывается аналогичным моделированию: мы представляем себе — проигрываем в нашем сознании — различные ситуации, которые могли бы быть соотнесены с полученным нами текстом, и затем выбираем из них подходящую, т. е. наиболее вероятную ситуацию.

3. Значение языкового знака, а тем самым и смысл текста, состоящего из языковых знаков, абстрактны, тогда как ситуация конкретна — постольку, поскольку она так или иначе соотносится с нашим опытом²¹. Восприятие новой ситуации основывается на аналогии: мы воспринимаем новую ситуацию, сопоставляя ее с какой-то другой, нам уже известной.

Для того, чтобы адекватно понять друг друга, мы должны разделять общий опыт, поставить себя в одну и ту же ситуацию.

Ситуация была определена выше как некоторый фрагмент действительности (см. § I-1). Ситуация, актуальная для данного текста, определяет его контекст, т. е. смысловое окружение²². Как мы уже отмечали, ситуация представляет собой денотат текста, т. е. непосредственный объект референции (см. там же); между тем контекст соотносится с его смыслом: контекст представляет смысл такого текста (реального или потенциально возможного), частью которого является рассматриваемый нами текст. Можно сказать, таким образом, что контекст представляет собой явление смысла, но смысла более общего (глубинного) по отношению к данному.

Мы можем считать, что текст имеет смысл, если все значимые его компоненты (слова) могут быть соотнесены с одной и той же ситуацией. Иначе говоря, текст является осмысленным, если имеется хотя бы один контекст, общий для его значимых компонентов. Если мы не способны вообразить такую ситуацию, текст, напротив, предстает как бессмысленный: мы оказываемся не способны его понять.

Характерным образом очень часто носители языка не могут определить значение отдельного слова. Если их спрашивают, что значит то или иное слово, они просят произнести всю фразу или же описать контекст, в котором встретилось данное слово. В бесписьменных языках понимание фразы (не отдельного слова, а отдельной фразы!) может предполагать специальное введение в ситуацию. Так, например, у туземцев аранта, как отмечают исследователи, сколько-нибудь значительный текст не может быть воспроизведен без искусственного воссоздания ситуации с помощью драматической инсценировки: говорящий сначала разыгрывает действие (совершая нечто вроде театрального представления) и только после этого воспроизводит соответствующий текст²³.

VI. Характер освоения языка: как мы учимся понимать?

1. Необходимо подчеркнуть, что нас, вообще говоря, не учат — сколько-нибудь эксплицитным и целенаправленным образом — понимать: нас учат говорить, т. е. активно пользоваться языком, и именно умение говорить (порождать речь) дает нам возможность понимать.

Ребенок начинает с того, что порождает нечленораздельные сочетания звуков (этот процесс именуется «лепетом» или «лепетаньем», а также «гулением», англ. *babbling*), в которых окружающие его взрослые — прежде всего мать ребенка — готовы усмотреть тот или иной смысл, т. е. опознать отдельные слова естественного языка.

Эти звуки могут трактоваться как знаки, поскольку выражают эмоции ребенка. Это индивидуальные, а не социальные (коммуникативные) знаки: ребенок выражает себя, но не посылает сообщения — здесь нет сознательного акта коммуникации. Вместе с тем — и это очень существенно — мать ребенка исходит из того, что его поведение коммуникативно, т. е. придает такого рода поведению значение коммуникативного акта: общаясь с ребенком, она вовлекает его в коммуникацию²⁴.

Мать ребенка и другие окружающие его люди повторяют эти сочетания, придавая им артикулированную форму, и тем

самым, в свою очередь, поощряют ребенка повторять те или иные звуковые последовательности; само повторение, наряду с поощрительной мимикой и интонацией, служит для него сигналом одобрения²⁵.

Особая роль принадлежит при этом так называемым детским словам (англ. *nursery-words*, *baby-words*, франц. *mots enfantins*, нем. *Lallwörter*), с помощью которых взрослые общаются с ребенком: такого рода слова имитируют речь ребенка и в то же время служат для обучения его артикулированной речи²⁶.

Таковы, например, рус. *тпруа* 'гулять', *бай-бай* 'спать', *ам-ам* 'есть', *пи-пи* (или *пис-пис*, *пип-пип*) 'мочиться', *а-а* или *ка-ка* 'испражняться', *бо-бо* 'больно', *бе, бя, бяка* 'плохой', *леля, ляля* 'игрушка, рубашечка' (а также наименование крестного отца или матери), *сися, сиса* 'материнская грудь', *ням-ням* 'лакомство'; англ. *bye-bye* 'гулять' (*to go bye-bye* 'идти гулять'), *wee-wee* 'мочиться', *choo-choo* 'поезд'; итал. *nanna* 'спать', *babau* 'бояться' (ср.: *bau-bau* 'собака'), *bua* 'больно'; франц. *bobo* 'больно', *néné* 'материнская грудь', *lolo* 'молоко', *dodo* 'спать', *nanan* 'лакомство' и т. п.²⁷ Детские слова в разных языках обнаруживают ряд общих свойств: они обычно образуются через редупликацию (повторением слога)²⁸, они не имеют грамматического оформления и могут выступать в функции предложения; кроме того, некоторые из этих слов имеют звукоподражательный характер²⁹. Иногда они имеют своеобразную этимологию: так, например, *тпруа* может быть соотнесено с командой *тпру!* при обращении к лошади (ср. итал. *brr*, соответствующее по значению рус. *тпру*). Эта этимология особенно очевидна в терминах родства: так, *дядя* соотносится со словом *дед*, *тетя* — со словом *тата*, *тятя* 'отец'³⁰. В отдельных случаях детские слова могут непосредственно соотноситься с соответствующими по значению словами «взрослой» речи, представляя собой их модификацию³¹, однако такая связь прослеживается далеко не всегда. Заметим еще, что в этих словах прослеживаются элементы словообразования, ср., например, *бяка* из *бя*³². Слова разных языков в ряде случаев обнаруживают разительное сходство, соотносясь как по форме, так и по значению, ср., например, рус. *тата*, *тятя* 'отец' и греч. *τάττα*, *τατῆ* 'отец', рус. *бо-бо* 'больно' и франц. *bobo* 'больно'.

Употребление детских слов в принципе характеризует раннюю стадию освоения языка; на более поздней стадии эти слова по

большей части исчезают из речи ребенка, заменяясь соответствующими по значению обычными словами данного языка. Некоторые из детских слов, однако, остаются в языке (вписываясь при этом в систему языка и в каких-то случаях приобретая грамматическое оформление): к ним относятся прежде всего термины родства и соотнесенные по значению слова (например, такие слова, как *мама*, *папа*, *няня*, *дядя*, и т. п.), а также обозначения дефекации и мочеиспускания (ср. рус. *какать*, *писать*; итал. *сасса* ‘кал’, *сасаре* ‘испражняться’, *ла рипи* ‘моча’, *fare рипи* ‘мочиться’, греч. *каккη* ‘кал’, *каккаω* ‘испражняться’). Характерно, вместе с тем, что такие слова, как *деда* или *баба* (в значении термина родства), заменяются на производные от них *дедушка* и *бабушка* (или же *бабка*), слово *тетя* может заменяться производным от него словом *тетка*; по видимому, в этих случаях ощущается принадлежность исходных форм (*деда*, *баба*, *тетя*) к детской речи, т. е. несоответствие их возрастному статусу говорящего. Отчасти это относится и к словам *мама* и *папа*, которые во взрослой речи могут заменяться (особенно в разговоре с посторонним лицом) словами *мать* и *отец*³³.

В результате ребенок постепенно привыкает к тому, что какие-то произносимые им звуки вызывают положительную реакцию окружающих; поскольку эта реакция сопровождается повторением этих звуковых сочетаний, т. е. имитацией речевого поведения ребенка, он начинает слышать себя, воспринимая свое речевое поведение через речевое поведение окружающих. Одновременно он ассоциирует те или иные звуковые сочетания (которые заслужили одобрение взрослых) с ситуацией, в которой они были произнесены³⁴. Затем он может произнести эти сочетания, чтобы вызвать соответствующую ситуацию.

Так, например, он произносит какие-то звуки, в которых его мать узнает слово *мама*. Она повторяет это слово (в фонетически правильной форме!) и улыбается, поощряя ребенка снова его произнести (улыбка является основным и первичным сигналом одобрения, стимулирующим поведение ребенка)³⁵. Ребенок воспринимает позитивную реакцию матери и снова произносит это слово, для того чтобы вызвать такую же реакцию; тем самым он соотносит свое речевое поведение со своим индивидуальным опытом. При этом шаг за шагом он приближается к правильному произношению (соответствующе-

му норме данного языка): его речь постепенно становится членораздельной. Таким образом, мать подражает ребенку, тогда как ребенок, в свою очередь, подражает матери (это может быть сопоставлено с двумя зеркалами, расположенными друг против друга). В результате, с одной стороны, ребенок учится правильно — с точки зрения данного языка — произносить это слово, с другой же стороны, он усваивает связь произносимого им сочетания звуков с образом матери. После этого он может произнести его для того, чтобы появилась мать.

Детские слова появляются как специальные элементы коммуникации матери (или замещающего ее лица, например няни) и ребенка. Существенно, что они представляют собой своего рода компромисс между матерью и ребенком³⁶. Мать не просто повторяет ребенка: она имитирует его произношение, придавая ему определенную форму, — таким образом она преобразует его лепет в последовательность фонем. Так, шаг за шагом, она побуждает его приспособить свое произношение к нормам своего языка³⁷. Эти слова грамматически аморфны (в частности, они могут функционировать и как имена, и как глаголы), но они соединяются с обычными словами языка, которые, наряду с соответствующими грамматическими конструкциями, постепенно усваиваются ребенком.

Поскольку мать имитирует его речь, ребенок начинает сознательно воспринимать свою собственную речевую деятельность — она становится объектом его восприятия наряду с речевой деятельностью матери, которую он тоже воспринимает. Собственная речь начинает восприниматься ребенком остранным, она объективизируется и в конечном итоге становится предметом рефлексии и апперцепции³⁸.

Так через речевое поведение ребенок соотносит свой индивидуальный опыт с тем, как воспринимает ту же последовательность фонем другой человек.

Такова в самом общем виде процедура освоения языка. Существенно при этом, что ребенок учится прежде всего говорить, а не понимать: на разных этапах своего развития он порождает разного рода тексты, которые одобряются взрослыми или же корректируются ими. Вместе с тем в результа-

те такого рода обучения, опосредствованным образом, он получает возможность понимать речь другого человека. В процессе понимания ребенок имплицитно выступает как говорящий — он как бы ассоциирует себя с другим человеком, поставляя себя на его место, и таким образом ему удается понять то, что говорит этот человек. Ребенок действует так, как если бы услышанные им слова принадлежали ему самому.

Усвоение как активного, так и пассивного речевого поведения основывается вообще на подражании взрослым (прежде всего матери): ребенок говорит, повторяя то, что он слышит (разумеется, постольку, поскольку он воспринимает и запоминает те или иные фрагменты речи). Сходным образом он понимает, имитируя поведение взрослых: поскольку ребенок воспринимает то, что он сам говорит, и наблюдает при этом реакцию окружающих на свои слова, он может воспроизводить эту реакцию.

Система человеческой коммуникации (язык) не наследуется: владение языком предполагает специальное обучение. Этим, как обычно полагают исследователи, человек (*homo sapiens*) отличается от других представителей животного мира³⁹, коммуникация которых, по-видимому, в существенной степени не основывается на обучении, т. е. приобретается независимо от него: система коммуникации животных в основном представляет собой врожденное, генетически закодированное явление⁴⁰. Таким образом человеческий язык предстает как явление культуры, а не природы.

В то же время сама способность овладения языком — то, что принято называть языковым даром (*the linguistic endowment*), т. е. способность научиться говорить и, соответственно, понимать другого человека, — как кажется, биологически обусловлена и тем самым относится к природе, а не культуре. Она основывается, с одной стороны, на развитой способности к подражанию (имитации поведения другой особи), с другой же стороны — на биологической связи ребенка и матери: связи, позволяющей ребенку воспринимать положительную или отрицательную реакцию матери (воспринимать сигналы одобрения или порицания, ср. выше).

Знаменательно, что ребенок может научиться говорить лишь в определенном возрасте (когда он биологически связан со своей матерью). Если ребенок по каким-то причинам не начинает говорить между 2 и 4 годами⁴¹, он никогда уже не будет говорить

(так случается с детьми, выросшими среди зверей). Важно отметить при этом, что языковые навыки, приобретаемые в процессе общения с матерью, очень скоро распространяются на общение с окружающими ребенка взрослыми, а затем и с другими людьми; таким образом, обучение языку продолжается и тогда, когда биологическая связь с матерью утрачивается или отступает на второй план⁴². Таким образом, обучение языку в принципе имеет социальный характер (что, собственно, и позволяет говорить о языке как явлении культуры).

Собака понимает человека (своего хозяина), можно думать, приблизительно так же, как маленький ребенок понимает свою мать: собака воспринимает слова хозяина как сигналы (реагируя не на слова как таковые, но на сопутствующие им паралингвистические признаки — такие, как интонация, жестикация и т. п.), и так же, по-видимому, на первых порах воспринимает ребенок обращенную к нему речь матери или других окружающих его людей⁴³. Обучение ребенка языку, в отличие от дрессировки животных, основывается на врожденной способности к подражанию, присущей человеку и в существенной степени отличающей его от других представителей животного мира⁴⁴.

Таким образом, процесс усвоения языка соединяет биологическое (врожденное) и культурное (благоприобретаемое) начало; первое имеет индивидуальный, второе — социальный характер. Сама способность выучить язык представляет собой явление генетического кода, но язык при этом оказывается явлением культуры.

Животное получает врожденную информацию, которая обеспечивает ему, в частности, возможность жить среди других, подобных особей⁴⁵. Человек получает — помимо какой-то врожденной информации — возможность научиться общаться с другими людьми, т. е. возможность координации своего индивидуального опыта с опытом других людей, а тем самым и возможность обмена информацией⁴⁶.

Это не означает, разумеется, что у животных не могут развиваться какие-то элементы коммуникации (приобретаемые через условные рефлексы). Равным образом это не означает, что у человека не может быть врожденных навыков коммуникации, не обусловленных обучением (аналогичных тем, на которых основывается коммуникация животных).

Действительно, коммуникация людей не сводится к языковой коммуникации: в какой-то мере люди могут понимать друг друга, не прибегая к языку. Если владение языком предполагает специальное обучение, то внеязыковая коммуникация не определяется

социальным общением и имеет явно выраженный биологический характер. В ряде случаев она может напоминать коммуникацию животных; внеязыковая коммуникация может рассматриваться именно как атавизм, который оттесняется на второй план приобретенными в сознательном возрасте навыками языкового общения.

Мы говорили о биологической связи матери и ребенка, позволяющей ребенку воспринимать сигналы одобрения или порицания. Вообще ребенку может передаваться, по-видимому, эмоциональное состояние матери: он как бы «заражается» этим состоянием. Вместе с тем внеязыковая коммуникация не ограничивается возрастными критериями, хотя именно в раннем возрасте она проявляется наиболее отчетливо. Так, например, наблюдая выражение лица или жесты другого человека, мы способны представить себе те ощущения, которые вызывают подобную мимику или такого рода движение: на основании собственного опыта мы подбираем моторику, которая порождает соответствующее действие; в результате мы оказываемся в состоянии понять эмоции другого человека, мы со-переживаем этим эмоциям, со-чувствуем этому человеку⁴⁷. Это обусловлено физиологически: действительно, нас никто не учит реагировать таким образом, мы учимся этому сами (независимо от социальной программы); если наше поведение описывать как рефлекторное, то речь должна идти в данном случае о безусловных, а не условных рефлексах⁴⁸. Такого рода явление широко представлено в коммуникации животных, хотя при этом могут быть задействованы другие органы чувств. Так, например, птица, услышав пение другой птицы, способна подобрать моторику, которая позволяет ей воспроизвести аналогичную последовательность звуков⁴⁹. Точно так же эмоциональное состояние животного может передаваться другим представителям того же вида⁵⁰. Принципиальное значение имеет при этом способность подражать мимике, которая наблюдается у человека и у высших обезьян⁵¹: в самом деле, мы (так же, как и большинство животных) можем слышать себя, как нас слышат другие, однако не можем видеть себя, как другие видят нас; соответственно, мы лишены возможности контролировать свою мимику так, как мы можем контролировать свой голос.

2. Итак, при овладении родным языком нас учат правильно говорить, но специально не учат понимать⁵²: для того, чтобы понимать, мы должны уметь говорить. Замечательно, что тот же подход может наблюдаться и при изучении иностранного языка.

Так, например, при изучении латыни, мы учимся — в первую очередь — порождать латинские формы и правильным образом их соединять в предложении: именно это составляет предмет эксплицитного обучения. Положим, мы узнаем, что слово *lex* (представленное в исходной форме именительного падежа единственного числа) в родительном падеже единственного числа имеет форму *legis*, и т. д. и т. п. Если мы знаем все парадигмы нужных нам слов и правила синтаксиса, мы можем говорить и писать на латыни, т. е. порождать правильный латинский текст.

Так обстоит дело с порождением текста. Как же обстоит дело с его пониманием?

Представим, что мы должны перевести латинский текст и мы встречаем в нем форму *legis*. Предположим, что мы не знаем значения данной формы. Если мы обратимся к латинско-русскому словарю, мы не найдем в нем эту форму, поскольку в словарях даются лишь исходные формы парадигмы (для имени это форма именительного падежа единственного числа, для глагола обычно — форма 1-го лица единственного числа настоящего времени). При этом одна и та же форма может относиться к парадигме не одного, а нескольких слов: так, например, форма *legis* может оказаться как формой родительного падежа единственного числа существительного *lex* ('закон'), так и формой 2-го лица единственного числа настоящего времени глагола *lego* ('читаю'). Таким образом, для того чтобы понять данный текст, мы должны просмотреть все возможности и выбрать подходящее решение: иными словами, мы должны представить себя в роли адресанта, порождающего данный текст⁵³.

Мы сталкиваемся здесь с уже знакомой нам ситуацией: нас, в сущности, не учат — эксплицитным образом — понимать латинский текст, нас учат лишь порождать его⁵⁴. Словарь, который имеется в нашем распоряжении (латинско-русский), не дает возможности непосредственно декодировать текст. Для того чтобы понять текст на иностранном языке, мы должны уметь его создать. Понимание усваивается в процессе активного овладения языком.

При машинном переводе или машинной обработке информации необходимо ввести в машину словарь словоформ, которым приписываются те или иные значения; но восприятие текста человеком, по-видимому, происходит принципиально иным образом.

«... Веками сложившаяся практика обучения иностранному языку, — писали в свое время М. В. Ломковская, Е. В. Падучева и В. А. Успенский, — состоит в том, что человека учат, прежде всего, порождать предложения незнакомого языка или их части. Например, при изложении грамматики английского языка учат тому, как выражается в английском языке множественное число (окончаниями *-s*, *-es*, *-en* и т. д.), а не тому, какие значения может иметь окончание *-s* (множественное число существительного или 3-е лицо единственного числа глагола). Попытки составить для пассивного овладения языком какие-то иные грамматические правила (...), по-видимому, не дали положительных результатов: изложение грамматики языка в виде правил порождения оказывается более удобным не только при обучении активному пользованию языком, но даже и при обучении пассивному пониманию языка.

Это положение можно — в не очень ясных терминах — объяснить таким образом, что порождение предложений представляет собой некоторый прямой — и потому более простой и естественный — процесс, тогда как распознавание правильности предложения является обращением этого процесса, чем-то вторичным и потому более сложным для описания, запоминания и т. п. (...) Машине, в отличие от человека, нужна формулировка грамматики в виде явных и не имеющих исключений правил (если не ставить задачу имитации процесса обучения)⁵⁵.

VII. Мышление и автокоммуникация

1. Мы говорили о том, что один и тот же текст может иметь разный смысл для адресанта (отправителя сообщения) и для адресата (получателя сообщения) — если представить, что адресант остранным образом воспринимает собственный текст, — т. е. о случаях недоразумения, когда адресат извлекает из текста некоторый смысл, не предусмотренный адресантом (см. § III-1). В процессе коммуникации (в условиях диалогической речи) происходит корректировка смысла. Такого рода корректировка,

вообще говоря, может проявляться и в случае автокоммуникации, когда адресант и адресат объединяются в одном лице.

Действительно, весьма часто сам адресант (отправитель сообщения) в точности не знает, что именно он хочет сказать (на уровне формального выражения мысли), т. е. смысловое задание, определяющее порождение речи, является достаточно неопределенным. На исходной стадии при порождении речи он может иметь лишь более или менее общие и приблизительные идеи или образы, которые находят конкретное выражение именно в процессе коммуникации (при оформлении текста). Что же происходит? Он порождает текст и затем сам же воспринимает этот текст, проверяя себя и внося необходимые с его точки зрения изменения, после чего весь цикл может повториться. Это очевидный случай автокоммуникации: будучи адресантом, носитель языка выступает одновременно и в роли адресата⁵⁶. Такого рода процесс наглядно представлен в черновиках, где отчетливо видны исправления, вносимые в процессе корректировки текста: мы пишем текст, зачеркиваем некоторые слова, надписываем над ними другие, что влечет за собой исправление других слов (в результате чего приходится менять иногда синтаксическую структуру фразы), и т. п.

Выбирая слова для создания окончательного текста, адресант (отправитель сообщения) последовательно — на каждой стадии — соотносит вновь образованный (порожденный им) текст с исходной ситуацией, которая и служит для него отправным пунктом, определяя в конечном итоге его смысловое задание. Он пытается найти средства выражения (слова), которые способны представить эту ситуацию наиболее адекватным образом⁵⁷.

Мы можем предположить, что такой же процесс автокоммуникации — в сжатой и неэксплицитной форме — всегда имеет место при порождении текста: он представлен в нашей внутренней речи. Иначе говоря, прежде чем артикулировать (или же написать) текст в более или менее законченной форме, мы подбираем слова — и это экспериментальный и эвристический процесс: мысленно мы создаем некоторый текст (фрагмент фразы, которую мы собираемся артикулировать), по-

сле чего пытаемся сами же его воспринять (при этом имеет место своего рода остранение⁵⁸ — мы условно представляем себя адресатом, который не знаком с содержанием данного текста и который может понять его разным образом), затем поправляем себя, порождая тем самым новый текст, и т. д. и т. п.

2. Если обозначить исходный смысл текста (тот смысл, который он имеет для адресанта) как *смысл*₁, а получаемый (воспринимаемый) смысл, соответственно, как *смысл*₂, то мы можем представить сказанное выше в виде схемы:

$$\text{смысл}_1 \Rightarrow \text{текст} \Rightarrow \text{смысл}_2$$

Эта схема может воспроизводиться во все более и более сложном виде:

$$(\text{смысл}_1 \Rightarrow \text{текст}_1 \Rightarrow \text{смысл}_2) \Rightarrow \text{текст}_2 \Rightarrow \text{смысл}_3$$

или:

$$[(\text{смысл}_1 \Rightarrow \text{текст}_1 \Rightarrow \text{смысл}_2) \Rightarrow \text{текст}_2 \Rightarrow \text{смысл}_3] \Rightarrow \text{текст}_3 \Rightarrow \text{смысл}_4$$

или:

$$\{[(\text{смысл}_1 \Rightarrow \text{текст}_1 \Rightarrow \text{смысл}_2) \Rightarrow \text{текст}_2 \Rightarrow \text{смысл}_3] \Rightarrow \text{текст}_3 \Rightarrow \text{смысл}_4\} \Rightarrow \text{текст}_4 \Rightarrow \text{смысл}_5$$

и так далее, по возрастающей.

VIII. Некоторые иллюстрации к сказанному

1. Вернемся к нашему основному тезису: для того чтобы понять текст, необходимо найти такую ситуацию, в которой он оказывается осмысленным. Обнаружение ситуации подобно нахождению фокуса, в котором употребление всех слов получает смысл. Следует иметь в виду при этом, что множество возможных ситуаций не ограничено: оно принципиально открыто, поскольку мы можем представить себе самые разнообразные ситуации. Мы также можем предположить, что те или иные слова в нашем тексте употреблены не в прямом, а в переносном смысле (подробнее на этом мы остановимся ниже, см.: *Глава III*, § I).

Поэтому не так просто, как это могло бы казаться, привести пример бессмысленного текста. Лингвисты время от времени пытаются искусственно конструировать фразы, правильные с формальной точки зрения, но лишенные смысла (см. подробнее: *Глава III*, § I-1). Это оказывается отнюдь не тривиальной задачей.

Проблема создания бессмысленного текста ближайшим образом связана с проблемой нормы — прежде всего семантической, но отчасти и грамматической. Лингвисты, занимающиеся семантикой или теорией текста (эти две области тесно связаны друг с другом), нередко исходят из понятия языковой нормы — из того, как можно или же, напротив, как нельзя сказать на соответствующем языке. Такой подход в принципе вызывает сомнения; будучи оправдан в логике, где, действительно, возможны неверные фразы (неверные именно с точки зрения логики!), он в гораздо меньшей степени правомерен в лингвистике, если иметь в виду под последней описание естественной речи⁵⁹. Так, например, Ю. Д. Апресян, ссылаясь на Ю. С. Маслова, утверждает, что «нельзя сказать **Смотри, вот он вызубривает урок*». Это утверждение основано на выводе о том, что глагол *вызубривать* относится к классу глаголов, которые «в своих основных (не переносных) значениях не способны выражать отдельное действие в процессе его осуществления, т. е. не могут иметь конкретно-процессного значения»⁶⁰. Думается, однако, что это утверждение неверно: перед нами абсолютно правильная русская фраза, хотя ситуация, которую она описывает, может быть, не совсем обычна. В самом деле, нетрудно представить себе ситуацию, когда такого рода конструкция будет совершенно естественной. Вообразим, например, что, прогуливаясь возле дома, мы мимоходом замечаем в окне ребенка, работающего над заданием, которое, как мы знаем, он должен вызубрить. В этих условиях данная фраза оказывается вполне закономерной.

Если правомерность фразы *Смотри, вот он вызубривает урок* может подвергаться сомнению (постольку, поскольку ситуация, в которой она может быть применена, является достаточно редкой), то фраза *Смотри, как он вызубривает урок* обычно воспринимается как нормальная. Очевидно при этом, что слова *вот*

и как не находятся в дополнительном распределении, т. е. могут относиться к одной и той же ситуации. Иначе говоря, семантические сферы, к которым отсылают слова *вот* и *как*, не обязательно исключают одна другую, но имеют точки пересечения.

То же замечание, *mutatis mutandis*, относится к примерам Ю. С. Маслова, по мнению которого «нельзя сказать: *я вызвал его по телефону, и он уже приходит ко мне, или *смотри, вот он приводит сюда сына, или *я встретил почтальона на лестнице, как раз когда он приносил мне письмо, или *он как раз находит иголку»⁶¹.

Первый из этих примеров может показаться несколько странным, но он окажется естественным, если мы вставим указательную частицу *вот*: *Я вызвал его по телефону, и вот он уже приходит ко мне*. Разумеется, наличие этой частицы не обязательно, она нужна нам лишь для того, чтобы указать на контекст, в котором данная фраза предстает как закономерная.

Все эти фразы, вопреки Ю. С. Маслову и Ю. Д. Апресяну, должны быть признаны правильными фразами русского языка. Здесь следует заметить, что язык предназначен не для типичных ситуаций, а для всех вообще ситуаций — реальных или воображаемых. Для того чтобы понять фразу, вырванную из контекста, нам нужно представить себе какую-то ситуацию, в рамках которой она получает смысл; при этом мы, естественно, исходим из наиболее обычной ситуации. Совершенно так же, когда мы оцениваем возможность или невозможность той или иной фразы, нам естественно основываться на обычных ситуациях, тогда как ситуации необычные могут невольно игнорироваться. Это и может приводить к ошибочным оценкам.

2. Рассмотрим фразу *Она сидела у портнихи, торопя ее окончить новое платье, очень шедшее Симочке* (Солженицын. «В круге первом», гл. 88)⁶². Будучи вырвана из контекста, эта фраза может быть понята только в том смысле, что местоимение *она* и имя *Симочка* имеют разных референтов, т. е. относятся к разным людям. Действительно, принято считать, что «простое анафорическое местоимение в роли подлежащего главной

клаузы не может быть кореферентно [иначе говоря, не может иметь общий референт] никакому актанту, выраженному полной именной группой зависимой клаузы, если зависимая клауза следует за главной»⁶³. Обычно это правило выполняется, и нам естественно понимать вырванную из контекста фразу именно исходя из обычной ситуации. Вместе с тем, если обратиться к контексту солженицынского романа, откуда взята рассматриваемая фраза, то окажется, что в данном случае оба интересующих нас элемента (местоимение и имя собственное) относятся к одному и тому же лицу, а именно, к Симочке. Здесь имеет место мена точки зрения (авторской позиции) в пределах одной фразы; можно сказать, что начало и конец фразы представлены в разной нарративной перспективе⁶⁴.

Аналогичный эффект возникает в прямой речи, когда человек говорит о себе то в 1-м, то в 3-м лице, в частности, употребляя по отношению к себе личное местоимение 1-го лица и имя собственное. Вот, например, как изъясняется Алан Стюарт, герой повести Р. Л. Стивенсона “Catriona” (гл. 30): «“If I didnae feel just sure of the lassie, and that she was awful pleased and chief with Alan, I would think there was some kind of hocus-pocus about you.” — “And is she so pleased with ye, then, Alan?” I asked. — “She thinks a heap of me,” says he. “And I’m no like you: I’m one that can tell. That she does — she thinks a heap of Alan. And troth! I’m thinking a good deal of him mysel’ ...”» (‘„Не будь я так уверен в девушке и в ее сердечном расположении к Алану, я решил бы, что тут затевается какая-то каверза“’. — „А она, правда, к тебе расположена, Алан?“ — спросил я. — „Она передо мной преклоняется“, — сказал он. — „Я ведь не тебе чета, я в этом разбираюсь. Да-да, она преклоняется перед Аланом. И сам я тоже о нем весьма лестного мнения ...“’) ⁶⁵. Если бы мы не знали контекста, мы должны были бы подумать, что Алан и говорящий — это разные лица.

Отчасти сходный пример, хотя и имеющий другое объяснение, мы находим в “Золотом осле” Апулея (кн. XI, 2): «Depelle quadripedis diram faciem, redde me conspectui meorum, redde me meo Lucio» (‘Совлеки с меня образ дикий четвероногого животного, верни меня взорам моих близких, возврати меня моему

Луцию!)⁶⁶. Опять-таки, не зная контекста, эту фразу естественно понять так, что *ego* ('я') и *meus Lucius* ('мой Луций') относятся к разным лицам: так, например, может сказать раб о своем господине, если того зовут Луцием. В действительности, однако, это произносит сам Луций — герой романа, — который обращается с молитвой к Изиде, прося вернуть ему человеческий облик. В фантастическом контексте данного произведения соединение в одном лице референтов, обозначенных местоимением и именем собственным, оказывается оправданным.

Подобное противопоставление местоимения 1-го лица и имени собственного того человека, к которому относится местоимение, находим в новгородской духовной Климента, ок. 1270 г. Как отмечает А. А. Гиппиус, духовная Климента написана от 1-го лица, однако в той ее части, где перечисляются суммы, которые те или иные люди остались должны завещателю, его 1-е лицо неожиданно заменяется собственным именем: «А на поральскож серебро наклада възати Климатъ на Борькъ 13 ногате и гр[и]вна, а оу Савиница съимати Климате съ Бор[к]ою пать гр[и]в[е]нь» и т. п.⁶⁷ «Можно думать, — говорит Гиппиус, — что это делается для большей ясности денежных расчетов; упоминание завещателя по имени в большей степени, чем обозначение его местоимением первого лица, эксплицирует описываемые отношения: Борька, Савинич и другие должны именно Климате, а не безымянному „мне“»⁶⁸. Но дело, по-видимому, не только в этом: реализация завещания относится к времени, когда самого завещателя уже не будет в живых: к покойнику не может относиться местоимение 1-го лица, но он может называться собственным именем. Соответственно, Климята ведет речь в 1-м лице, когда говорит о том, как надо распорядиться его имуществом, но в 3-м лице, когда говорит о том, что он должен получить; в этом случае он называет себя по имени⁶⁹. Так же, как и в примере из Апулея, собственное имя в отличие от местоимения оказывается связано с человеком независимо от его манифестации⁷⁰.

Такого рода употребление может быть мотивировано иронией (в точном соответствии с исходным значением слова *ирония*, ср. εἰρωνεία 'притворство, особенно в речи'). Так, например, Сократ у Платона говорит Федру ("Федр", 228с): Σὺ οὖν,

ὦ Φαίδρε, αὐτοῦ δεήθητι ὅπερ τάχα πάντως ποιήσει νῦν ἤδη ποιεῖν ('Так уж ты, Федр, упроси его сейчас же приступить к тому, что он в любом случае все равно сделает'⁷¹). Местоимение 3-го лица относится при этом к собеседнику Сократа, т. е. к самому Федру: обращаясь к Федру, Сократ говорит о нем самом. Если бы мы не знали этого, мы должны были бы подумать, что местоимение 3-го лица относится к какому-то другому человеку, отличному от Федра.

Более специальный случай представляет следующий текст (последовательность фраз): *Somebody was leaning out of my bedroom window, refreshing his forehead against the cool stone of the parapet, and feeling the air upon his face. It was myself* ('Кто-то высовывался из окна моей спальни, освежая свой лоб холодным камнем парапета и охлаждая лицо воздухом. Это был я'). Очевидным образом здесь не соблюден принцип конгруэнтности: говорящий (и, соответственно, рассказчик) в принципе не может быть субъектом и объектом восприятия (наблюдателем и объектом наблюдения)⁷² — между тем, в данном случае как раз это и имеет место. В первой фразе местоимение 3-го лица (*somebody*) противопоставлено местоимению 1-го лица (*my*); тем не менее, в следующей затем фразе оказывается, что речь идет об одном и том же человеке, т. е. что оба местоимения имеют общий референт. Это цитата из Диккенса ("David Copperfield", гл. 24), и такой прием описания оправдан в этом случае тем, что речь идет об опьянении героя, сознание которого раздваивается⁷³.

Изменение нарративной перспективы в процессе порождения текста может, по-видимому, наблюдаться в новгородских берестяных грамотах⁷⁴.

Так, в грамоте № 275/266, XIV в., читаем: «Приказъ ѿ Сидора къ Грѣгоріи что оу подоклити оленини, выдаи сторѣжю в цркъвь а что дви корѣби Сидьрови <...> до мень и до Остафии <...> а про конѣ поими моего цалца ...» (перевод: 'Наказ от Сидора Григорию. Что касается [вещей, лежащих] в подклете — оленины шкуры отдай сторожу в церковь, а Сидоровы две коробы <...> до меня и до Остафии <...>. А что касается коней — возьми моего чалого ...')⁷⁵. Имя Сидор и местоимение 1-го лица относится здесь к одному и тому же лицу.

Аналогично в грамоте № 243, XV в.: «Поклонъ ѿ Сменка ѿ корѣлина пришеде гнѣ т кобѣ [читай: к тобѣ] на село на Пытарево цимъ его жалуюешь и ты ѿспѣде прикажи всакоѣ слово а къзъ тобѣ своему гнѣ цоломъ бѣю» (перевод: ‘Поклон от Семенка карела. Он пришел [т. е.: перешел жить], господин, к тебе на Пытарево село. [Коли] чем его пожалуешь, то ты, господин, дай [на этот счет] все распоряжения. А я тебе, своему господину, бью челом’) ⁷⁶. Адресант (Семенко) дважды говорит здесь о себе в 3-м лице (и один раз — в 1-м лице). А. А. Зализняк объясняет это тем, что он (Семенко) писал грамоту не собственноручно. Не исключено, однако, что имеет место мена перспективы — от адресата к адресанту.

В других случаях мы наблюдаем в берестяных грамотах чередование форм единственного и множественного числа, относящихся к адресатам грамоты. Так, в грамоте № 187, XIV в., читаем: «поѣдите [лакуна в тексте: утрачены две буквы] Сокорѣа, уемли сѣнику и камѣнѣа и цто надоби вы вѣдаете а поѣдите до пожѣного веремани» (перевод: ‘Поезжайте в Сокорья, уберите сорную траву и камни, а что нужно, вы знаете. А поезжайте до покосного времени’) ⁷⁷. Комментируя эту грамоту, А. А. Зализняк говорит: «Автор обращается к адресатам то во множественном числе, то в единственном — очевидно, в соответствии с тем, думает ли он в данный момент о своем главном адресате или о всей группе людей, которые должны исполнить его указания». Это явление встречается и в других грамотах ⁷⁸.

Если не знать контекста, приведенные фразы естественно воспринимать как результат объединения в одном предложении компонентов текста, относящихся к разным референтам; на самом же деле речь идет каждый раз об одном и том же референте.

3. Можно ли сказать: *Прежде чем он был, я есть*? Фраза должна показаться бессмысленной, если не знать контекста. Между тем она восходит к евангельскому тексту: мы только заменили имя собственное на местоимение, ср. слова Христа в русском тексте Евангелия: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. VIII, 58). Аналогично в старославянском тексте: «прѣжде даже не бысть Авраамъ азъ есмь» ⁷⁹, ср. в греческом тексте: πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμι, в Вульгате: «antequam Abraham fieret, ego sum» ⁸⁰. Между тем во французской протестантской Библии (версии Ж.-Ф. Остервальда, 1744 г.) мы

находим: «avant qu'Abraham fût, j'étais»⁸¹; аналогично в янсенистском Новом Завете 1667 г., появившемся в кругу аббатства Пор-Рояль: «J'estois avant qu'Abraham fust au monde»⁸² — фраза потеряла свою аномальность, но при этом изменился смысл⁸³. В греческом и славянских языках нет правила согласования времен (*consecutio temporum*); в романо-германских языках, где есть это правило, при переводе данного предложения возникают дополнительные трудности и соответствующая фраза может казаться необычной не только семантически, но и грамматически. Иначе говоря, если в греческом и славянских языках, для того чтобы понять эту фразу, необходимо произвести мыслительную операцию (представив себе ситуацию, когда такая фраза оказывается возможной), то при переводе на романо-германские языки ее понимание предполагает еще и отказ от обычного языкового узуса.

4. Можно ли сказать: *Послезавтра Христос воскрес?* Казалось бы, нет, но именно так говорит Нелли у Достоевского в “Униженных и оскорбленных” (ч. IV, гл. 4): «Послезавтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются...»⁸⁴. Фраза становится понятной, если иметь в виду, что речь идет о Пасхе, когда празднуется Воскресение Христа, которое воспринимается как событие не только прошлого, но и настоящего — не только как явление происшедшее, но и как непосредственно переживаемое. Это восприятие отразилось в письме царя Алексея Михайловича семье из Смоленска от 15 апреля 1655 г.: «А у насъ Христось воскресе. А у васъ воистинно ли воскресе?»⁸⁵.

Возможно, вместе с тем, и другое объяснение. Как известно, *Христос воскрес!* (или *Христос воскрес!*) — восклицание, провозглашаемое на пасхальных торжествах, которое представляет собой как бы символ самого праздника. Эти слова многократно повторяются, звучат в ушах, и таким образом в устах Нелли они могут представлять как своего рода цитата.

Рассмотрим сходный пример из “Театрального романа” Булгакова (гл. 13): «Завтра не было дождя. Завтра был день с крепким осенним заморозком». Вырванные из контекста, фразы

эти кажутся странными; так же, как и в примере из Достоевского, обстоятельство, относящееся к будущему времени (*завтра* у Булгакова, *послезавтра* у Достоевского), парадоксальным образом сочетается со сказуемым в прошедшем времени. У Булгакова цитированным фразам предшествует следующий пассаж: «Итак, вдруг и совершенно внезапно появился в моих дверях Демьян Кузьмич, расшаркался и вручил мне приглашение пожаловать завтра в четыре часа дня в театр»⁸⁶. В таком контексте интересные нас фразы выглядят вполне естественно: слово *завтра* в каждой из этих фраз повторяет это же слово в приглашении, полученном героем “Театрального романа”, т. е. представляет собой элемент чужой речи, которую цитирует рассказчик. Соответственно, если мы возьмем это слово в кавычки, фразы перестанут казаться аномальными, ср.: «*Завтра*» не было дождя; «*Завтра*» был день с крепким осенним заморозком⁸⁷. Точно так же мы можем взять в кавычки и выражение *Христос воскрес* в примере из Достоевского, ср.: *Послезавтра* — «*Христос воскрес!*». В устном воспроизведении взятые в кавычки фрагменты (*завтра*, *Христос воскрес!*) должны быть выделены интонацией.

5. Можно ли сказать: *Golf plays John* (‘Гольф играет Джоном’)? Н. Хомский в свое время приводил эту фразу как пример заведомо неправильного предложения⁸⁸. Возражая ему, Р. О. Якобсон построил контекст, в котором данная фраза оказывается осмысленной и вполне понятной: *John does not play golf; golf plays John* (‘Не Джон играет в гольф, а гольф играет Джоном’)⁸⁹.

Х. Путнам рассказывает о лингвисте, опрометчиво утверждавшем, что «человек, говорящий на английском языке, ни при каких обстоятельствах не поймет предложения, в котором слово *to sneeze* ‘чихать’ использовалось бы в качестве переходного глагола». Через несколько минут в той же беседе была произнесена фраза *Pepper does not sneeze me* (букв.: ‘Перец не чихает меня’, т. е. ‘не провоцирует моего чихания’, ‘не побуждает меня чихать’), которую тот понял. «Интереснее всего то, — и в этом вся суть, — замечает Путнам, — что каким бы неправильным ни было предложение, совершенно неразумно утверждать, что нет таких обсто-

ятельств, при которых говорящий не мог бы произнести его, а слушающий не мог бы его понять»⁹⁰.

6. Можно ли сказать: *Выпей меня*? Казалось бы, нет: ведь глагол *выпить* может относиться лишь к жидкости (ср., например: *выпить воду*) или к какому-то сосуду (емкости), содержащему жидкость (ср., например: *выпить рюмку*)⁹¹. Как жидкость, так и сосуд представляют собой неодушевленные объекты и, следовательно, не могут говорить или писать. Между тем это реальный, а не искусственно созданный пример (каковым является фраза Хомского, приведенная в предыдущем параграфе). Пример этот взят из “Алисы в стране чудес” Льюиса Кэрролла (гл. 1): оказавшись в подземном мире (в стране чудес), Алиса видит бутылку с надписью *Drink me* (‘Выпей меня’); она пьет содержимое и становится все меньше и меньше⁹². Мы без всякого труда понимаем этот текст, поскольку речь идет о стране чудес, где все возможно. В данном контексте эта фраза предстает как вполне осмысленная.

Можно сослаться в этой связи на древнюю традицию (присущую западноевропейской культуре) украшать предмет именем мастера, его изготовившего, или же заказчика вещи, владельца, которому она принадлежит, и т. п. Мастер в таких случаях заставляет говорить сам предмет, им изготовленный; изделие при этом может обращаться к зрителю или потребителю, что дает возможность мастеру сказать о себе в 3-м лице.

Эта традиция восходит, по-видимому, к античной культуре. Такого рода примеры широко представлены, в частности, в греческих votивных надписях на предметах, посвященных божеству; эти надписи обычно имеют следующий вид: ὁ θεῖνά με ἀνέθηκε τῷ θεῷ (‘такой-то посвятил меня богу’) или ὁ θεῖνά με ἀνέθηκε (‘такой-то меня посвятил’); votивные надписи этого вида (с местоимением με) встречаются на предметах с конца VIII в. до н. э.⁹³ Одновременно мы встречаем такие надписи, как, например, Τιμονίδα μ’ ἔγραφε (‘Тимонид меня писал’), Φάνος ἐμὶ σῆμα (‘Я — могила Фана’), Харῆς μ’ ἔγραψε (‘Харес меня нарисовал’ — надпись на вазе), Ταραντίων ἡμὶ (‘Я — тарентская [чеканена в Таренте, принадлежу Таренту]’ — надпись на монете), и т. п.⁹⁴ Подобные надписи у греков первоначально предполагали, по-видимому, сакральный контекст, будучи так или иначе связаны с коммуника-

цией с потусторонним миром. Предполагается, что на исходном этапе надписи от 1-го лица были представлены на изображениях богов, распространившись затем на изображения людей и животных и в конце концов оказавшись на вазах, монетах и других предметах⁹⁵. Соответственно объясняются и надписи на надгробных плитах, сделанные от лица умершего⁹⁶. Можно думать, что сначала на предметах, говорящих о себе в 1-м лице, были представлены вотивные надписи: то обстоятельство, что предмет посвящался божеству, делало его причастным к сакральному миру, и в результате предмет приобретал сакральный характер, метонимически репрезентируя само божество; отсюда соответствующий предмет говорил о себе так же, как говорила о себе статуя божества. Уже в античности соответствующие надписи могут утрачивать связь с сакральным миром, становясь своего рода подписью мастера или заказчика предмета.

Аналогичные примеры имеем и на латыни; считается, что этот способ выражения появился здесь под греческим влиянием⁹⁷. Обращение от лица предмета представлено в надписи на так называемой Пренестинской фибуле (*Fibula Praenestina*), которая признавалась древнейшей латинской надписью и датировалась VII в. до н. э., но подлинность которой в недавнее время была подвергнута сомнению. Здесь читаем: «*Manios med fhefhaked Numasioi*», что на классической латыни соответствовало бы *Manius me fecit Numerio* («Маний меня сделал Нумерию»)⁹⁸. В надписи на так называемой вазе Дуэнос конца VII — начала VI в. до н. э. содержимое вазы говорит, обращаясь к потребителю: «*Duenos med fecet ...*», что соответствует на классической латыни *Bonus me fecit ...* («Добрый [человек] меня сделал ...»); начало этой надписи большинство исследователей читают как «*Iovesat deivos qoi med mitat*», т. е. *Iurat deos qui me mittit* («Клянется богами тот, кто меня посылает [или: изготавливает]»)⁹⁹. Ср. надпись внутри сосуда, где хранились благовония: «*Amog med Flaca dede*», т. е. *Amor me Flaccae dedit* («Амур дал меня Флакке» — и в этом случае речь идет, по-видимому, о содержимом сосуда, т. е. 1-е лицо относится к благовонной мази)¹⁰⁰. В надписи на ящике, известном под названием «*Cista Ficoroni*», конца IV — начала III в. до н. э. значит: «*Novios Plautios med Romai fecid*» («Новий Плавтий меня в Риме сделал»)¹⁰¹. На светильниках из некрополей III в. нередко написано, кому принадлежит светильник — который при этом говорит о себе в 1-м лице: «*Claudio [scil.: posita sum]; non sum tua*» («Клавдием [положен]; я не твой»)¹⁰², «*Ne a[t]tigas; non sum tua, M[arci] sum*» («Не тронь; я не твой, я Марциев»)¹⁰³, «*N[e] a[t]tiga[s] me; Gemuci sum*» («Не тронь

меня; я Гемуций»)¹⁰⁴; «Sotae sum; noli me tanger[e]» («Я [принадлежу] Соте; не прикасайся ко мне»)¹⁰⁵; «Speri sum» («Сперию [принадлежу] я»)¹⁰⁶; «Sum Valeri» («Я [принадлежу] Валерию»)¹⁰⁷. См. еще надпись на вазе: «Noli me tollere Helveiti sum» («Не бери меня, я [принадлежу] Гельвеиту [Гельвецию?]»)¹⁰⁸; надпись на площадке, высеченной в скале: «Care me tua sum» («Займи меня, я твоя»)¹⁰⁹. Ср. в этой связи небольшую терракотовую пирамиду, на которой написано: «Antiochus fi[n]xi te» («Я, Антиох, тебя создал»), — здесь мастер обращается к созданному им предмету, называя его во 2-м лице¹¹⁰. И позднее эпиграмма Марциала на статую Приапа (VI, 73) начинается словами: «Non rudis indocta fecit me false colonus ...» («Не неискусный крестьянин сделал меня немелким серпом ...»)¹¹¹.

Подобные надписи мы встречаем и в Средние века, ср., например, надпись на кресте 1129 г. из кафедрального собора в Сиене: «Vos qui me videte rogare D[eu]m pro eo qui me fecit» («Вы, что видите меня, молитесь Богу за того, кто меня сделал»)¹¹². Под влиянием латыни они появляются в это время и на других языках. Примером может служить ювелирное изделие (возможно, наколочник для указки), известное под названием “Alfred Jewel”, конца IX в. из Музея искусства и археологии в Оксфорде (Ashmolean Museum) с надписью на древнеанглийском языке: «Aelfred mec heht gewurgan» («Альфред велел меня сделать»)¹¹³. Это изделие принадлежало предмету — указке или же заставке, застежке, которую король Альфред велел изготовить для каждой копии древнеанглийского перевода “Пасторского попечения” папы Григория Великого; сама книга при этом оканчивалась словами, сказанными от ее имени: «Siddan min on Englisc Aelfred keening awende worda gehwele, & me his writwerum sende sud & nord» («Затем король Альфред искусно перевел каждое мое слово на английский и послал меня своим писцам на север и на юг»)¹¹⁴. Итак, писец здесь заставляет говорить книгу, а украсивший ее мастер — предмет, который к ней относится. Равным образом в древней Скандинавии на предметах домашнего обихода нередко значилась надпись с именем мастера или владельца, написанная от лица соответствующего предмета: «Marten mik gearfe» («Мартин меня сделал»), «Gudrid mec worh[t]e, Aelchfrith mec a[h]» («Гудрид меня изготовила, Эльхфрит мною владеет»), и т. п. Достоин внимания при этом, что такого рода надписи неизвестны в Скандинавии (если не считать одного спорного случая) в древнейший период, т. е. в старшую руническую эпоху (III–VII вв.) — подобно тому, как нетипичны они и для древней Руси (см. ниже), — между тем в младшую руническую эпо-

ху, захватывающую христианский период, они, напротив, представлены в большом количестве; это вполне понятно, если принять, что они восходят в конечном счете к латинским надписям (может быть, при посредничестве других языков)¹¹⁵.

Рассматриваемое явление не ограничивается античной и средневековой традицией: мы встречаем соответствующие надписи, в частности, на картинах ренессансных художников, ср., например, на “Благовещении” Симоне Мартини и Липпо Мемми из галереи Уффици во Флоренции: «Symon Martini et Lippus Memmi de Senis me pinxerunt anno Domini MCCCXXXIII» (‘Симон Мартини и Липпо Мемми из Сиены меня нарисовали в 1333 году’)¹¹⁶. Такие надписи нередко представлены на портретах Антонелло да Мессина; как правило, они находятся на этикетке (cartellino), нарисованной под изображением — в виде trompe l’œil — так, как если бы она была приклеена к картине. Ср.: «Antonellus Messaneus me pinxit» (‘Антонелло да Мессина меня нарисовал’) на изображениях Христа («Ессе Номо» ок. 1472 г. из Национальной галереи в Генуе, «Ессе Номо» ок. 1473 г. из музея в Пьяченце, «Salvator Mundi» 1475 г. из лондонской Национальной галереи)¹¹⁷, на изображениях Распятия (одно — ок. 1475 г. из лондонской Национальной галереи, другое — 1475 г. из антверпенского Музея изящных искусств)¹¹⁸, а также на мужском портрете 1475 г. из Лувра, на мужских портретах 1474 и 1478 г. из берлинского Собрания государственных музеев и на портрете кондотьера из Лувра¹¹⁹; «Antonellus Messanensis me pinxit» на полиптихе св. Григория 1473 г. из Регионального музея в Мессине¹²⁰. При этом в картинах, на которых изображен Христос или дано изображение Распятия, особенно ясно, что местоимение 1-го лица в надписи («me pinxit») относится к самому изображению, т. е. к картине как предмету, а не к изображенному на картине лицу. Аналогичную надпись находим у Джованни Беллини на фрагменте алтарной доски ок. 1500 г. из галереи венецианской Академии (на дереве помещена табличка — cartellino — с надписью: «Ioannes Bellinus me pinxit»)¹²¹ и затем у Лоренцо Лотто в портрете архитектора 1520–1530-х гг. из берлинского Собрания государственных музеев (изображен мужчина со свитком в руке, и на свитке написано: «L. Lotto me fec[it]»)¹²², а также у ряда других, менее известных итальянских художников (в частности, таких как Таддеи де Бартоло, Джованни да Пиза, Сано ди Пьетро, Лоренцо Монако)¹²³. На картинах Яна Ван Эйка такого рода надписи могут быть как на латинском, так и на фламандском языке, ср.: «Johannes de Eyck me fecit ...» (‘Иоанн де Эйк меня сделал ...’) на “Портрете человека в красном тюрбане” 1433 г. из лондонской

Национальной галереи (который является, возможно, автопортретом художника) и на «Св. Варваре» 1437 г. из антверпенского Музея изящных искусств¹²⁴; «Coniunx meus Johannes me complevit ...» ('Супруг мой Иоанн меня совершил ...') на портрете жены художника 1439 г. из Музея изящных искусств в Брюгге (местоимение 1-го лица употреблено здесь дважды: в одном случае оно относится к изображенному лицу, в другом — к изображению)¹²⁵; «Johannes de Eyck me fecit et complevit ...» ('Иоанн де Эйк меня сделал и совершил ...') на триптихе из Дрезденской галереи 1437 г., на копии не дошедшей до нас картины «Salvator mundi» (версии 1438 г.) из берлинского Собрания государственных музеев и на "Мадонне у фонтана" 1439 г. из антверпенского Музея изящных искусств¹²⁶; «Gheconterfeit nu heeft mi Jan Van Eyck ...» ('Изобразил меня Ян Ван Эйк ...') на портрете Яна де Леу 1436 г. из венского Музея истории искусств¹²⁷. Эта традиция особенно устойчива в надписях на колоколах, где она сохраняется по сей день; ср. надпись на колоколе Пизанской башни: «AD MCCLXII Lotteringus de Pisis me fecit, Gerardus Hospitalarius solvit» ('В 1262 г. Лотаринг из Пизы меня сделал, Герард Госпитальер оплатил'). В случае колоколов, однако, традиция эта не столь показательна, поскольку колокола — звучащий инструмент и, соответственно, им может приписываться способность говорить, выражать мысль (не случайно колоколам дают имена и та часть колокола, посредством которой производится звук, называется «языком»¹²⁸).

И сегодня в Италии вам могут на улице вручить листок с предложением работы, который начинается от имени работодателя, но заканчивается обращением от имени самого этого листка: «Cerchiamo persone <...> per lavoro ben remunerato. <...> Non mi gettare: sicuramente conosci qualcuno a cui può interessare» ('Ищем персонал <...> на хорошо оплачиваемую работу. <...> Не выбрасывай меня: наверняка ты знаешь кого-то, кто может заинтересоваться [этим предложением]'). На римском базаре на лотке с фруктами можно увидеть надпись «Io sono dolce» ('Я сладкий'), где местоимение 1-го лица (*io*) относится, например, к винограду. Совершенно так же в компьютерных программах инструкции обычно озаглавлены «Read me». Аналогичным образом, когда загадывают шараду, говорят от лица самой шарады, как если бы она была одушевленным существом: *Mon premier est...*; *Mon second* (или: *Mon deuxième*) *est...*; *Mon troisième est...*, и т. д.; *Mon tout* (или: *Mon entier*) *est...* Примеры такого рода ближайшим образом напоминают надпись на бутылке у Льюиса Кэрролла.

Подобные обращения от лица неодушевленного предмета мы встречаем на изделиях западных мастеров: в русском прикладном искусстве такие примеры неизвестны. Известны лишь две надписи такого рода на территории Древней Руси, причем обе они — иностранного происхождения — это надпись «*ficit me Buris ab ...*» ('сделал меня Бурис от ...') на медной пластинке XII в., найденной в Новгороде, и надпись на Магдебургских воротах XII в. новгородского Софийского собора: «*Riquin me fecit*» ('Риквин меня сделал')¹²⁹.

7. Можно ли сказать *наша голова* или *наша рука*, *наш палец* и т. п.? Кажется, что эти выражения не имеют смысла: ведь части тела по определению принадлежат одному человеку, и тем самым притяжательные местоимения не могут быть во множественном числе. Тем не менее, нетрудно найти ситуацию, где такого рода выражения выступают как содержательные.

Представим себе, например, занятия анатомией, где профессор объясняет студентам строение человеческой руки; он вполне может сказать: *Наша рука устроена таким образом, что...* и т. п. У Достоевского в "Бесах" (ч. I, гл. 4, § 7) губернаторша Юлия Михайловна говорит о Лизе: «Я (...) хорошо знаю, какая на наших плечиках всевластная головка»¹³⁰. Это случай совмещения речевых позиций, когда говорящий объединяет свою точку зрения с точкой зрения лица, о котором идет речь, т. е. он говорит как бы от лица этого человека, но одновременно и со своей собственной точки зрения; различные речевые позиции совмещены здесь для того, чтобы передать оттенок соучастия, неразделимости (характерный, в частности, в отношении к маленькому ребенку)¹³¹.

Это особый случай, где форма притяжательного местоимения во множественном числе имеет специальное значение. Но могут ли употребляться такого рода выражения в прямом значении по отношению к вполне конкретному (а не обобщенно-абстрактному) референту?

Возможность употребления подобных выражений оказалась в свое время предметом дискуссии в средневековых монастырях. По правилам бенедиктинского монашеского устава монахам запрещалось иметь личную собственность. Монахи долж-

ны были избегать употребления притяжательных местоимений *мой* и *твой* и говорить вместо этого *наш*¹³². Соответственно, возникал вопрос, можно ли говорить *моя голова*, *мой язык*, *моя рука* и т. п. или же следует вместо этого употреблять местоименную форму множественного числа и говорить *наша голова*, *наш язык*, *наша рука* (подобно тому, как надлежало говорить, например, *наш кукуль*, *наша ряса*).

Так, Цезарий Гайстербахский, цистерианский проповедник XIII в., в проповеди, посвященной браку в Кане Галилейской, уподобляет шесть правил бенедиктинского монашеского устава шести каменным водоносам, стоящим в Кане Галилейской по обычаю очищения иудейского (Ин. II, 6); первым из них является обет нестяжательства. Здесь читаем: «О вместиности водоносов говорится: „вмещающие по две или по три меры“ [Ин. II, 6]. Первая мера первого водоноса, т. е. добровольной бедности, есть отказ от собственности; вторая — отречение от собственной воли; третья же помещается в членах тела. Об этой мере существуют разные мнения; одни утверждают, что монах должен говорить: *голова — моя*, *мой язык*, *моя рука* или *моя нога*. Другие придерживаются противоположного мнения, а именно, что монаху надлежит говорить *наша голова*, *наш язык* и о прочем так же, подобно тому, как мы говорим *наш кукуль* или *наша ряса*. Думаю, что решение здесь заключается в следующем: согласно первым, внимание обращается на движения членов, от которых мы едва ли можем удержаться; согласно же вторым, на [совершаемые этими членами] дела. Я могу, и мне разрешено двигать рукой или ногой; но не разрешено управлять ими без всяких ограничений [букв.: произвольно распускать их за допустимые пределы] или совершать недозволенные дела»¹³³. Так в Средние века трактовалась проблема отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности.

Для нас достаточно отметить, что были люди, которые считали возможным говорить *наша голова*, *наш язык* и т. п. Нельзя сказать при этом, что меняется значение местоименной формы, — речь идет в данном случае не о каком-либо специальном значении языкового элемента, а о специальной ситуации, которую этот язык описывает.

8. Можно ли сказать: *у меня болят твои зубы*? Фраза кажется неправдоподобной, но вот конкретный пример: дочь

мадам де Севинье была больна, и мать написала ей в письме: «*me fait mal à votre poitrine*» ('у меня болит ваша грудь')¹³⁴.

И в этом, и в предыдущем случае язык ведет себя так, как если бы имела место аннексия объекта, обладающего свойством неотчуждаемой принадлежности.

9. Можно ли сказать: *кусоч молока* или *кружок молока*? Абсолютное большинство носителей русского языка, несомненно, дадут отрицательный ответ на этот вопрос, однако в некоторых ситуациях такого рода фразы оказываются возможными. Автору довелось в детстве жить в Сибири, где молоко зимой замерзало. Если в Москве молочницы разносили молоко по домам в бидонах, то в Новосибирске они разносили его в мешках, где молоко было в виде распиленных кружков.

Как отмечает И. А. Мельчук, «фразы *Иван улетел в Рим* и *Иван улетел на Венеру* сто лет назад были, видимо, семантически аномальны; теперь обе нормальны, но первая может быть истинной, а вторая является пока заведомо ложной. Выражения *стеклянная сковорода* (...) и *пакет молока* стали нормальными на наших глазах; кто знает, не будут ли когда-нибудь нормальными *мешочек водки* или *пачка лесного запаха*?»¹³⁵. Равным образом в свое время была аномальной такая фраза, как *Фельдфебель драгунского эскадрона махнул саблей*, поскольку в драгунских эскадронах были не фельдфебели, а вахмистры, причем вооружены они были не саблями, а шашками¹³⁶; мы можем представить себе, разумеется, вахмистра, в руках которого по тем или иным причинам оказалась сабля, однако фельдфебеля драгунского эскадрона представить себе невозможно.

Вместе с тем фраза *дождь идет*, столь обычная для современного русского языка, в свое время могла восприниматься в контексте мифологических (языческих) представлений. В древнерусских епитимейниках нередко встречается правило, запрещающее произносить эту фразу (по той простой причине, что дождь идти не может); нарушивший это правило должен был положить сто поклонов, чтобы искупить свою вину: «Аще кто речеть: „дождь идет“, да поклон. 100»¹³⁷.

У Дж. К. Честертонa есть цикл новелл (“Tales of the Long Bow”, в русском переводе “Охотничьи рассказы”), основанных на следующем принципе. В каждой новелле строится особая ситуация, позволяющая понять фразу, которая, вообще говоря — вне данного контекста, — не воспринимается как осмысленная (например, *to set the Thames on fire* ‘поджечь Темзу’, *to eat one’s hat* ‘съесть свою шляпу’, и т. п.)¹³⁸. Нечто похожее возможно в поэзии: здесь также может создаваться некоторый условный контекст, делающий осмысленными фразы, которые во всех других контекстах не воспринимаются как таковые; см. об этом ниже (*Глава III*, § 1-2).

10. Иногда фразы такого рода создаются сознательно и могут приобретать парадоксальную форму: мы можем образовать предложение, которое будет казаться не имеющим смысла или внутренне противоречивым, но становится осмысленным, если мы подберем соответствующую ситуацию. Так, например, мы можем сказать: *Человек, который чувствует себя хорошо, когда чувствует себя плохо*. Эта фраза кажется противоречивой, но она обретает смысл, если мы имеем в виду ипохондрика.

В статье “Meaninglessness”, приведенной в Энциклопедическом словаре семиотики, дается список примеров бессмысленных фраз. Приведем их: *a thinking cane* (‘мыслящий тростник’); *a childless mother* (‘бездетная мать’); *an unfriendly friend* (‘недружественный друг’); *Ignacy Paderewski’s piano playing smells of red* (‘игра на фортепьяно Игнация Падеревского пахнет красным’); *My only enemy is more noble-minded than he himself is* (‘Мой единственный враг более великодушен, чем он есть [на самом деле]’); *Czesław Miłosz is and is not American* (‘Чеслав Милош является и не является американцем’)¹³⁹. Нетрудно убедиться, что для каждой из этих фраз можно подыскать контекст (ситуацию), в котором они оказываются осмысленными. Более того: такого рода тексты провоцируют нас найти такую точку зрения (такую ситуацию), в фокусе которой бессмысленные на первый взгляд фразы получают смысл.

Для выражения *мыслящий тростник* нам даже не приходится стараться, т. е. специально подыскивать такой контекст или такую точку зрения: это выражение употребляет Паскаль, который именно таким образом определяет человека; по словам Паскаля, «человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий»¹⁴⁰ (на английский язык это выражение переводится как *a thinking cane* или *a thinking reed*). Ср. затем у Тютчева:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?¹⁴¹

Должны ли мы считать, что тексты Паскаля и Тютчева лишены смысла? Вряд ли какой-нибудь лингвист согласится с этим выводом, так же как не согласится с ним и носитель языка.

Автор цитированной статьи — известный польский логик — определяет приведенные им фразы как «абсурдные», замечая при этом: «Реальное существование объекта (референта) абсурдного выражения бессмысленно, поскольку „мать“ (mother) означает то же, что „женщина, родившая по меньшей мере одного ребенка“, тогда как „бездетная женщина“ (childless woman) означает то же, что „женщина, не родившая ни одного ребенка“. (...) Невозможно представить себе реальное существование „мыслящего тростника“ (a thinking cane), т. к. необходимым условием ментальной активности является мозг, которым не обладают растения. Сходным образом игра Игнация Падеревского на фортепьяно (Ignacy Paderewski's piano playing) не может пахнуть красным, поскольку запах исходит от объектов, а не от действий и кроме того красным может быть цвет, а не запах. (...) Аналогично мой единственный враг не может быть более великодушен, чем он есть, поскольку фраза „быть более великодушным, чем“ (is more noble-minded than) означает невозвратное отношение, как каждый предикат при сравнении. Наконец, невозможно существование недружественного друга (an unfriendly friend), как невозможно, чтобы Чеслав Милош был и не был американцем, поскольку в обоих случаях имеет место логическое противоречие»¹⁴². Надо полагать, что автор вполне сознательно приводит примеры, расходящиеся с языковой практикой.

На этом примере видно, насколько оторван логический подход к языку от его реального функционирования. Логик исходит

из мира, который должен быть в соответствии с его, логика, представлением о реальности¹⁴³. Лингвист исходит из мира, который может быть в соответствии с представлением какого бы то ни было носителя языка, т. е. из всех в принципе возможных ситуаций, которые вообще доступны воображению¹⁴⁴. При этом сам язык может моделировать такую действительность, которая кажется логике невозможной. Вместе с тем, если логик исходит из стабильных и фиксированных значений слов в языке, то лингвист готов к тому, что слова в тексте могут выступать в разных значениях, т. е. менять свой смысл. Так, например, если мы говорим, что Чеслав Милош является и не является американцем, то слово *американец* в первом и втором употреблении имеет разный смысл.

Вот что говорит в этой связи Ю. Д. Апресян: «Естественный язык универсален и, в частности, годен для выражения синтетически ложных (*Река течет в гору, Я могу почувствовать вашу боль*), бессмысленных (*Пустынное солнце садится в рассол*) или даже логически противоречивых утверждений типа *Холостяки бывают женаты, Петр поднимается с верхнего этажа на нижний, Я ее люблю и не люблю одновременно*. Такие предложения вовсе не обязательно описывают фантастический мир или фиксируют логический абсурд. Они вызываются к жизни и гораздо более ординарными ситуациями. Тот, кто бывал в горах, хорошо знаком с оптическим обманом, характерным для участков дороги, составляющих небольшой угол с руслом текущей вдоль дороги реки: кажется, что она течет вверх. Чистое логическое противоречие совершенно сознательно использовано Галилеем для характеристики винта („водяной улитки“) Архимеда; Галилей писал, что это изобретение „не только великолепно, но просто чудесно, поскольку мы видим, что вода поднимается в винте, непрерывно опускаясь“. С другой стороны, бессмысленные и логически противоречивые предложения широко используются в стилистических целях. Определенный класс бессмыслиц называется метафорой (*Кому жестоких звезд соленые приказы / В избушку дымную перенести дано* — О. Мандельштам), а логическое противоречие образует основу другой стилистической фигуры — оксюморона: *Блок ждал этой бури и встряски. / Ее огневые штрихи / Боязнь и жаждой развязки / Легли в его жизнь и стихи* (Б. Пастернак). Никакие из приведенных выше фраз не воспринимаются как языковые аномалии. Критерием того, что бессмысленная или логически противоречивая фраза правильна в языковом отношении, служит отсутствие в языке альтернативного способа выражения той же самой мысли, который воспринимался бы носителями языка как

более правильный. В частности, если говорящий хочет пошутить, то мысль, заключенную в предложении типа *Холостяки бывают женаты*, он не сможет выразить никаким менее аномальным способом: перифразы *Холостяки редко состоят в браке*, *Холостяки редко имеют жен* и т. п. столь же аномальны. С другой стороны, если говорящий передает странное восприятие мира (например, сознанием сумасшедшего) или описывает катастрофу, опрокинувшую дома вверх тормашками, у него может возникнуть потребность сказать *Петр поднимался с верхнего этажа на нижний*, и опять в распоряжении говорящего не будет никакого более правильного способа выражения этой мысли»¹⁴⁵.

Примечания

¹ Ср.: «Абстрактная ситуация ⟨...⟩ — это то общее, что есть у целой совокупности конкретных ситуаций, то представление, которое возникает у носителя языка при восприятии предложения, рассматриваемого безотносительно к какой-либо конкретной внеязыковой обстановке. На еще более высоком уровне абстракции находится типовая ситуация ⟨...⟩. Абстрактная ситуация и типовая ситуация относятся к сфере семантики языка, а конкретная ситуация — к сфере семантики речевого акта. Участниками конкретной ситуации являются реальные предметы действительности, участниками абстрактной ситуации — обобщенные представления о предметах (типа „чашка вообще“), участниками типовой ситуации — предметные переменные, или партиципаны. Таким образом, типовую ситуацию можно мыслить как класс абстрактных ситуаций, а абстрактную — как класс конкретных» (В. Успенский, 1977/2002, с. 431–432). Мы не считаем нужным различать абстрактные и типовые ситуации.

² Ср.: «Так называемая *эмотивная*, или экспрессивная, функция, фокусирующаяся на *адресанте*, имеет своей целью прямое выражение отношения говорящего к тому, о чем он говорит. Она призвана создать впечатление определенной эмоции, подлинной или притворной ⟨...⟩. Чисто эмотивный слой языка представлен междометиями. Они отличаются от средств референциального языка (*referential language*) как своим звуковым обликом (особыми звукосочетаниями или даже звуками, не встречающимися в других словах), так и синтаксической ролью (они являются не компонентами, а эквивалентами предложений)» (Jakobson, 1960/1981, с. 22 [Якобсон, 1975, с. 198–199]). Ср. об аномальной фонетике междометий: Живов и Успенский, 1973/1997, с. 64; Uspensky & Zhivov, 1977, с. 9–10.

³ Jakobson, 1959/1971, с. 493 [Якобсон, 1985а, с. 236]. Ср.: «Означающее — это то, что воспринимается, а означаемое — то, что понимается (the *signans* is perceptible, the *signatum* intelligible), или, в более конкретных и операционных терминах ⟨...⟩, то, что переводится (the *signatum* is translatable)» (Jakobson, 1959а/1971, с. 267). Такой подход соответствует пониманию Шеннона, согласно которому «информацию ⟨...⟩ можно определить как то, что остается инвариантным при любом перекодировании или переводе сообщений» (Shannon, 1951, с. 157). См. еще в этой связи: Мельчук, 1999, с. 10–11.

⁴ О принципиальной невозможности точного перевода с одного языка на другой писал Иоанн Экзарх Болгарский (болгарский книжник IX–X вв.) в предисловии к переводу Богословия Иоанна Дамаскина, отмечая, что каждый язык неизбежно накладывает свой отпечаток на передаваемое содержание: «Не бо равнѣ сѧ можетъ присно полагаѣти ѣлиньскѣ азъкъ въ инѣ прѣлагаемѣ. И всакомоу азъкоу въ инѣ прелагаемоу то же бываеѣтъ» (Калайдович, 1824, с. 131; Sadnik, I, с. 24).

⁵ Ср. слова Паскаля, вынесенные в эпиграф к настоящей главе: «Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Не мысли придают словам достоинство, а слова — мыслям» (Pascal, 1963, с. 600, № 789-50 [Паскаль, 1995, с. 24]).

⁶ В этом плане к сигналам близки императивные глагольные формы, которые в ряде случаев могут рассматриваться как типичные сигналы (как это имеет место, например, с военными командами).

⁷ Именно в этом смысле следует, по-видимому, понимать слова В. фон Вартбурга: «Мы говорим о владении языком, но в действительности язык владеет человеком» (Wir sprechen von eine Sprache beherrschen, aber in Wirklichkeit ist man von ihr beherrscht — Wartburg, 1943, с. 185). Ср.: «Язык — это форма, через которую мы познаем мир. Не существует теории познания, объективной и законченной, которая не обращалась бы к фактам языка. Не существует философии без лингвистики» (La langue est la forme par laquelle nous concevons le monde. Il n'y a pas de théorie de la connaissance, objective et définitive, sans recours aux faits de langue. Il n'y a pas de philosophie sans linguistique — Hjelmslev, 1949, с. 151; ср.: Pisani, 1953, с. 23).

⁸ Не случайно так трудно бывает определить слова. Работа лексикографа, как и работа переводчика, в принципе искусственна — она противоречит естественным речевым навыкам. Работа лексикографа искусственна потому, что мы, когда говорим, не исходим из заранее данного (фиксированного) определения слова, в частности, из совокупности семантических признаков, определяющих значение слова: те или иные признаки актуализируются в процессе речи — в интересующем нас контексте (ситуации). Работа переводчика искусственна потому, что мы, когда гово-

рим, не исходя из заранее заданного (фиксированного) смысла, который уже выражен в тексте (как это делает переводчик).

⁹ Принято думать, что различие между языковой и сигнальной коммуникацией определяет разницу между человеком как *homo sapiens* и животными, коммуникация которых имеет, как предполагается, сигнальный характер (см., в частности: Лурия, 1998, с. 12–16, 29–30).

Заметим также, что это различие определяет, по-видимому, разницу между магией и религией: в случае магии используется сигнальная коммуникация, тогда как религия предполагает языковую коммуникацию; в обоих случаях имеет место общение с высшими силами, но характер коммуникации оказывается различным.

¹⁰ Наличие пробелов между словами — относительно новое явление. Пробелы впервые появляются в VII–VIII вв. в Англии и Ирландии и становятся общепринятыми в Западной Европе лишь к XIV в. (см.: Saenger, 1997). В русских рукописях сплошное письмо (*scriptio continua*) господствует почти до XVIII в., хотя с XVI в., с распространением книгопечатания, в некоторых рукописях изредка наблюдается раздельное написание слов (см.: Карский, 1928, с. 236); при этом раздельное написание в печатных книгах было обусловлено западным влиянием. Таким образом, книгопечатание явилось на Руси существенным фактором, определившим в конце концов новую манеру письма.

Последовательное введение пробелов между словами изменило психологический процесс чтения и сделало возможным чтение про себя; между тем ранее для того, чтобы понять текст, необходимо было прочесть его вслух (Saenger, 1997, с. 6–9; ср.: Saenger, 1982). Августин (“Исповедь”, VI, 3) с удивлением говорит о способности Амвросия Медиоланского читать про себя: «Когда он читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему (...), я заставал его (...) за этим тихим чтением» (Augustinus, 1981, с. 75 [Августин, 1991, с. 146]); чтение про себя было в эту эпоху исключительным явлением. Равным образом и написание текста в свое время предполагало произнесение его вслух: в Средние века «письмо было интеллектуальным искусством, использующим прежде всего уста, а не руку» (letter writing was (...) an intellectual skill using the mouth rather than the hand — Clanchy, 1979, с. 219; Гиппиус, 2004, с. 208); соответственно, писцы, копировавшие рукописи, произносили переписываемый текст (см.: Wevers, 1972; ср. также: Grayson, 2002). Лишь в Новое время чтение без шевеления губами становится престижным на Западе (см.: Chartier, 1989, с. 124–127).

Вместе с тем введение пробелов способствовало, по-видимому, новому методу обучения чтению — буквослагательный метод (чтение по складам) заменяется на побуквенный (фонетический); в России новый метод появляется лишь во второй половине XVIII в. и связан с обучением

русскому языку, которое противопоставляется обучению языку церковнославянскому (см.: Успенский, 1970/1997). Старый, буквослагательный метод, когда произносились названия букв, которые постепенно преобразовывались в звуковые сочетания, был в какой-то мере обусловлен именно отсутствием пробелов: при таком чтении смысл неожиданно для читающего появляется из глоссолалического текста, представляя как откровение.

¹¹ См.: Соссюр, 1977, с. 120–122, 128, 139.

¹² «There is one way not noticed by De Saussure in which language is not like a chess game. In a chess game, we know the rules ⟨...⟩. But language is more like a game in which we are trying to deduce the rules by watching the games» (Greenberg, 1971, с. 344).

¹³ Толстой, VIII, с. 424–425.

¹⁴ См.: Толстая, I, с. 481–482; Кузминская, 1925, с. 117. Л. С. Выготский, который рассматривает этот эпизод в “Мышлении и речи”, считает, что объяснение в любви Левина и Кити «имеет совершенно исключительное психологическое значение» (Выготский, 1934, с. 294–295).

¹⁵ См.: Успенский, 1976/1996, с. 71–73.

¹⁶ См. подробнее: Успенский, 1988–1989/1996, с. 11–15; Успенский, 1998, с. 6–8; Успенский, 2000, с. 32–33.

¹⁷ См.: Jakobson, 1961/1971, с. 575–576 [Якобсон, 1965, с. 440]; Jakobson, 1962/1971, с. 278 [Якобсон, 1965а, с. 401]; Успенский, 1967/1997, с. 17–18.

¹⁸ Ср., например, у Якобсона: «Если я говорю *he did* (‘он делал’), для того чтобы понять это сообщение, вы должны знать значения слов *he* (‘он’) и *did* (‘делал’), т. е. знать и понимать лексические значения английских слов и их грамматическую форму (например, *did* в отличие от *does*), а также синтаксические правила, определяющие их объединение (*he did* в отличие от *did he*). Короче, вы должны владеть общим с говорящим кодом так, чтобы слыша его сообщение, вы могли идентифицировать составляющие сообщение элементы с соответствующими единицами кода. Мы вправе, таким образом, определить деятельность говорящего как кодирование, деятельность слушающего — как декодирование (define the addresser as an encoder and the addressee as a decoder)» (Jakobson, 1955/1971, с. 232–233 [Якобсон, 1983, с. 139–140]). Или в другом месте: «процесс кодирования идет от значения к звуку и от лексико-грамматического к фонологическому уровню, тогда как процесс декодирования идет в обратном направлении — от звука к значению и от признаков к символам» (Jakobson, 1961/1971, с. 575 [Якобсон, 1965, с. 440]).

Ср. еще: «Для того чтобы понять, что он слышит, слушатель иногда должен произвести синтаксический анализ предложения, т. е. выявить его грамматическую организацию, — примерно так же, как это делает грамма-

тист» (In order to understand what he hears, a hearer sometimes has to *parse* a sentence — that is discover its grammatical organization — in much the same way a grammarian parses it — Hockett, 1961, с. 221 [Хоккет, 1965, с. 141]).

¹⁹ Сказанное, между прочим, находит выражение в восприятии иностранной речи. Хорошо известно, что при говорении на иностранном языке особое значение придает правильному произношению, грамматическая же правильность — как это ни странно — оказывается менее важной. Действительно, иностранец, говорящий без акцента, может восприниматься как носитель языка, даже если в его речи есть грамматические ошибки: они могут не замечаться. Напротив, иностранец, говорящий на нашем языке совершенно правильно, но при этом с иностранным акцентом, никогда так не воспринимается. Понятно, почему так существенно отсутствие акцента: акцент препятствует опознанию языковой формы. Но почему в этом случае могут игнорироваться отклонения от грамматики? Это можно объяснить тем, что, осуществив идентификацию отдельных языковых форм, слушатель сам достраивает грамматическую связь между ними, т. е. он сам строит предложение независимо от того, что он слышит (грамматически связывая опознанные им слова).

²⁰ Стремление поставить себя на место говорящего представляется вообще достаточно естественным. Формулируя свой метод исторического описания, Фукидид писал: «Что касается речей, произнесенных отдельными лицами (<...>), то для меня трудно было запомнить сказанное в этих речах со всею точностью, как то, что я слышал сам, так и то, что передавали мне с разных сторон другие. Речи составлены у меня так, как, по моему мнению, каждый оратор, сообразуясь всегда с обстоятельствами данного момента, скорее всего мог говорить о настоящем положении дел ...» («История Пелопоннесской войны», кн. I, 22, см.: Фукидид, I, с. 16).

²¹ Сама по себе ситуация может иметь абстрактный характер (выше мы различали абстрактные и конкретные ситуации, см. § I-1), однако она конкретна как объект референции.

²² Понятия контекста и ситуации оказываются таким образом непосредственно связанными. Отсюда некоторые авторы предпочитают говорить о «контексте ситуации» (Malinowski, 1930, с. 306–309; Firth, 1935/1957, с. 27–32; Firth, 1937, с. 126–130; Firth, 1948/1957, с. 144; Firth, 1950/1957, с. 182; Firth, 1951/1957, с. 226, 228).

²³ См.: Кацнельсон, 1947, с. 311–312. Как отмечает Sommerfelt, в языке аранта «слова практически недоступны пониманию, если не знать ситуации, в которой они произнесены» (Sommerfelt, 1938, с. 124–125); ср. аналогичные наблюдения Малиновского (Malinowski, 1930, с. 301, 306; Malinowski, II, с. 23–28).

²⁴ Для простоты картины мы будем говорить об общении ребенка с матерью, отвлекаясь от случаев, когда мать замещается каким-то другим

лицом, например няней. Характерно, что в русском языке няня может называться *мама*, а также *мамка*, *мамушка* (Даль, II, с. 770).

²⁵ Ср.: «Может показаться, что язык маленького ребенка начинается с „гуления“, с тех звуков, которые ребенок произносит в младенческом возрасте, и что развитие языка есть лишь прямое продолжение этих первоначальных звуков. Так думали многие поколения психологов. Однако это неверно. „Гуление“ есть <...> выражение состояния ребенка, а вовсе не обозначение предметов, и характерным является тот факт, что звуки, которые рождаются в „гулении“, дальше не закрепляются в речи ребенка. Первые слова ребенка часто отличаются фонематической структурой от „гуления“ младенца. Более того, нужно даже затормозить биологические звуки, возникающие при „гулении“, чтобы ребенок мог выработать те звуки, которые входят в систему языка. Мы можем привести один пример, иллюстрирующий это положение. Часто думали, что произвольные движения ребенка рождаются из элементарных рефлексов, например хватательного рефлекса. Известно, что у младенца нескольких дней от роду можно наблюдать такой выраженный хватательный рефлекс, что можно даже поднять ребенка, держащегося за пальцы взрослого, которые он рефлекторно схватывает. Однако было показано, что этот хватательный рефлекс ни в какой мере не может быть понят как прототип будущих произвольных движений. Наоборот, нужно, чтобы хватательный рефлекс был заторможен, и только тогда появляется произвольное движение. Хватательный рефлекс — это подкорковый акт; произвольное движение регулируется корой больших полушарий; оно имеет совсем другой генезис и появляется только тогда, когда хватательный рефлекс заторможен, когда на смену ему приходит формирование корково-подкорковых связей» (Лурия, 1998, с. 35–36).

²⁶ Это явление было отмечено и описано уже античными грамматиками, прежде всего Варроном (см.: Neraeus, 1903). Помпоний Порфирион (III в. н. э.) в своем комментарии к сатирам Горация (к глаголу *balbutire* ‘лепетать’ в 3-ей сатире 1-ой книги, стих 47) говорит об обычае взрослых имитировать детскую речь при разговоре с маленькими детьми: «*balbutit: sic enim blandientes infantibus infringere linguam solent, ut quasi eos imitentur*» (‘*лепечет*: так, угождая детям, люди обычно ломают язык, как бы им [детям] подражая’ (Poghrugio, 1874, с. 203).

²⁷ О детских словах во французском языке см.: Bauche, 1951, с. 71, в арабском языке — Ferguson, 1956, с. 120, в команчском языке (нито-ацтекская языковая семья) — Casagrande, 1948, в языке нутка (вакашская языковая семья) — Sapir, 1929 и Kess & Kess, 1986. См. также: Ferguson, 1964.

²⁸ Редупликация в детских словах имитирует повторы (слов и слов), обычные для сбивчивой детской речи. Такого рода прием перево-

дит повторы из явления речи в явление языка, что должно помочь ребенку выражаться более четко — в самом деле, будучи закреплены в детских словах, повторы становятся явлением стабильной формы, а не хаотического процесса. Ср. французские детские слова, образующиеся повторением первого слога обычного слова французского языка (которые употребляют взрослые при общении друг с другом): *mémère* (из *mère* ‘мать’), *pépère* (из *père* ‘отец’), *fifille* (из *fille* ‘дочь’), *sesœur* (из *sœur* ‘сестра’) и т. п. (см.: Förster, 1898; Heraeus, 1903, с. 150, примеч. 1); выше (см.: **Глава I**, примеч. 99) мы уже цитировали слово *papatte* (из *patte* ‘лапа’). Полагают, что одно из таких слов могло отразиться в латинской надписи эпохи Меровингов в Галлии: мы находим здесь форму *fifilia*, которая может представлять собой детское слово, образованное из лат. *filia* ‘дочь’ (см.: Heraeus, 1903, с. 150, примеч. 1; ср. изд.: Pirson, 1901, с. 114).

Особый случай представляет собой повторение односложных слов, которое может в какой-то мере отражать речь взрослых, обращенную к ребенку и поощряющую его совершить какое-то действие. Так, например, французское слово *bonbon* ‘конфета’ восходит, вероятно, к слову *bon* ‘хорошо’, которое несколько раз говорят ребенку, побуждая его взять лакомство; ср. также *joujou* ‘игрушка’, восходящее к *joue* ‘играй’ и т. п. (см.: Förster, 1898, с. 269).

²⁹ Подобно междометиям и так называемым подзывным словам (служащим для обращения к животным) детские слова могут характеризоваться фонетической аномальностью (см.: Живов и Успенский, 1973/1997; Uspensky & Zhivov, 1977).

Ломоносов в “Российской грамматике” (§§ 21–22) специально отмечал наличие в русском языке особой «согласной, которую для останова конского произносят», т. е. билабиального [г] в слове *тпру* (Ломоносов, VII, с. 400–401).

³⁰ См.: Фасмер, I, с. 561; Фасмер, IV, с. 26, 54; Трубачев, 1959, с. 85.

³¹ См.: Ferguson, 1977. Ср. примеры французских детских слов, которые мы приводили выше (примеч. 28).

³² См.: Фасмер, I, с. 261. Ср.: Лотман и Успенский, 1973/1996, с. 438.

³³ В настоящее время слово *nana* произносится с ударением на первом слоге (*nána*), но еще относительно недавно в дворянской среде существовало вариантное произношение с ударением на последнем слоге (*naná*), причем в этом последнем случае слово не склонялось; форма с ударением на первом слоге (склоняемая) восходит к польскому, форма с ударением на последнем слоге (несклоняемая) — к французскому; первая форма была усвоена через украинско-белорусское, вторая — через немецкое посредство (см.: Трубецкой, 1927/1995, с. 191, примеч. 1). Таким образом, *nana* в значении ‘отец’ может считаться заимствованием; существенно при этом, что данное заимствование было усвоено как

детское слово. Форма *nána* с ударением на первом слоге известно и в диалектах, но здесь она выступает как наименование дедушки, тестя, свекра, бабушки (СРНГ, XXV, с. 203).

Равным образом дворяне могли произносить *amá* (не склоняя это слово) — так, например, говорят Николай и Наташа Ростовы в “Войне и мире” Толстого (т. II, ч. I, гл. 14, ч. IV, гл. 10, 12 — Толстой, V, с. 59, 282, 293) или Лиза в “Бесах” Достоевского (ч. I, гл. 5, §§ 3, 7 — Достоевский, X, с. 131, 157); такую же форму встречаем в письме Александра II к сыну Николаю от 8/20 декабря 1864 г. (Лейбов и Осповат, 2003, с. 482). В воспоминаниях М. О. Игнатченко (дочери писателя О. В. Волкова) это слово передается как *tamá* (Игнатченко, 2001, с. 509). По сообщению (устному) Е. В. Волконской (дочери кн. Вадима Григорьевича Волконского и Елены Петровны Столыпиной), родившейся в 1924 г. и выросшей в эмиграции, в ее кругу принято было говорить *naná* и *amá*, тогда как произношение *nána* и *máma* считалось вульгарным; что же касается произношения с носовым (*taman*), то оно в русской речи звучало манерно.

Произношение слов *nana* и *мама* имело, таким образом, сходную судьбу.

Отметим, что несклоняемые формы *naná* и *amá*, восходящие к французскому языку, обнаруживают бóльшую близость к детским словам, чем склоняемые *nána* и *máma*. В самом деле, несклоняемость — характеристика детского языка, а также иностранных слов; в данном случае одно сближается с другим.

³⁴ Первоначально ребенок соотносит слово с предметом лишь в конкретной ситуации: он не узнает слова, если он меняет положение или же если это слово произносится другим человеком (см.: Лурия, 1998, с. 58–59). «На ранних этапах развития ребенка (...) слово имеет аморфную структуру и диффузное значение, меняя предметную отнесенность в зависимости от ситуации. Так, слово *тпру* у ребенка начала второго года жизни может означать и ‘лошадь’, и ‘тележка’, и ‘остановись’, и ‘поезжай’, приобретая свое значение в зависимости от ситуации, в которой оно произносилось. (...) Один из немецких классических психологов Штумпф [С. Stumpf] наблюдал за своим сыном, который называл утку *га-га*. Однако оказалось, что словом *га-га* называлась не только утка; этим словом называлась и вода, в которой плавает утка, и монета, на которой изображен орел. Таким образом, это слово относилось ко всему, что имеет отношение к птице, ко всей ситуации, в которой она может встречаться. (...) Л. И. Божович (...) сделал подобное же наблюдение. Маленький ребенок называл словом *кха* кошку (в соответствии с начальными звуками этого слова), и казалось бы, оно имеет прочную предметную отнесенность. Однако при внимательном наблюдении оказалось, что слово *кха* этот ребенок употребляет не только по отношению к кошке, но, например, по

отношению к любому меху (близкому к меху кошки), по отношению к царапине, к острому камню (по связи с кошкой, которая его оцарапала) и т. д. Следовательно, на ранних этапах развития значение слова еще аморфно, оно не имеет устойчивой предметной отнесенности; оно очень диффузно и, обозначая лишь определенный признак, относится к разным предметам, которые имеют этот общий признак и входят в соответствующую ситуацию» (там же, с. 60–62). Добавим, что эти признаки транзитивны: ребенок называет предмет, каждый раз переходя от ассоциации к ассоциации (ср.: *Глава I*, примеч. 13).

В дальнейшем, соотнося ситуации, ребенок усваивает абстрактные значения слова.

³⁵ Улыбка матери первоначально вызывает сопереживание ребенка, заражает его, и он улыбается. В дальнейшем улыбка становится манипулируемым знаком.

Улыбка усваивается ребенком через имитацию. Первоначально ребенок меняет выражения лица, одно из которых опознается матерью как улыбка. Она улыбается ему в ответ, и ее улыбка имеет двойную функцию: она улыбается, потому что она рада улыбке ребенка, и вместе с тем она поощряет его улыбаться (в сущности, учит его улыбке). Она как бы подражает ему, тогда как он подражает ей (подобно тому, как это происходит и при обучении речи, см. ниже, примеч. 37). Заметим, что ребенка не приходится учить плакать (он начинает плакать с самого начала своего появления на свет, и если ребенок не плачет, он не считается нормальным), при том что его учат улыбаться. Таким образом, плач предстает как явление природы, улыбка — как явление культуры.

³⁶ Ср.: Jakobson, 1941/1962, с. 331; Jakobson, 1960/1962, с. 538.

³⁷ Новорожденный ребенок порождает самые разнообразные звуки: он потенциально открыт для усвоения любой фонологической системы (см.: Jakobson, 1949/1962, с. 317 [Якобсон, 1972а, с. 247]). Мать пытается опознать звуки, присущие ее произношению (которые репрезентируют фонемы ее языка), и понуждает ребенка произносить именно эти звуки. В то же время ребенок пытается имитировать речевую деятельность своей матери: если она имитирует его, то он имитирует ее.

³⁸ До этого способность различать слова в отдельных случаях может не сказываться на речи ребенка, т. е. ребенок может различать слова в речи других людей, не воспроизводя это различие в своей собственной речи. Якобсон упоминает о сербском мальчике, который говорил *tata* вместо *kaka*, различая при этом на слух слова *tata* и *kaka*; о французском ребенке, который произносил *tosson* вместо *garçon* ‘мальчик’ и *cochon* ‘свинья’, но сердился, когда мать, подражая ему, не делала различия в произношении этих двух слов (см.: Jakobson, 1949/1962, с. 318 [Якобсон,

1972а, с. 247]). Автор этих строк помнит, как он в детстве говорил *мама* вместо *Маиша* и на определенном этапе осознал, что одно и то же слово относится в его речи к двум разным лицам. Такого рода смешение слов объясняется некритическим отношением окружающих к речи ребенка — их готовностью узнавать то или иное слово вне зависимости от того, как оно было произнесено.

Таким образом, способность правильно понимать в каких-то случаях может опережать умение правильно говорить. При всем том усилия ребенка направлены прежде всего на порождение речи: ребенок стремится говорить правильно, но не способен еще на этом этапе контролировать свою речевую деятельность.

³⁹ Следуя общеупотребительной, хотя и неточной терминологии, в дальнейшем мы будем называть «животными» представителей животного мира, отличая их от человека.

⁴⁰ Так, например, у многих видов птиц пение, присущее данному виду, является врожденным, поскольку оно более или менее нормально развивается у птенца, изолированного от звуков (см.: Lorenz, 1977, с. 126–127, 197–198 [Лоренц, 1998, с. 328–329, 381–382]). Ср.: «Птицы, например зяблики, если они совершенно изолированы от всех других птиц еще до того, как вылупиться из яйца, и если при этом сразу же по вылуплении они лишаются органов слуха, тем не менее поют в соответствии с шаблоном, свойственным данному виду, и даже на „диалекте“ соответствующего подвида. Это поистине врожденная способность. (...) Если поместить птенца соловья среди птиц другого вида, он все же будет придерживаться врожденной модели пения, никак не адаптируясь к новому окружению. Совершенно иначе обстоит дело с людьми. Если ребенка лишит общения с взрослыми, он не будет говорить, не обнаруживая никаких следов языковых навыков своих предков. Что они [люди] получили в наследство от предков как своего рода биологический дар, так это способность выучить язык при наличии какого-то образца» (Jakobson, 1972/1985, с. 106–107; ср.: Thorpe, 1961, с. 72–75).

Вместе с тем пение зябликов, выросших в изоляции и никогда не слышавших пения другой птицы, совпадая с ним по общим характеристикам (таким, как долгота звучания и частотный диапазон), является рудиментарным, неструктурированным. Для того чтобы пение стало нормальным, птенцы должны услышать пение взрослой птицы. Существенно при этом, что речь не идет, по-видимому, об обучении как таковом (предполагающем взаимодействие обучающего и обучаемого): молодые птицы будут петь нормально, даже если они слышали пение взрослой птицы несколькими месяцами раньше (см.: Thorpe, 1958; Catchpole & Slater, 1995, с. 46–47). Таким образом, фенотип может формироваться у животных не только на базе генотипа, но и на определенной традиции, однако

сам характер овладения традицией оказывается, по-видимому, генетически закодированным.

Если у пеночек (пеночка-трещотка, *Phylloscopus sibilatrix*; пеночка-теньковка, *Phylloscopus collybita*) и ряда других певчих птиц нормальная видовая песня складывается сама, независимо от влияния других птиц, то у буроголовой и черноголовой гаичек (*Parus montanus*, *Parus atricapillus*) из двух типов песни, имеющих в репертуаре вида, один является полностью врожденным и развивается в условиях изоляции, второй выучивается у отца и ближайших территориальных соседей молодой особи (см.: Бёме, 2006). Важно отметить, что в обоих случаях видовое пение оказывается — в той или иной степени — врожденным. Автор благодарен В. С. Фридману за консультации по данному вопросу.

⁴¹ На втором году жизни (в возрасте 17–20 месяцев) у человека созревают области головного мозга, связанные с восприятием речи, а именно, происходит формирование специфических нервных связей в так называемых областях Брока и Вернике в левом полушарии мозга. Область Брока является центром моторных образов слова (т. е. связана с его артикуляцией), область Вернике — центром сенсорных образов (т. е. связана с восприятием слова).

⁴² Именно развитие речи способствует, по-видимому, утрате этой связи (см.: Успенский, 1996, с. 6).

⁴³ Характерно, что маленький ребенок способен воспринимать фразы, произнесенные на разных языках, правильно на них реагируя. Ср. известное наблюдение: французского ребенка конца первого — начала второго года жизни спрашивают по-французски *Où est la fenêtre?*, и он поворачивается к окну. Когда задается тот же вопрос (с аналогичной интонацией) на незнакомом ему немецком языке (*Wo ist das Fenster?*), результат оказывается тем же. Очевидно, что ребенок реагирует при этом не на слова как таковые (которые он может не понимать), а на их интонацию и на ситуацию, в которой они применяются (см.: Лурия, 1998, с. 59).

Маленькие дети и животные могут «понимать» больше, чем они могут выразить, — постольку, поскольку в данном случае имеет место не сознательное, а рефлекторное восприятие. В настоящей работе под пониманием имеется в виду восприятие смысла в условиях языковой коммуникации (см. выше, § I-2); таким образом, говоря о понимании, мы не имеем в виду рефлекторное поведение.

⁴⁴ Ср.: «Строго говоря, способность к подражанию встречается, кроме человека, лишь у некоторых птиц, прежде всего у певчих птиц и попугаев, у которых она, впрочем, ограничивается узкими рамками воспроизведения звуков. Правда, способность обезьян к подражанию вошла в поговорку, так что „aping“ [букв.: ‘обезьянничание’] означает по-англий-

ски просто ‘точнейшее подражание’. Но даже у человекообразных обезьян точное повторение воспринятого процесса движения наблюдается лишь в зачаточной форме и по своей точности не идет ни в какое сравнение с соответствующими способностями птиц. Правда, шимпанзе сразу же понимает смысл процесса, когда, например, видит, как человек пользуется ключом, чтобы открыть дверь, и подражает ему в этом, пытаясь сделать то же, — что после некоторых попыток ему и удается. Но именно то, что мы называем ‘обезьянничанием’, т. е. повторение некоторого движения или выражения лица ради одного только подражания, насколько мне известно, встречается у обезьян лишь в слабой, зачаточной форме. Между тем человеческие дети — и, замечательным образом, уже упомянутые птицы — вполне определенно это делают. Социальным психологам достоверно известно, что дети повторяют движения взрослых с величайшей точностью просто ради удовольствия, доставляемого подражанием, причем задолго до того, как начинают понимать смысл и назначение соответствующих шаблонов поведения. (...) У человека именно точность подражания выразительным движениям и звукам имеет величайшее общественное значение, поскольку детали произношения и манер, общие некоторой группе, являются предпосылками ‘сцепления’ [Kohäsion], групповой связи» (Logenz, 1977, с. 195–196 [Лоренц, 1998, с. 380–381]).

К этому следует добавить, что дети подражают взрослым, поскольку поведение взрослых авторитетно: на определенном этапе они хотят быть как взрослые и, соответственно, играют роль взрослых. При этом имеет место очевидная семиотизация поведения: поведение взрослых усваивается постольку, поскольку оно оказывается знаком социального престижа.

⁴⁵ Ср.: «... Ткачик, *Quelia* [вид птицы], может выполнять все сложное движение, служащее для закрепления на ветке соломинки при постройке гнезда, даже при отсутствии соломинки или какого-нибудь подобного предмета. Это поведение выглядит так, как будто птица ‘галлюцинирует’ отсутствующий предмет. Выполнение наследственной координации, рассматриваемое само по себе, не есть когнитивный процесс. Содержащееся в ней готовое к употреблению моторное умение находится в распоряжении животного как хорошо сконструированное орудие, и чем более специализировано это орудие, тем уже область его применения. Есть врожденные координации общего назначения, как, например, координации перемены места, грызения, чесания, долбления и т. д., и есть другие, в высшей степени специализированные для определенной функции, как, например, уже упомянутое связывающее движение ткачика [для постройки гнезда] или многие формы поведения при токовании и оплодотворении. Именно в этих врожденных координациях, дифференцированных для вполне определенных функций, наиболее отчетливо проявля-

ется их точно приспособленная жесткость, их полная независимость от какого-либо обучения. Даже опытный этолог снова и снова удивляется, видя, как только что выращенное молодое животное, о котором достоверно известно, что оно не могло получить информацию из собственного опыта, впервые демонстрирует такую последовательность поведения во всей ее целесообразности и совершенстве. Оскар Гейнрот [Heinroth] описывает, как выращенный из яйца и едва научившийся летать ястреб поймал в воздухе фазана, пытавшегося перелететь со стола на подоконник, и прежде чем смог вмешаться его воспитатель, уселся с уже убитой добычей на шкаф. (...) В действительности соединение моторного умения и точного „знания“ ситуации, в которой это умение должно быть применено, предполагает огромную массу врожденной информации» (Lorenz, 1977, с. 79–80 [Лоренц, 1998, с. 293–294]).

⁴⁶ Ср.: «Животное рождается с готовой инстинктивной программой, которая лишь в частных случаях „улучшается“ на протяжении жизни особи, но передается дальше по эстафете поколений практически в первоначальном виде. Психику новорожденного человека легко уподобить чистому листу бумаги, который, однако, может быть исписан в дальнейшем мириадами совершенно новых письмен. (...) Именно эта способность формировать новые планы деятельности и с помощью языка передавать их без всяких купюр по очереди поколений позволила человеку нарушить монотонность поступательного развития органического мира и вступить на принципиально новый путь ускоряющейся эволюции сознания» (Панов, 1980, с. 43).

⁴⁷ Можно предположить, что люди вели бы себя иначе, если бы убийца мог каждый раз видеть искаженное от ужаса лицо своей жертвы, т. е. если бы в распоряжении людей не было оружия, позволяющего убивать на расстоянии. Изобретение дальнобойного и в особенности огнестрельного оружия превращает убийство в интеллектуальный акт, в принципе устраняя возможность эмоционального сопереживания.

⁴⁸ Интеллектуальное поведение, в отличие от рефлекторного, предполагает сознательный выбор действия.

⁴⁹ См.: Lorenz, 1977, с. 197 и сл. [Лоренц, 1998, с. 381 и сл.].

⁵⁰ Ср.: «Если язык человека обозначает вещи или действия, свойства, отношения и передает таким образом объективную информацию, перерабатывая ее, то естественный „язык“ животных не обозначает постоянной вещи, признака, свойства, отношения, а лишь выражает состояние или переживания животного. Поэтому он не передает объективную информацию, а лишь насыщает ее теми же переживаниями, которые наблюдаются у животного в то время, когда оно испускает звук (как это наблюдается у вожака стаи журавлей или стада оленей) и производит из-

вестное, обусловленное аффектом, движение. Журавль переживает тревогу, эта тревога проявляется в его крике, а этот крик возбуждает целую стаю. Олень, реагирующий на опасность поднятием ушей, поворотом головы, напряжением мышц тела и бегом, криком, выражает этим свое состояние, а остальные животные „заражаются“ этим состоянием, вовлекаясь в его переживание. Следовательно, сигнал животного есть выражение аффективного состояния (...), вовлечение в него других животных, и не больше» (Лурия, 1998, с. 29–30; более точно было бы говорить не о сигналах, а о симптомах, которые воспринимаются как сигналы). Нечто похожее происходит с девичьим визгом как выражением испуга: визг испуганной девочки (или девушки) как бы заражает других, которые мгновенно начинают испытывать ту же эмоцию; в результате девочки непроизвольно начинают визжать все вместе (характерным образом визг представляет собой специфическую особенность женщин, мужчины не способны производить подобный звук). Подобные механизмы коммуникации, как кажется, задействованы в музыке.

Животные не могут, по-видимому, передавать информацию вне связи с конкретной ситуацией; напротив, определенная ситуация заставляет их совершать действие, которое служит сигналом для других животных. «„Язык“ животных, следовательно, не является средством обозначения предметов и абстрагирования свойств и поэтому ни в какой мере не может рассматриваться как средство, формирующее отвлеченное мышление. Он является лишь путем к созданию очень сложных форм аффективного общения. Таким образом, человек отличается от животных наличием языка как системы кодов, обозначающих предметы и их отношения, с помощью которых предметы вводятся в известные системы или категории. Эта система кодов ведет к формированию отвлеченного мышления, к формированию „категориального“ сознания» (Лурия, 1998, с. 30–31).

⁵¹ Ср. данные, говорящие о способности человекообразных обезьян узнавать себя в зеркале, а также оценивать состояние и намерения других особей, как бы ставя себя на их место (Зорина и Смирнова, 2006, с. 49, 99, 110).

⁵² При этом особое внимание, как мы видели, уделяется произношению. Это внимание к фонетике проявляется, между прочим, в восприятии иностранной речи, о котором мы говорили выше (см. примеч. 19).

⁵³ Обычно нужное решение подсказывается нам синтаксическими правилами, т. е. другими словами, находящимися в синтаксической связи с данным, но так происходит не всегда: в случае каламбура остается возможность двоякого прочтения текста.

⁵⁴ Речь идет, разумеется, о первом этапе освоения языка (когда овладевают его основами).

⁵⁵ Ломковская, Падучева и Успенский, 1964/2002, с. 337–338.

⁵⁶ Ср. в этой связи: Успенский, 1967/1997, с. 9–10.

⁵⁷ См. вообще об автокоммуникации как основе когнитивного мышления: *Глава I*, § I-1.

⁵⁸ См. вообще о явлении остранения: Шкловский, 1919/1929, с. 13–20; Успенский, 1970/2000, с. 217.

⁵⁹ Мы не имеем в виду те области языкознания, которые описывают искусственные языковые процессы, обусловленные сознательным влиянием носителя языка на языковую деятельность; таковы стилистика и описание литературного языка. Здесь понятие нормы вполне правомерно, и мы постоянно задаемся вопросом «можно ли так сказать?». См. в этой связи определение нормы литературного языка: Успенский, 1987/2002, с. 8–19.

⁶⁰ Апресян, 1988/1995, с. 220; ср.: Маслов, 1948, с. 304 (или: Маслов, 1984/2004, с. 73). Пример принадлежит Ю. Д. Апресяну; Ю. С. Маслов приводит другие, аналогичные примеры, которые мы обсуждаем на с. 139 наст. изд.).

⁶¹ Маслов, 1948, с. 304 (или: Маслов, 1984/2004, с. 73).

⁶² Солженицын, II, с. 303.

⁶³ См.: Тестелец, 2001, с. 260–261. Здесь же фигурирует рассматриваемый нами пример из Солженицына — Я. Г. Тестелец приводит его как исключение к сформулированному им правилу.

⁶⁴ Нарративный сдвиг (изменение нарративной перспективы) в пределах одной фразы представляет собой достаточно частое явление и в определенных случаях может даже диктоваться грамматикой языка. См. анализ подобных случаев: Успенский, 1970/2000, с. 68–73; Успенский, 2011, с. 12–14 (§ 2.2); ср. также выше, *Глава I*, примеч. 20.

⁶⁵ Stevenson, VI, с. 295–296; Стивенсон, IV, с. 236–237.

⁶⁶ Aruleius, II, с. 294 [Апулей, 1956, с. 234].

⁶⁷ Тихомиров и Щепкина, 1952, с. 9, 26–27.

⁶⁸ Гиппиус, 2004, с. 191.

⁶⁹ Любопытную параллель с аналогичным чередованием 2-го и 3-го лица находим в «Старой записной книжке» П. А. Вяземского. Ср.: «Однажды ехал он [кн. И. А. Голицын] в коляске с великим князем [Константином Павловичем], и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось. „Осмелюсь заметить, — сказал он, — и доложить вашему императорскому высочеству, что если малейший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело его императорского высочества великого князя Константина Павловича“. — „А Михель?“ —

спросил великий князь (Михель был главный вагонмейстер при дворе великого князя). — „Примемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего императорского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет“» (Вяземский, 1929, с. 74). Как видим, собеседник великого князя обращается к нему, употребляя местоименную форму 2-го лица (и называет его *ваше императорское высочество*); однако, описывая ситуацию, когда великого князя не будет в живых, он относится к нему в 3-м лице (и называет его *его императорское высочество*).

⁷⁰ Ср. выше, *Глава I*, примеч. 184, об отождествлении себя с собственным именем.

⁷¹ Платон, II, с. 160.

⁷² См.: Апресян, 1986/2005, с. 643; Падучева, 2008, с. 276.

⁷³ Ср. более полный контекст, где местоимение 3-го лица (*somebody*) регулярно чередуется с местоимением 1-го лица (по отношению к тому же человеку): «Somebody was smoking. We were all smoking. I was smoking, and trying to suppress a rising tendency to shudder [и в этом случае местоимение somebody, несомненно, относится к самому герою, который курит впервые в жизни] (...) Somebody was leaning out of my bedroom window, refreshing his forehead against the cool stone of the parapet, and feeling the air upon his face. It was myself. I was addressing myself as “Copperfield”, and saying, “Why did you try to smoke? You might have known you couldn’t do it.” Now, somebody was unsteadily contemplating his features in the looking-glass. That was I too. I was very pale in the looking-glass; my eyes had a vacant appearance; and my hair — only my hair, nothing else — looked drunk (...) Near the bottom, somebody fell, and rolled down. Somebody else said it was Copperfield. I was angry at that false report, until, finding myself on my back in the passage, I began to think there might be some foundation for it (...) Then I was being ushered into one of these boxes, and found myself saying something as I sat down, and people about me crying “Silence!” to somebody, and ladies casting indignant glances at me (...) How somebody, lying in my bed, lay saying and doing all this over again, at cross purposes, in a feverish dream all night — the bed a rocking sea that was never still! How, as that somebody slowly settled down into myself, did I begin to parch, and feel as if my outer covering of skin were a hard board; my tongue the bottom of an empty kettle, furred with long service, and burning up over a slow fire; the palms of my hands, hot plates of metal which no ice could cool!» (Dickens, 1966, с. 361–363).

⁷⁴ См. к дальнейшему: Гиппиус, 2004. Примеры взяты из этой работы.

⁷⁵ Зализняк, 2004, с. 603.

⁷⁶ Там же, с. 674.

⁷⁷ Там же, с. 600.

⁷⁸ См.: Гиппиус, 2004, с. 187–188.

⁷⁹ Цитируем по Зографскому евангелию (Jagić, 1879, с. 153). То же, с незначительными орфографическими разночтениями, в Мариинском евангелии (Ягич, 1883, с. 352), Ассеманиевом евангелии (Kurz, 1955, с. 42) и Остромировом евангелии (Востоков, 1843, л. 34). Старославянский перевод отразился и в Елизаветинской Библии 1751 г., которая, как мы уже упоминали (см.: *Глава I, § II-1*), определила стандартный церковнославянский текст Библии: «Прежде даже Авраамъ не бысть, азъ есмь» — изменен лишь порядок слов.

Ср., между тем, в Чудовском Новом Завете, сер. XIV в.: «Прежде даже Аврааму быти аз[ъ] есм[ъ]» (Леонтий, 1892, л. 46). В отличие от старославянского перевода (принадлежащего, по всей вероятности, Кириллу и Мефодию), переводчик Чудовского Нового Завета явно стремился избежать противопоставления форм настоящего и прошедшего времени.

⁸⁰ Как мы уже отмечали, *Я есмь* (ἐγώ εἰμι) в этой фразе, по-видимому, соотносится с именем Бога (см. *Глава I, § II-1* и примеч. 175).

⁸¹ Bible, version Ostervald, 1903, с. 886.

⁸² Nouveau Testament, 1667, I, с. 368. То же: Nouveau Testament, 1710, с. 266. Переводчик — Исаак Леметр де Саси (Isaac Lemaistre de Sacy, 1613–1684), священник аббатства Пор-Рояль.

⁸³ В более ранних изданиях, как католических, так и протестантских, находим: «devant qu'Abraham fust, ie suis» (Nouveau Testament, 1560, с. 276; Bible, 1563, л. 62 об.; Nouveau Testament, 1592, с. 138; Nouveau Testament, 1594, л. 305 об.; Nouveau Testament, 1605, с. 408; Bible, 1606, л. 54 об.), «devant que Abraham fut, ie suis» (Bible, 1550, с. 73 третьей пагинации), «devant qu'Abraham fut, ie suis» (Bible, 1550a, л. 35 об. второй фолиации). Ср. также: «devant qu'Abraham fust faict, ie suis» (Bible, 1535), «devant qu'Abraham fust fait, ie suis» (Nouveau Testament, 1569, л. 183 об.), «avant qu'Abraham fust, ie suis» (Nouveau Testament, 1660, с. 310; Nouveau Testament, 1664, тетр. L, л. 2 об.); «je suis avant qu'Abraham fust né» (Nouveau Testament, 1678, с. 230). Аналогично и в современных французских переводах: «Avant qu'Abraham fût, je suis» (Bible, 1964, с. 129; Bible, 1989, с. 2599), «Avant qu'Abraham existât, je suis» (Bible de Jérusalem, 1998, с. 844), «Avant qu'Abraham eût été, je suis» (Bible, VII, с. 455).

⁸⁴ Достоевский, III, с. 383.

⁸⁵ Алексей Михайлович, 1896, с. 24 (№ 26).

⁸⁶ Булгаков, 1973, с. 373.

⁸⁷ Ср. у Флобера (“*Madame Bovary*”): «*Que faire?... c’était dans vingt-quatre heures; demain!*» (Flaubert, 1949, с. 592); или у Лоренса (“*Women in Love*”): «*To-morrow was Monday, Monday, the beginning of another school-week!*» (Lawrence, 1971, с. 185; оба примера цитируются в кн.: Banfield, 1982, с. 98). Следует отметить, что оба случая не представляют полной аналогии к булгаковской фразе. В английском примере дело целиком сводится к явлению вторичного дейксиса (см. выше, *Глава I*, § I-2), когда точкой отсчета является не время речевого акта (как это происходит в случае первичного дейксиса), а то время, о котором идет речь, т. е. время действия, время описываемых событий (см.: Успенский, 2011, с. 23–24, § 2.11); если бы Булгаков употребил слово *назавтра*, а не *завтра*, английский и русский примеры были бы аналогичны в интересующем нас отношении (ср.: «*Назавтра* не было дождя. *Назавтра* был день с крепким осенним заморозком»). Во французском языке есть слово *lendemain*, которое соответствует по значению рус. *назавтра*, означая ‘на следующий день’. Вместе с тем, у Флобера представлен внутренний диалог (а не нарратив как таковой), и в этом контексте можно сказать только *demain*, но не *lendemain*. Таким образом, в обоих случаях — в английском и французском примерах — нет той возможности выбора, которая была открыта перед Булгаковым (последний мог сказать как *завтра*, так и *назавтра*).

⁸⁸ Chomsky, 1957, с. 42 [Хомский, 1962, с. 449].

⁸⁹ Jakobson, 1959/1971, с. 495 [Якобсон, 1985а, с. 238].

⁹⁰ «No matter how deviant a sentence may be it is extremely unwise to say that there are no circumstances under which a speaker of the language might produce or a hearer of the language might construe it» (Putnam, 1961, с. 26 [Путнам, 1965, с. 68–69]).

⁹¹ В последнем случае имеет место метонимия.

⁹² Carroll, 1939, с. 19; Carroll, 1970, с. 31.

⁹³ См.: Lazzarini, 1976, с. 58–60, 74–75.

⁹⁴ См.: Burzachechi, 1962, с. 34, 23, 35, 40, *passim*. См. еще примеры: Wackernagel, 1892, с. 346–351; Morpurgo-Davies, 1968, *passim*; Чистякова, 1983, с. 28, 30, 50, 53–54, 66–67, 69, 74, 129, 166, ср. также с. 75, 97, 179.

⁹⁵ См.: Burzachechi, 1962, с. 3, 49–50, ср. с. 23, 30 сл., 39 сл., 41, 51 сл.

⁹⁶ Такие надписи известны как в античную эпоху (ср. о греческих надписях VI в. до н. э.: Burzachechi, 1962, с. 16–18, ср. с. 54; Чистякова, 1983, с. 97), так и в эпоху христианскую (см. о греческих надписях: Burzachechi, 1962, с. 43–44). Эта традиция известна и в наши дни.

⁹⁷ Burzachechi, 1962, с. 45–47.

⁹⁸ *CIL*, I², № 3 (с. 370). К вопросу о подлинности см., в частности: Gordon, 1975; Guarducci, 1980; Hamp, 1981; Карасева, 2003, с. 126. Форма

fhefhaked представляет собой 3-е лицо единственного числа перфекта от глагола *facio* с удвоением первого слога.

⁹⁹ СІЛ, I², № 4 (с. 271). О возможных интерпретациях этой надписи см.: Sacchi, 2001, с. 280–283; Карасева, 2003, с. 133–151. — В свое время предполагалось, что *Duenos* представляет собой имя мастера, изготовившего содержащийся в вазе продукт, откуда объясняется условное обозначение вазы как вазы Дуэноса; в действительности же *duenos* — архаическая форма прилагательного *bonus* (*duenos* ⇒ *duonos* ⇒ *bonos* ⇒ *bonus*, с переходом *du* ⇒ *b*).

¹⁰⁰ СІЛ, I², № 477 (с. 422).

¹⁰¹ Там же, № 561 (с. 430).

¹⁰² Там же, № 498 (с. 424).

¹⁰³ Там же № 499 (с. 424).

¹⁰⁴ Там же, № 500 (с. 424).

¹⁰⁵ Там же, № 501 (с. 424).

¹⁰⁶ Там же, № 502 (с. 424).

¹⁰⁷ Там же, № 503 (с. 424).

¹⁰⁸ Там же, № 2376 (с. 709).

¹⁰⁹ Там же, № 1499 (с. 625).

¹¹⁰ Там же, № 2371 (с. 709). Описание предмета: Burzachechi, 1962, с. 47 (примеч. 0).

¹¹¹ Martial, II, с. 58 (пример указан М. М. Сокольской).

См. еще надпись на могиле Мидаса, которую цитирует Сократ в “Федре” Платона (264d), где воспроизводятся слова изваяния, покоящегося на гробнице (надпись эту приписывают Клеобулу или Гомеру): Χαλκῆ παρθένος εἰμί, Μίδα δ’ ἐπὶ σῆματι κεῖμαι (‘Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь’ — Платон, II, с. 203).

¹¹² См.: Lecoq, 1974, с. 15–16.

¹¹³ См.: Hinton, 1974, с. 29–48.

¹¹⁴ См.: Ф. Успенский, 2005, с. 117–118.

¹¹⁵ Там же, с. 115–116.

¹¹⁶ См.: Contini & Gozzoli, 1970, с. 97 (№ 25). Ср.: Calabrese & Gigante, 1989, с. 34.

¹¹⁷ Barbera, 1997, с. 46, 48, 100.

¹¹⁸ Там же, с. 109, 128.

¹¹⁹ Там же, с. 86, 141 и 104 (или с. 106). На портрете 1474 г. вместо *Messaneus* написано *Messanus*.

¹²⁰ Там же, с. 66 (или с. 75, 80).

¹²¹ См.: Matthew, 1998, с. 676–677 (Tempestini, с. 208, № 31).

¹²² Там же, с. 677 и илл. 29 на с. 638.

¹²³ См.: Lecoq, 1974, с. 20, примеч. 9.

¹²⁴ См.: Dhanens, 1980, с. 189–190, 382, 386. О “Портрете человека в красном тюрбане” как об автопортрете см.: Panofsky, I, с. 198; Dhanens, 1980, с. 192, 382. — К интерпретации этой и приводимых далее надписей Ван Эйка см.: Успенский, 2009.

¹²⁵ См.: Dhanens, 1980, с. 303, 389. Существуют стихи, написанные в Брюгге и посвященные этому портрету. Так же, как и в надписи на портрете, местоимение 1-го лица в этих стихах в одном случае относится к жене художника, в другом — к ее изображению: «Mijn man Jan van Eyck was in zijn konst ervaren, / Heeft mij gemaelt als ick was drye en dertich jaeren, / Zijn afbeeldsen staet in de Sint-Janskerk te Gent / Dog de Vrije schilders zijn met mij hier content» (‘Мой муж Ян Ван Эйк был сведущ в своем искусстве, Он нарисовал меня, когда мне было тридцать три года. Его картина находится в церкви св. Иоанна в Генте, Но художники гильдии рады иметь меня здесь’ — там же, с. 304).

¹²⁶ Там же, с. 292, 385, 389.

¹²⁷ Там же, с. 238–239, 385.

¹²⁸ См.: Успенский, 1987/2002, с. 73 (§ 3.3.3).

¹²⁹ См.: Ф. Успенский, 2005, с. 117. — Вообще для русского языка это явление не характерно, что может быть связано с особой чувствительностью этого языка к дейксису (см. в этой связи: *Глава I*, примеч. 135). Это не означает, однако, что такого рода фразы здесь вовсе невозможны. Так, например, и по-русски могут говорить от лица шарады, например *Мое первое..., мое второе..., мое целое...* или *Мой первый слог..., мой второй слог...* и т. п.; очевидным образом эти выражения представляют собой кальки с французского или немецкого. Не исключено, впрочем, что притяжательное местоимение 1-го лица может осмысляться при этом как относящееся не к самой шараде, но к игроку, который ее загадывает; во всяком случае, по нашим данным носители русского языка могут избегать притяжательных местоимений 1-го лица и обычно говорят, загадывая шараду: *Первое..., второе...* и т. д. В современной Москве можно увидеть грязную машину, на которой написано пальцем по пыльной поверхности *помой меня*; так пишут дети, вероятно, подрабатывающие мойкой машин (см.: Ф. Успенский, 2005, с. 116, примеч. 26); можно предположить, что и в этом случае отразилось иноязычное влияние, т. е. что эта надпись появилась под влиянием аналогичных надписей на английском или другом языке.

¹³⁰ Достоевский, X, с. 126.

¹³¹ См. подробнее: Успенский, 1970/2000, с. 72. См. также выше, *Глава I*, примеч. 55.

¹³² В правилах св. Бенедикта Нурсийского (ок. 480 — ок. 547) читаем (гл. 33): «Все для всех должно быть общим, согласно писанию: да никто не объявит, ниже помыслит что-либо своим [ср.: Деян. IV, 32]» (Omniaque omnibus sint communia ut scriptum est, nec quisquam suum aliquid dicat vel praesumat — PL, LXVI, стлб. 551–552; ср.: Fry, 1981, с. 231). Ученый бенедиктинец Иоанн Тритемий (Johannes Trithemius или Johann Heidenberg, 1462–1516) в сочинении «De proprietate monachorum», написанном не позднее 1494 г., так комментирует это правило: «Да не объявит игумен что-либо своим, да не скажет: *моя книга, моя земля, моя усадьба, мое имущество*; но если бы надо было об этом говорить людям, да скажет: *наше*, а не *мое*. Действительно, поскольку монастырское имущество общее, а общность предполагает многих, да не покажется никому ничего смешного, если монах или игумен, будучи в единственном числе, скажет *наше*. Это словопотребление относится к общности названного; в таком употреблении нет ничего ребяческого — напротив, святые отцы в древности столь усердно его придерживались, что нарушающим этот обычай полагали покаяние» (Non dicat abbas suum aliquid, non codex meus, non ager, non villa, non census; sed si tale coram hominibus dicere oporteat, *nostrum*, non *meus* dicat. Etenim cum res monasterii communitatis sint, et communitas praesupponit multos, nulli videatur ridiculum si monachus aut abbas, singularis persona dixerit *nostrum*. Ad communitatem dicti sermonis refertur intentio; neque puerilia sunt haec, quae SS. Patres antiquissimos tam studiose constat observasse, ut poenitentiam in transgressores praescriberent — PL, LXVI, стлб. 558). Упоминание о святых отцах, очевидно, относится к св. Иоанну Кассиану (ок. 360–435), который, описывая жизнь египетских монахов, говорит в послании к Кастору, епископу Аптскому, о правилах общежительных монастырей («De coenobiorum institutis libri duodecim», кн. IV, гл. 13): «Излишним считаю упоминать о том правиле их, по которому никто не должен иметь своей коробки, корзины и ничего такого, что нужно было бы запирать как собственность [букв.: хранить как свою собственность, помечая особым знаком]. Знаем, что они живут в такой скудости, что кроме рубахи, небольшой епанчи, полусапог, милоти и рогожи ничего не имеют. А в иных монастырях это правило столь строго соблюдается, что никто не смеет ничего назвать своим и считается большим преступлением для монаха говорить: это — *моя книга, моя письменная доска, мой грифель, моя одежда, мои полусапоги*. Он должен принести покаяние, если случайно, по неосторожности или по неведению, произнесет такое слово» (Illam sane virtutem inter caeteras eorum institutiones, vel commemorare superfluum puto, quod scilicet nulli *cistellam, nulli peculiarem sportellam* liceat possidere, nec tale aliquid, quod velut

proprium retinens suo debeat communire signaculo. Quos ita novimus omni ex parte nudos existere, ut praeter colobium, maforthem, caligas, melotem, ac psiathium, nihil amplius habeant: cum in aliis quoque monasteriis, in quibus aliqua remissius indulgentur, hanc regulam videamus strictissime nunc usque servari, ut ne verbo quidem audeat quis dicere aliquid suum, magnumque sit crimen ex ore monache processisse, codicem meum, tabulas meas, graphium meum, tunicam meam, caligas meas; proque hoc digna poenitentia satisfactorius sit, si casu aliquo per subreptionem vel ignorantiam hujus modi verbum de ore ejus effugerit — Иоанн Кассиан, 1892, с. 32; PL, XLIX, стлб. 166–169; ср. также: Cassianus, 2004, с. 55); ср. комментарий Аларда Газея (Alardus Gazaеus, 1566–1626), бенедиктинца, опубликовавшего в 1616 г. сочинения Иоанна Кассиана (PL, XLIX, стлб. 168, примеч. “d”). Правила Бенедикта Нурсийского обнаруживают вообще текстуальную связь с цитированным сочинением Иоанна Кассиана (см.: Fгу, 1981, с. 596–597); едва ли можно сомневаться в том, что интересующая нас традиция бенедиктинских монахов восходит к этому сочинению.

Ср. в краткой редакции Монастырского устава Иосифа Волоцкого: «Иже бо в иноческий святой образ одеании в киновии живущей ниже словом глаголати должны о чесом же „твое“, или „мое“, или „сего“ и „оного“ ⟨...⟩. Сего бо ради нарицается общаа житиа, да вся обща имуть» (Иосиф Волоцкий, 1959, с. 308). Аналогичное предписание содержится и в Уставе Корнилия Комельского первой пол. XVI в. (см.: Лурье, 1972, с. 257).

¹³³ «De hydriarum vero mensura dicitur: *capientes singulae metretas binas vel ternas*. Prima metreta primae hydriae, id est, voluntariae paupertatis, est in abrenunciacione proprietatis: secunda in abiectiione propriae voluntatis: tertia consistit in membris. De hac mensura diversi diversa sentiunt: aliis asserentibus monachum dicere debere, *caput meum est, lingua mea, manus mea, vel pes meus*. Alii contrarium sentiunt: affirmantes, quod monachus dicere debeat *caput nostrum, lingua nostra, et sic de caeteris: sicut dicimus cuculla nostra, vel tunica nostra*. Quod utique sic solvendum arbitror: ut secundum priores, respiciendum sit ad membrorum motus, quos vix cohibere possumus; secundum sequentes, ad opera. Possum quidem, et licet, manum, pedemve movere: sed non licet ad libitum extra terminos concessos divertere, vel opera non licentia exercere» (Caesarius Heisterbacensis, II, с. 3–4).

¹³⁴ Sévigné, III, с. 450 (письмо от 28 декабря 1688 г.).

¹³⁵ Мельчук, 1999, с. 22.

¹³⁶ Былинский, 1941, с. 168.

¹³⁷ Смирнов, 1913, прилож., с. 30 (№ 30), ср. еще с. 154 (№ 23), 305 (статья e), 285 (примеч. 4). См. еще в этой связи: Успенский, 1992/1996, с. 497.

Фраза *дождь идет* восходит, видимо, к праславянской фразеологии: помимо восточнославянских языков, соответствующий фразеоло-

гизм (*děž gre* или *děž hodi*) зафиксирован в диалектах словенского языка (см.: Pleteršnik, I, с. 136).

¹³⁸ См.: Добрушин, 1961, с. 54; Успенский, 1962, с. 151–152. — Отметим, что упомянутые новеллы основываются еще на одном приеме: их ключевые фразы представляют собой идиоматические сочетания, и таким образом рассказы данного цикла строятся еще и на том, что нечленимые обычно фразы, воспринимаемые как целое, членятся на значимые компоненты. Эта особенность данных новелл для нас здесь несущественна.

В другой новелле Честертона (“The Singular Speculation of the House-Agent” из сборника “The Club of Queer Trades”) представлена ситуация, мотивирующая фразу *to live in the elms* (‘жить в вязах’), которая воспринимается окружающими как указание на название местности — *the Elms*.

¹³⁹ Jadacki, 1986, с. 523.

¹⁴⁰ «L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant» (Pascal, 1963, с. 528, № 200–347 [Паскаль, 1995, с. 115 (№ 264)]).

¹⁴¹ Из стихотворения «Певучесть есть в морских волнах...» (Тютчев, I, с. 199). Ср. в другом стихотворении у Тютчева (“Problème”) образ «мыслящей руки»:

С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины *сам* собой,
Или низвергнут *мыслящей* рукой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса.

(Там же, с. 238, ср. с. 50)

¹⁴² Jadacki, 1986, с. 524.

¹⁴³ Не случайно автор цитированного текста говорит о «реальном существовании объекта», предполагая, по-видимому, что понятие реального существования является самоочевидным, само собой разумеющимся и не может быть предметом дискуссии.

¹⁴⁴ Очевидно, например (даже если отвлечься от приведенных примеров из Паскаля и Тютчева), что человек, придерживающийся анимистических воззрений, может не согласиться с утверждением, что растения лишены способности мыслить, — но логика это не смущает. Точно так же мы вправе предположить, что сам Чеслав Милош (польский поэт, эмигрировавший в Америку) мог бы признать, что он и является, и не является американцем. Мать может быть бездетной, если она лишилась своих детей. И наш враг может оказаться — в конкретной ситуации — более великодушным, чем это ему вообще свойственно.

¹⁴⁵ Апресян, 1978/1995, с. 608–609.

Примечания к с. 153–157

Глава III
Коммуникация и понимание:
Понимание и языковой эксперимент

It's rather hard to understand! Somehow
it seems to fill my head with ideas — only
I don't exactly know what they are!

Lewis Carroll

*I. Переносный смысл
и проблема построения бессмысленного текста*

1. Говоря о трудностях создания бессмысленного текста, мы приводили пример неоправданного, казалось бы, объединения фраз или синтагм (см. выше, *Глава II*, § VIII). Было показано, что объединение такого рода не обязательно порождает бессмысленный текст.

К тому же выводу мы придем, если рассмотрим примеры немотивированного объединения лексем в пределах одной фразы (при сохранении ее грамматической структуры). Логика и лингвисты время от времени искусственно создают такие тексты, ср., например, фразу *Caesar ist eine Primzahl* ('Цезарь — простое число'), предложенную в свое время Карнапом¹, *Quadruplicity drinks procrastination* ('Четырехсторонность пьет промедление') у Рассела² или *Самовар доказывает галку* у Колмогорова³; в свое время в кругах кембриджских философов ходячим примером бессмысленного текста служила фраза *Quadratic equations go to race-meetings* ('Квадратные уравнения ходят на скачки'), тогда как в Оксфорде в этом качестве фигурировала фраза *Virtue is a fire-shovel* ('Добродетель есть пожарная лопата')⁴. Наибольшую известность получила фраза Хомского *Colourless green ideas sleep furiously* ('Бесцветные зеленые идеи яростно спят')⁵. К ней мы и обратимся.

Можно ли считать, что построенная Хомским фраза совершенно бессмысленна, что ее нельзя понять? Полагаем, что нет.

Совершенно очевидно, что слова в этом предложении не имеют обычного (словарного) значения. Можно предположить, следовательно, что некоторые слова употреблены в ней в несобственном значении, т. е. выступают в переносном смысле. Мы не знаем, какие именно слова употреблены таким образом, но мы можем произвести эксперимент: мы можем взять некоторые слова в кавычки⁶.

Кавычки представляют собой графические знаки метафоричности: они сигнализируют нам, что соответствующее слово (слово, взятое в кавычки) не должно пониматься буквально⁷. Кавычки — это элемент письменного текста; в устной речи тот же смысл может быть передан вводными словами и фразами, такими как *так сказать* или *так называемый*, а также *как бы* и т. п. Взять слово в кавычки в письменном тексте равносильно тому, чтобы вставить перед ним слова *так сказать* в тексте устном. В других случаях после произнесения слова, употребленного в переносном смысле, к нему могут добавить определение: *в кавычках* (франц. *entre guillemets*, итал. *tra virgolette*, нем. *in Anführungszeichen*) — это оказывается необходимым в том случае, если метафорическое употребление не ясно из контекста: соответствующие выражения, таким образом, нужны для того, чтобы предотвратить буквальное понимание сказанного. Наконец, функция кавычек в устной речи может передаваться мимикой: например, подмигивание при произнесении того или иного слова может означать, что слово это употреблено не в своем значении. Мимика призвана выражать при этом иронию (ироническое отношение говорящего к произнесенному им слову) — в точном соответствии со значением греч. εἰρωνεία, о котором нам уже приходилось упоминать в этой работе (см.: **Глава II, § VIII-2**): человек как бы говорит не от своего лица, и мимика его показывает при этом, что он не думает того, что говорит⁸.

Сравним:

Он — писатель.

Слово *писатель* здесь употреблено в буквальном смысле. Эта фраза означает, что лицо, о котором идет речь, является писателем.

Он — «писатель».

Слово *писатель* здесь употреблено в переносном (метафорическом) смысле. Кавычки показывают, что данное слово не следует понимать буквально. Эта фраза, скорее всего, означает, что лицо, о котором идет речь, вообще говоря, не может считаться писателем (не является настоящим писателем или писателем в собственном смысле слова), т. е. кавычки в данном случае, в сущности, придают слову прямо противоположный смысл. Мы можем передать этот смысл, сказав: *Он, так сказать, писатель*; или: *Он, с позволения сказать, писатель*; или же: *Он как бы писатель*; или: *Он, условно говоря, писатель*; или, наконец: *Он писатель — в кавычках*. Точно так же мы можем сказать: *Он — писатель*, подмигнув нашему собеседнику на слове *писатель*⁹.

Вернемся к фразе Хомского; для простоты изложения мы сначала рассмотрим ее в неполном виде. Возьмем некоторые слова в кавычки, например:

Green “ideas” sleep “furiously”.

В таком виде эта фраза имеет смысл — точно так же, например, как имеет смысл математическая формула $X + Y = 14$. Мы не знаем точного значения слов, взятых в кавычки, так же как не знаем и значения символов X и Y , — но мы исходим из того, что они выражают какое-то значение, пусть не определенное. Мы понимаем, что речь идет о сне каких-то зеленых субъектов, хотя и не можем сказать сколько-нибудь определенно, что это за субъекты и как именно они спят.

Для наглядности мы сократили фразу Хомского, опустив слово *colourless* в сочетании *colourless green ideas*. Понятно, что добавление этого слова в принципе не меняет дела: мы можем и его взять в кавычки. Вообще говоря, каждое слово в данном предложении может быть взято в кавычки, и это будет означать, что каждое слово в нем имеет переносный смысл. Это делает смысл предложения неясным, но отнюдь не делает текст бессмысленным: предложение, каждое слово которого взято в кавычки, оказывается аналогичным алгебраической формуле, состоящей из одних переменных, типа $X + Y = Z$. В обоих случаях предполагается, что текст (будь то словесный текст или формула)

имеет смысл, при том что конкретный смысл соответствующего текста остается неясным до тех пор, пока не раскрыты значения его компонентов (значения слов, взятых в кавычки, в словесном тексте; значения переменных в математической формуле).

Понятая таким образом, фраза Хомского предстает как загадка — в том значении, которое придает этому слову Аристотель. Аристотель определяет загадку как текст, состоящий из слов в переносном смысле: «сущность загадки состоит в том, чтобы говорить о действительном, соединяя невозможное, — сочетанием общеупотребительных слов [т. е. слов в обычном, общеупотребительном значении] этого сделать нельзя, сочетанием же переносных слов [слов в переносном смысле] можно» (“Поэтика”, XXI)¹⁰. Всякая загадка нуждается, таким образом, в расстановке. Это в полной мере относится и к интересующей нас фразе Хомского.

Говоря о том, что при расстановке кавычек фраза Хомского становится осмысленной, мы имеем в виду, что ее содержание в принципе может быть предметом обсуждения и теоретически она может быть оценена как истинная или ложная: допускается, что потенциальный адресат при известных условиях может согласиться или же, напротив, не согласиться с ее содержанием. В отношении исходной фразы (*Colourless green ideas sleep furiously*) такая оценка, по-видимому, заведомо невозможна¹¹, но она становится возможной после определенной расстановки кавычек. Действительно, в последнем случае становится ясным то условие, которое необходимо для того, чтобы проверить данную фразу на истинность: для этого достаточно знать конкретные значения взятых в кавычки слов. Предполагается, что это в принципе осуществимо; если же кавычки не расставлены, какая бы то ни было проверка вообще не представляется возможной.

Итак, лингвистическая функция кавычек в интересующем нас аспекте заключается прежде всего в указании того, что взятое в кавычки слово используется в каком-то другом (метафорическом) значении, нежели буквальное или общепринятое, причем остается неизвестным, в каком именно значении. Более того, обычно кавычки указывают, что адресату предлагается самому найти такой контекст, в котором данный текст был бы осмысленным. Взятые в кавычки слово может значить практически все что

угодно; оно становится как бы джокером (или аналогом алгебраической переменной), который может принимать в принципе любое значение (в пределах некоторого грамматического класса), необходимое для того, чтобы фраза в целом воспринималась как осмысленная. Ситуация при этом становится аналогичной такой, когда мы слышим фразу, принадлежащую какому-то условному коду¹², причем сам код нам неизвестен, но мы знаем, что он состоит в том, что значения одних слов языка условно подменяются значениями других (принцип, часто использующийся во всевозможных арго¹³; ср. также восприятие иносказательной речи). Презумпция осмысленности фразы обычно позволяет при этом находить значение метафорически употребленного слова (внутри заданного грамматического контура), а не получать смысл фразы из значений составляющих ее компонентов.

Помимо лингвистической, кавычки имеют и определенную логическую значимость. С логической точки зрения функция кавычек заключается в указании того, что речь идет не о самом объекте или явлении, а о некотором его названии или обозначении¹⁴. В частности, мы можем любое слово взять в кавычки, и речь будет идти тогда не о самом слове, а о названии этого слова или же вообще — о другом слове, как-то относящемся к тому, которое может быть употреблено в прямом смысле. Таким образом, в данном случае имеет место двойная референция: знак не непосредственно относится к содержанию, но через посредство другого знака. Если мы скажем, например: «Слово „слово“ состоит из пяти букв», то окажется, что лексема *слово* употреблена в этой фразе дважды, и при этом на разных языковых уровнях; во втором случае она выступает как «message referring to code» ('сообщение, направленное на код'), по классификации Якобсона¹⁵. Иначе можно было бы сказать, что роль кавычек состоит в разграничении метаязыковых и собственно языковых элементов названия. В самом деле, слово *стол* как таковое является элементом языка, предназначенного для описания внеязыковых явлений, т. е. элементом языка-объекта; между тем, будучи взято в кавычки, слово *стол* принадлежит метаязыку, служащему для описания языка-объекта.

Лингвистическая значимость кавычек, когда таким образом отмечается метафорическое употребление, вписывается в это общее определение: действительно, в случае метафорического употребления (когда слово выступает не в своем значении) имеет ме-

сто именно двойная референция, и мы вправе, таким образом, отнести метафору к метаязыковому уровню.

Обобщая, можно сказать, что кавычки служат для выделения гетерогенного текста (по отношению к данному). В частном случае это может быть чужая речь (речь, принадлежащая другому говорящему), или чужое значение (что и происходит в случае метафоры), или вообще значение, относящееся к метаязыку, противопоставляемому языку-объекту.

2. Любое (полнозначное) слово в языке в принципе может быть употреблено метафорически¹⁶, и это определяет неограниченные возможности нашей фантазии. Очевидно, что употребление слова не в своем значении может затруднить понимание текста; в то же время сама возможность такого употребления существенным образом расширяет наши возможности понимания.

Не случайно фразы, подобные рассматриваемой фразе Хомского, мы можем встретить в поэтических текстах с присущей им метафоричностью, ср., например, у Пушкина: *В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечной угрызенья* (“Воспоминание”); у Лермонтова: *И звезда с звездою говорит* (“Выхожу один я на дорогу...”)¹⁷; у Маяковского: *Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок* (“Из улицы в улицу...”); у Хлебникова: *Был уронен холм живой* (“Хаджи-Тархан”), *А я из вздохов дань сплетаю в Духов день* (“А я из вздохов...”); у Кузмина: *А тюлевая ночь в окне дремала* (“Мы на лодочке катались...”), *Какая-то лень недели кроет* (“Какая-то лень...”), *Я твой до дна... бери и пей* (“Я твой до дна...”); и т. п.¹⁸; примеры могут быть умножены, и поэтому каждый из них имеет достаточно случайный характер. Мы можем понять эти фразы, обратившись к контексту всего стихотворения; будучи же вырваны из контекста, они принципиально не отличаются от фразы *Зеленые идеи яростно смят*¹⁹. Можно себе представить, *mutatis mutandis*, что и фраза Хомского являет собой фразу, взятую из какого-то неизвестного нам текста, в контексте которого она обретает конкретный смысл. Нетрудно было бы представить себе, в частности, стихотворение, частью которого является данная фраза²⁰.

Мы можем понять фразу Хомского, представив себе фантастический мир — возможный, например, в поэтическом воображении, — в котором идеи оказываются подобными живым существам; в частности, они обладают способностью спать, причем могут делать это яростно²¹. Образ яростного сна вызывает ассоциацию с представлением о беспокойном сне: так, например, вполне возможно сказать о человеке, что он яростно храпит, и с некоторой натяжкой мы можем распространить этот эпитет на сон в целом²². Сама необходимость интерпретировать данную фразу побуждает нас допустить натяжку такого рода: мы скорее готовы признать возможность не совсем обычного словоупотребления²³, чем отказаться от интерпретации текста (если, конечно, не знаем, что текст специально создан как бессмысленный).

Эти идеи характеризуются как зеленые, и, соответственно, фраза *Зеленые идеи яростно спят* может пониматься, например, по аналогии с фразой *Зеленые лягушки яростно спят* — фразой, вполне естественной в русском языке и не вызывающей каких-либо трудностей в понимании. Таким образом, в нашем сознании может спонтанно возникнуть ассоциация идей с лягушками или подобными им существами — ассоциация, впрочем, совсем не обязательная. Если мы подумаем, например, о сперматозоидах, в которых заложено (потенциально присутствует) начало жизни будущего человека — в том числе, может быть, и начало его интеллектуальной жизни, т. е. зачатки идей, — картина становится достаточно ясной.

Вместе с тем идеи, о которых идет речь, одновременно характеризуются и как бесцветные, и оксюморонное сочетание *Colourless green ideas* ‘бесцветные зеленые идеи’ нуждается в осознании. Мы готовы справиться и с этим затруднением, если исходим из обычной при языковом общении презумпции осмысленности текста (т. е. если мы заранее не признаем данный текст бессмысленным). Мы можем подумать, например, о бесцветных объектах, представляющихся при определенном преломлении света зелеными; иначе говоря, вообще эти объекты лишены цвета (такова их общая характеристика), но в известных условиях, окказионально, они предстают для нас как зеле-

ные. Такое сочетание общей и частной характеристики, которые так или иначе иерархически подчинены одна другой, в принципе характерно для оксюморона, ср., например, у Пушкина: *О, как мучительно тобою счастлив я* (“Нет, я не дорожу...”; имеется в виду: я счастлив, но при этом счастлив мучительно), или такую фразу, как *Алексей Толстой — хороший плохой писатель* (имеется в виду: Алексей Толстой — плохой писатель, но среди плохих писателей он лучше других)²⁴. Разумеется, такие случаи могут рассматриваться как случаи языковой игры, но это принципиально не меняет дела: явление игры присуще вообще языковой деятельности.

В то же время сочетание *colourless ideas*, как и соответствующее русское выражение *бесцветные идеи*, может означать ‘тусклые, скучные, неинтересные идеи’; тем самым *colourless green ideas* может выражать характеристику зеленых идей как неинтересных. Таким образом, характеристика одного и того же объекта как зеленого и бесцветного не обязательно имеет оксюморонный характер.

При наличии некоторой эрудиции мы можем также предположить, что сочетание *бесцветные зеленые* передает значение греч. *χλωρός* или лат. *pallidus, pallens* (мы можем, например, рассматривать нашу фразу как перевод с греческого или латыни). Эти слова выступают как цветовые характеристики загробного мира (ср. лат. *pallens, pallidus*)²⁵ или ассоциируются со смертью (ср. греч. *χλωρός*)²⁶; соответственно, они могут означать как ‘бесцветный’ или ‘бледный’, так и ‘зеленый’, а также ‘желтый’ и т. п.²⁷ Отсюда выражение ἵππος χλωρός (лат. *equus pallidus*, церковносл. *конь блѣдъ*) в Откровении Иоанна Богослова (VI, 8) может переводиться и как *бледный конь* (как, например, в русском переводе; ср. *a pale horse* в Авторизованной версии английской Библии, известной также как Библия короля Иакова — King James Bible), и как *зеленый* или *желтый, рыжий, бурый* и т. п.²⁸ Разные версии так называемой Иерусалимской Библии (которая первоначально появилась на французском языке²⁹) дают разные переводы этой фразы. Так, во французской версии находим *un cheval verdâtre*, в английской — *deathly pale*, причем в комментарии к переводу в обоих случаях добавлено, что

имеется в виду цвет разлагающегося трупа³⁰; в других английских переводах находим *pale greenish gray*³¹, *a yellowish-green horse*³²; во французских переводах, наряду с *pâle*³³ или *blême*³⁴, находим также *fauve*³⁵. Фраза Хомского, именно ввиду своей странности, достаточно хорошо вписывается в общее представление о потустороннем мире — особенно если признать, что мы ничего об этом мире не знаем.

Как видим, фраза Хомского сама по себе отнюдь не бессмысленна: она кажется странной, поскольку не соответствует нашему опыту — но это, собственно говоря, проблема именно нашего опыта, а не проблема смысла. Данная фраза может быть переведена на другие языки, и это само по себе показательно. При переводе с английского на русский язык степень ее абсурдности или странности сохраняется — постольку, поскольку мир, в котором эта фраза приобретает смысл, является одинаково фантастическим для английского и для русского языкового сознания. С меньшей уверенностью мы можем это утверждать, например, для австралийских языков: в самом деле, почему не предположить, что в языковом сознании австралийских аборигенов то, что мы понимаем под идеями, мыслится в виде образов тотемных предков³⁶ — и в таком случае почему бы им не быть зелеными?

Выше мы видели, что фраза Хомского могла бы быть представлена как часть какого-то поэтического текста. Но с равным успехом мы могли бы предположить, что она принадлежит мифологическому тексту. Принципиальная разница состоит в том, что в мифе — в отличие от поэзии — в принципе нет метафоры: в мифологическом тексте метафора как таковая, строго говоря, невозможна³⁷.

Ср., например, космическое представление мира как жертвенного коня в Упанишадах:

Ом! Поистине, утренняя заря — это голова жертвенного коня, солнце — его глаз, ветер — его дыхание, его раскрытая пасть — это огонь Вайшванара [букв. 'вездесущий', 'вселенский' — эпитет огня, а также бога огня, Агни]; год — это тело жертвенного коня, небо — его спина, воздушное пространство — его брюхо, земля — его пах, страны света — его бока, промежуточные стороны — его ребра, вре-

мена года — его члены, месяцы и половины месяца — его сочленения, дни и ночи — его ноги, звезды — его кости, облака — его мясо; пища в его желудке — это песок, реки — его жилы, печень и легкие — горы, травы и деревья — его волосы, восходящее солнце — его передняя половина, заходящее — его задняя половина. Когда он оскаливает пасть, сверкает молния; когда он содрогается, гремит гром; когда он выпускает мочу, льется дождь; голос [стихий] — это его голос³⁸.

Мы рассмотрели лишь одну из возможных интерпретаций фразы Хомского. Вместе с тем ее можно понять совершенно в ином ключе. Выражение *green ideas* ('зеленые идеи') в современном мире имеет вполне определенный смысл: оно ассоциируется с политическими программами, провозглашающими необходимость сохранения экологической среды. В свою очередь, выражение *colourless green ideas* может выражать отрицательную оценку экологических партий, характеризуя зеленые идеи как тусклые, неинтересные, бессодержательные (ср. выше). Выражение *sleep furiously* ('яростно спят') напоминает оксюморонные сочетания типа *агрессивно-пассивное большинство*, принятого в политической риторике. В результате вся фраза может пониматься в контексте политической полемики с зеленым движением. Справедливости ради следует отметить, что в 1957 г., когда Хомский опубликовал свою фразу, зеленого движения еще не существовало и выражение *green ideas*, по-видимому, не могло пониматься таким образом. Мы видим, вместе с тем, что выражения, представляющиеся бессмысленными, со временем могут обретать вполне конкретный смысл.

3. Итак, фраза Хомского (*Colourless green ideas sleep furiously*) не может быть a priori признана бессмысленной — постольку, поскольку мы способны представить себе ситуацию, в которой она имеет смысл. То же самое можно сказать и о фразах, предложенных Карнапом и Расселом, которые были приведены выше (см. § I-1). Так, Т. Дрейндж, приводя эти или подобные им фразы, показывает, что можно придумать ситуацию, когда они становятся осмысленными. Речь идет о следующих примерах:

1) *The theory of relativity is blue* ('Теория относительности — синяя'),

2) *The number 5 weighs more than the number 6* ('Номер 5 весит больше, чем номер 6'),

3) *Socrates is a prime number* ('Сократ — простое число')³⁹.

Для первого примера предлагается следующая ситуация. Командир подразделения военно-воздушных сил получает приказ раздать учебные руководства, где речь идет о теории относительности. «Как мне объяснить им отличие этой книги от книги по приготовлению коктейлей?» — спрашивает он. Следует ответ: «Теория относительности — синяя, коктейли — зеленые».

Вторая фраза является осмысленной, если она произносится в наборном цехе, где обсуждается вес отдельных букв.

Третья фраза может относиться к нумерованному списку имен философов⁴⁰.

II. Преобразование ситуации в комическом тексте

1. Мы видели, что фраза Хомского (*Colourless green ideas sleep furiously*) может быть осмыслена в мифологическом или фантастическом контексте; в этом случае составляющие ее слова не выступают как метафоры — они предстают в прямом, а не в переносном употреблении.

Такого рода фраза в принципе способна обретать смысл также и в комическом контексте.

Действительно, комический текст может представлять абсурдную ситуацию, которая сама по себе и создает комический эффект. Ср., например, фольклорную шутку: *Шел я по дубинке, нес дорожку на плече*⁴¹; и т. п. Метафорическое употребление не имеет места и в этом случае.

Фантастический или мифологический текст описывает иную реальность, существование которой в принципе признается от нас независимым. Комический текст описывает — в интересующих нас случаях — преобразованную реальность, которая непосредственно соотносится с нашими представлениями о мире, выступая как результат определенной трансформации этих представлений. Можно сказать, таким образом, что фантастический текст описывает объективную ре-

альность (то, что постулируется таким образом), а комический текст — виртуальную реальность. Такова разница между изображением чудовища (принадлежащего к фантастическому миру) и карикатурой (представляющей собой искажение обычного человеческого лица): они могут быть похожи, но трактуются по-разному.

Итак, фантастическая ситуация, по определению, принадлежит другой реальности — такова, по крайней мере, исходная импликация. Между тем абсурдная ситуация, представленная в комическом дискурсе, относится, в сущности, к нашей реальности (подобно тому, как к нашей реальности относится и карикатура) — постольку, поскольку представляет то или иное ее преобразование.

Ср., например, реплику Фальстафа в “Генрихе IV” Шекспира (ч. I, акт V, явл. 1):

Worcester: ... I have not sought the day of this dislike.

King: You have not sought it! how comes it, then?

Falstaff: Rebellion lay in his way, and he found it.

Вустер: ... Я не искал разрыва этого.

Король: Вы не искали? А как же он тогда произошел?

Фальстаф: Он его не искал. Мятеж подвернулся ему под руку.

Он нагнулся и подобрал его⁴².

Фраза *Он нагнулся и подобрал мятеж* (Rebellion lay in his way, and he found it), где абстрактное понятие трактуется как конкретный предмет, обладающий физическими свойствами, бессмысленна вне данного контекста. Этот контекст возникает для нас неожиданно. Происходит преобразование ситуации, меняющее ракурс восприятия текста: текст предстает как абсурдный. Возможность такого преобразования обусловлена в данном случае семантикой глагола *искать* (*to seek*), который может иметь в качестве прямого дополнения как конкретный предмет, так и абстрактное понятие.

Преобразование ситуации в комическом дискурсе представляет собой, вообще говоря, типичное явление, но оно совсем не всегда приводит к созданию абсурдного текста. В других случаях,

напротив, преобразование ситуации неожиданно для воспринимающего создает новый смысл (что и дает комический эффект). Рассмотрение таких примеров не входит в наши задачи. Заметим, что в любом случае при этом имеет место своего рода конфликт между тем, что ожидается, и тем, что создается при порождении текста.

Сходство абсурдной действительности, создаваемой в нашем воображении в комическом дискурсе, и фантастического, потустороннего мира наглядно представлено в стихах Кириши Данилова:

Пиво-то в шубе, вино в зипуне, брага в шебуре.
Прощельга вода и нага и боса, она без пояса.
Кто напьется воды — не боится беды,
Никакой кормолы и дьявольшены
Когда Москва женилась, Казань понела,
Понизовные города в приданья взела:
Иркутска, Якутска, Енисейской городок,
А и Нов-город был тысяцкой,
А Уфа-та срака сваха была,
Кострома-город хохочет,
В поезду ехать не хочет.

(“Свиньи хрю, поросята хрю...”)⁴³

А в Нижнем славном Нове-городе, на перегорожье
В бубны звонят в горшки благовестят,
Да помелами кадят, мотовилами крестят,
Стих по стиху на дровнях волокут.

(“Стать почитать, статью сказывать...”)⁴⁴

Здесь описан перевернутый мир, но перевернутость при этом выступает как комическая, а не мифологическая или фантастическая характеристика. Между тем в других случаях такого рода тексты обретают смысл постольку, поскольку относятся к иной действительности.

Так, например, фраза *приди вчера* выступает у русских как заклинание против злого духа⁴⁵; это никоим образом не оксюморонная шутка — злой дух отсылается в другое время, подобно тому как он может быть послан в другое место; вместе с тем здесь находит отражение представление о перевернутом

характере потустороннего мира по отношению к здешнему, потустороннему миру (см. ниже, § II-2).

Ср., между тем, сходную конструкцию в шуточном диалоге: *Когда мне принести статью? — Вчера!* (имеется в виду: все сроки уже истекли, и статья должна быть представлена немедленно). Разница очевидна: здесь нет отсылки в иное время, вообще выхода в иную действительность, которая была бы противопоставлена повседневной. Речь идет в данном случае именно о повседневной ситуации, которая представлена как абсурдная.

Не менее характерны ритуальные песни, где описывается магическое анти-поведение, т. е. обратное, перевернутое поведение, признаваемое необходимым для контакта с потусторонним миром или его представителями. Так, при совершении обряда «опахивания» селения, направленного на изгнание эпидемической болезни (которая воспринималась как злой дух), женщины и девушки, совершавшие этот обряд, пели:

Вот диво, вот чудо!
Девки пашут,
Бабы песок рассевают,
Когда песок взойдет,
Тогда и смерть к нам придет⁴⁶.

Ср. также:

А где это видано,
И где это слыхано,
Чтобы девки пашню пахали,
А бабы рассевали ...⁴⁷

Следует иметь в виду, что и пахота и посев являются в нормальном случае специфически мужскими занятиями: женщины этим не занимались. В других случаях девушки при «опахивании» несут косы — при том что и косьба (в отличие от жатия серпом) представляет собой мужское занятие. Перевернутость поведения при «опахивании» усугубляется тем, что магический круг, охраняющий селение, совершается против солнца, т. е. против часовой стрелки (при том что народные обряды, направленные на предупреждение порчи, увеличение благосостояния и т. п., предусматривают круговое движение по солнцу,

т. е. по часовой стрелке⁴⁸), что этот обряд исполняется ночью или же на заре, что участницы снимают с себя платки и пояса или даже раздеваются донага (при этом простоволосость и беспоясность приписываются облику нечистой силы); наконец, обряд этот может совершаться не с песнями, а в ритуальном молчании, которое представляет собой разновидность речевого анти-поведения. Эта перевернутость поведения и отражается в песнях, которыми сопровождается данный обряд.

В отличие от подобных текстов, приведенные выше стихи Кирши Данилова, где также описывается перевернутый мир, имеют игровой характер и рассчитаны на смеховой эффект⁴⁹.

2. Итак, описание мира с перевернутыми связями может восприниматься как в мифологическом (или фантастическом), так и в комическом ключе. С одной стороны, широко распространено представление о перевернутости потустороннего (загробного мира): у самых разных народов бытует мнение, что на том свете правое и левое, верх и низ, переднее и заднее и т. п. меняются местами, т. е. правому здесь соответствует левое там, солнце движется в загробном мире с запада на восток, реки текут в обратном направлении; когда здесь день, там ночь, когда здесь зима, там лето, и т. д. и т. п. Такого рода представления проявляются в ритуальном поведении (в частности, в магических обрядах): предполагается, что при общении с потусторонним миром необходимо вести себя наоборот, т. е. обратным по отношению к обычному образом (например, действовать левой рукой, пятиться назад, переворачивать предметы, переодеваться в платье противоположного пола и т. п.)⁵⁰.

С другой же стороны, подобное поведение может выглядеть как комичное, вызывая смех.

Исключительно показательны в этом отношении специальные обряды мексиканского племени гуичолов (*Huichol Indians*), описанные Барбарой Майерхофф⁵¹. Относительно недалеко от места, где обитают гуичолы, находится пустыня — Вирикута (*Wirikuta*) по местному названию, — которую туземцы наделяют мифологическими свойствами. Гуичолы считают, что их предки вышли из этой пустыни, т. е. там, по их поверьям, жили пер-

вые люди. Вместе с тем, согласно туземным представлениям, это своего рода рай, т. е. сакральное пространство, в сущности принадлежащее потустороннему миру. Ежегодно совершаются паломничества в Вирикуту под предводительством шамана (*mara 'akáme*), которые могут рассматриваться как путешествия на тот свет. Непосредственной целью такого паломничества является собирание пейота (*peyote*) — особого вида галлюциногенного кактуса, который, в частности, содержит мескалин. Этому кактусу, если он собран в Вирикуте правильным образом, гуичолы приписывают особые сакральные свойства и, соответственно, регулярно его потребляют.

Существенно, что паломничества эти характеризуются резкой и отчетливо отмеченной меной поведения — иными словами, ритуальным анти-поведением. Попадая в Вирикуту, люди воспринимаются как божества (в частности, они принимают имена богов⁵²) или как первые люди — вообще как обитатели потустороннего мира; соответственно, они ведут себя наоборот, что и отвечает представлению о потустороннем мире. Цель анти-поведения представляется при этом совершенно ясной: люди ведут себя обратным образом, чтобы приобрести черты сверхъестественности, чтобы войти в иной мир⁵³. Сами информанты могут связывать ритуальное анти-поведение с эсхатологическими представлениями. По их словам, «когда мир кончится, <...> все будет иначе, противоположно тому, что сейчас. <...> Все изменится»⁵⁴.

Анти-поведение туземцев в Вирикуте непосредственно связано с тотальным переименованием, когда слова заменяются словами с противоположным значением — например, *да* начинает обозначать 'нет', и наоборот, и т. д. и т. п. Естественно, что понятие противоположности определяется при этом не нашим, а туземным видением мира, причем в качестве антонимов воспринимаются слова, объединенные по какому-то семантическому параметру, т. е. понятия, в некотором отношении сходные между собой. Так, голова ассоциируется с горшком, нос с мужским членом, волосы с волокном или корнями кактуса, и соответствующие слова заменяются друг на друга, т. е. голова называется горшком, и наоборот; и т. д.⁵⁵ Совершенно так же

кукуруза называется пшеницей, а кукурузные лепешки — хлебом, бобы именуется фруктами, мясной отвар — мозгами, пальцы — палками, луна — холодным солнцем⁵⁶, вода — кушаньем специального вида (*tequila*). Вместо того, чтобы сказать *пойдем напьемся воды*, говорят *пойдем поедим tequila*⁵⁷. Говорение наоборот часто представляет собой результат спонтанной импровизации. Так, например, говорят: *Закаты некрасивы, Наше путешествие не удалось, Никто не устал, Слишком много еды*, и т. п. — имея в виду в точности противоположное⁵⁸. «Вот мы все собрались в центре города, под луной, и нам совсем не удалось набрать пейота, наши корзины наполнены одними цветами», — говорят паломники, стоя посреди пустыни под палящим солнцем с корзинами, полными пейота⁵⁹. Характерны слова шамана, поясняющие это тотальное переименование в Вирикуте и прямо связывающие его именно с сакральностью этого места: «собирая пейот, мы меняем имена вещей, потому что когда мы вступаем в Вирикуту, все настолько священо, что все наоборот»⁶⁰; «все там так, как нам знакомо, но наоборот»⁶¹; «сейчас мы изменим все, все значения, <...> так, как это было в Древнее Время ...»⁶².

Такая трансформация не ограничивается языковой сферой, но прямо отражается на поведении. Например, старик превращается в ребенка, и его не только называют ребенком, но и обращаются с ним как с маленьким — так, ему не разрешают собирать дрова для костра, поскольку малышу это не по силам, и т. п.⁶³ Нос не только называется словом, нормально обозначающим мужской член, но и воспринимается таким образом, и поэтому чихание вызывает смех: в этих условиях чихнуть — то же, что обмочиться⁶⁴. Здороваясь, здесь протягивают друг другу не руку, а ногу; разговаривают, поворачиваясь друг к другу спиной, причем когда один дает что-нибудь другому, берущий говорит *пожалуйста* вместо *спасибо*, а дающий — *спасибо* вместо *пожалуйста*⁶⁵. Одновременно происходит мена правого и левого, движения по часовой стрелке и против нее, и т. п.: так, помощник шамана в Вирикуте садится слева от него (а не справа, как это происходит в обычной ситуации), костер разводится против часовой стрелки (а не по часовой стрелке, как в обычных ритуалах), и т. п.⁶⁶

Так же меняются и эмоции. Поскольку в принципе естественно радоваться, попадая в обетованную землю, и горевать, оставляя ее, паломники, напротив, рыдают, когда вступают в Вирикуту, и ликуают, когда покидают это место; как отмечает исследователь, «это обстоятельство указывает на то, что они [паломники] суть божества, покидающие рай, а не смертные, возвращающиеся оттуда»⁶⁷.

Необходимо подчеркнуть, что все это происходит совершенно осознанно: паломники, перед тем как отправиться в путешествие, учатся вести себя противоположным образом. Шаман (*mara'akáme*) учит паломника: «Смотри-ка, когда ты говоришь *доброе утро*, ты имеешь в виду добрый вечер, — все [там] наоборот. Ты говоришь *прощайте*, я ухожу, а в действительности ты приходишь. Вы не пожимаете друг другу руки (shake hands), вы пожимаете ноги (shake feet). Ты протягиваешь правую ногу, чтобы ее пожала нога твоего товарища. Ты говоришь *добрый день*, тогда как это только утро»⁶⁸. Показывая на другого человека, шаман спрашивает паломника, которого он тренирует в анти-поведении: «„Смотри-ка, чем это он смотрит на нас?“ — „Глазами“, — говорит паломник. „Нет“, — возражает шаман, — „это не глаза, это помидоры“. И так он объясняет, как все должно называться»⁶⁹. «... Когда мы видим собаку, — учит паломников шаман, — это кошка или койот. (...) Когда мы видим осла, это не осел, это корова или лошадь. А когда мы видим лошадь, это что-то еще. Когда мы видим голубя или маленькую птичку, разве это маленькая птичка? Нет, — говорит шаман, — это орел, это сокол. И поросенок — не поросенок, а броненосец. Когда мы охотимся на оленя (...), это не олень у нас на пути. Это ягненок или кошка. А сети для оленя? Они называются швейными нитками. Когда мы говорим *приди*, это означает: уходи. Когда мы говорим *тсс! тихо!*, это означает: кричать. И когда мы свистим или зовем, обращаясь вперед, мы в действительности зовем того, кто сзади нас. Мы говорим вот в этом направлении, а вон тот оборачивается, потому что он уже знает, как обстоит дело, как все перевернуто. Сказать *давайте останемся здесь* означает [предложение] уйти, [т. е.] *давайте уйдем*, и когда мы говорим *садись*, мы подразумеваем: вставай»⁷⁰.

Так же, сообщает информант-гуичол, «обстоит дело с Татевари [божество огня, имя которого принимает шаман — предводитель паломников], с Таяупа (нашим Отцом Солнцем). Мы зовем шамана Татевари. Он Татевари — тот, кто ведет нас. Но там, в Вирикуте, говорят иначе. Его зовут *красный*. А Таяупа — *сияющий*. Так все меняется. Наш товарищ, который стар, называется ребенком. Наш товарищ, который молод, называется стариком. Когда мы хотим сказать о мачете, мы говорим *крюк*. Когда говорят о дереве, на самом деле имеют в виду рыбу. Прошу прощения, вместо того, чтобы сказать *есть*, мы говорим *испражняться*. И, прошу прощения, *я иду помочиться* означает ‘я иду попить воды’. Имея в виду высморкаться, говорят *дай мне меду*. *Он глух* означает ‘как хорошо он слышит’. И так все меняется, все иначе или наоборот.

Шаман объясняет, как все должно называться — все, много раз, иначе его спутники забудут или ошибутся. Перед вечером, когда все соберутся вокруг Татевари, мы все там молимся и шаман говорит нам, как это должно быть. Так, например, он говорит нам: „Не говорите об этом или о том всерьез. Скажите, что он ягуар. Вы видите старуху, идущую издалека, с лицом, испещренным морщинами; не говорите *Вот человек*, скажите *Вот идет деревянное изваяние* (...)“. Женщин называйте цветами. О женских юбках говорите *куст*, а о женской блузе — *пальмовые корни*. И мужская одежда так же меняется [в наименовании]. Одежду мужчины называйте его шерстью. Его шляпа — это гриб. Или это его сандалия. Прошу прощения, но то, что у нас вот здесь внизу, яички (*testicles*), называется авокадо. А член — это нос. Вот как это бывает»⁷¹.

Замечательно при этом, что в домашних условиях все эти наименования и ритуалы могут казаться смешными — постольку, поскольку они воспринимаются в перспективе обычной, повседневной жизни. По словам того же информанта, «когда мы возвращаемся [из Вирикуты] с пейотом (...), совершается обряд, и все меняется назад. А те, кто оставались дома, набрасываются на нас и спрашивают: „Как это вы все называли? Почему вы зовете руки руками, а когда ушли, называли их ногами?“ Но это оттого, что вещам вернулись их прежние названия. И все они

хотят знать, как там все называлось. Им рассказывают, и начинается хохот. Вот как это бывает»⁷².

Мы видим, что один и тот же текст может восприниматься — представителями одной и той же культуры! — как серьезный или смешной в зависимости от того, к какой действительности он относится.

III. Может ли быть понят текст, состоящий из несуществующих слов?

1. Мы обсуждали примеры немотивированного объединения лексем в пределах одной фразы при сохранении ее грамматической структуры (см. выше, § I). Мы видели, что такого рода фразы не могут рассматриваться как абсолютно бессмысленные: в принципе, они могут быть как-то поняты.

Обратимся к следующей группе примеров — к случаям, когда фраза состоит из искусственно созданных, т. е. не существующих в данном языке слов: в ней представлены лишь грамматические отношения (т. е. сохраняется синтаксис и морфология), при том что слова как таковые лишены какого бы то ни было (лексического) значения. Можно сказать, что, являясь грамматически правильными, эти фразы предстают как семантически аномальные⁷³. Такие фразы, как и предыдущие (рассмотренные в § I), были предложены логиками и лингвистами. Так, Р. Карнап сочинил фразу *Piroten karulieren elatisch*⁷⁴ (или в английской версии: *Pirots karulize elatically*⁷⁵), Л. В. Щерба — фразу *Глѡкая кѹздрѡ штѣко будланѹла бѡкра и курдѣчит бокрѣнка*⁷⁶, Ч. Фрис — фразу *The vapy koobs dasaked the citar molyntly*⁷⁷. Лингвистам — Л. В. Щербе и Ч. Фрису — эти фразы служили прежде всего для демонстрации возможности формального грамматического анализа, никак не зависящего от понимания. Наибольшей известностью пользуется первая (она же и последняя) строфа баллады “Jabberwocky” из “Алисы в Зазеркалье” Льюиса Кэрролла (гл. I); уместно напомнить, что автор этих стихов тоже был логиком. Вот этот текст:

'Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe⁷⁸.

«... Это довольно трудно понять, — замечает Алиса, прочитав балладу. — Это вроде бы наполняет мою голову мыслями, только я не знаю, какими именно» (... It's *rather* hard to understand! Somehow it seems to fill my head with ideas — only I don't exactly know what they are!)⁷⁹. Это замечание представляется исключительно точным.

Такого рода фразы ближайшим образом напоминают тексты на условных языках. Вот, например, текст на так называемом офенском языке (владимирских торговцев-коробейников):

«Мисовской курёхой стрёмышный бендюх прохандырили трущи, лохи биряли колыги и гомза; кубы биряли бряеть, и в устреку кундяков и ягреньт; а ламонные карюки курешали курески, ласые мешчата грошались. А здебешный бендюх прихлят касы, и масы стехнем Стоду чунаться». Перевод: «Нашей деревней третьего дня проходили солдаты, мужики их угощали брагою и вином; женщины подавали кушать и в дорогу им дали пирогов, и яиц, и блинов; а красные девки пели песни, малые же ребята смеялись. А сегодня пожалуют священники, и мы будем Богу молиться»⁸⁰.

На рассмотрении фразы Л. В. Щербы и стихов Л. Кэрролла мы специально остановимся ниже (см. § III-4 и § III-5).

2. В какой-то мере сходные тексты мы находим в загадках — с той, однако, существенной разницей, что наряду с созданными *ad hoc* словами здесь представлены и реальные слова соответствующего языка. Тем не менее, сопоставление приведенных выше примеров с загадками может оказаться полезным для нашей темы. Приведем некоторые примеры русских загадок:

Шел я на тюхтюхтю,
Нашел я валюхтюхтю,
Кабы эта не валюхтюхтя,
Так съела бы меня тюхтюхтя⁸¹.

Для того, чтобы понять этот текст, необходимо догадаться, что *тюхтюхтя* означает здесь медведя, а *валюхтюхтя* — топор.

В данном случае в самой форме этих слов как будто содержится подсказка: *тюхтюхтя* может рассматриваться как звукоподражательное слово, ассоциируясь с медвежьим топотом; *валюхтюхтя* созвучно глаголу *валить* (топором валят деревья), хотя *валюхтюхтя* и *топор* отличаются по грамматическому роду, — вместе с тем подобное слово, как мы увидим, встречается в загадках и в другом значении. Во всяком случае, такого рода подсказка совсем не обязательна, как можно видеть из нижеследующих примеров.

Ср.:

Пошел я за яхтахтой,
Попалась мне барахтахта;
Кабы не ухтахта,
Съела бы меня барахтахта⁸².

Здесь *барахтахта* означает медведя, *ухтахта* — собаку, *яхтахта* — охоту. Почему здесь представлен предлог *за* вместо ожидаемого *на* (говорят *пошел на охоту*, а не *за охотой*), мы не знаем, но можно предположить, что первоначально *яхтахта* означало не охоту, а что-то другое (мы можем представить себе, что человек пошел в лес за какой-то нужной ему вещью, которая и обозначена таким образом⁸³).

Ср. аналогичные примеры, где речь идет определенно об охоте:

Пошел я на тухтахту,
На встречу мне валухтухту,
Кабы не потяф-тяф,
Так бы меня в живе не было⁸⁴.

Отгадка та же: *тухтахта* — это охота, *валухтухту* — медведь, *потяф-тяф* — собака. Слово *потяф-тяф*, несомненно, звукоподражательного происхождения (ср. детское слово *тяф-тяф* с тем же значением). Если в приведенной выше загадке *валюхтюхтя* означало топор, то здесь фонетически близкое слово *валухтухту* означает медведя — потому ли, что медведь способен повалить человека, или же потому, что одни и те же формы могут переходить из загадки в загадку?

Вот еще пример с той же отгадкой (охота, медведь и собака):

Пошел по тухтухту,
Взял с собой тавтавту,
Нашел я на храп-тахту;
Кабы не тавтавта —
Съела бы меня храп-тахту⁸⁵.

Слово *храп-тахту* предстает как неизменяемое, но, возможно, в последнем случае его следует читать как *храп-тахта*; речь идет, видимо, о медведице. Слово *тавтавта* — звукоподражательное (ср. *тявкать*).

Ср. далее:

Вышел я на ухтухту,
Съела меня тавтавта
Кабы не пахтахта —
Горе бы мне⁸⁶.

Слово *ухтухта*, близкое к слову *ухтахта*, которое в приведенной выше загадке обозначало собаку, означает в данном случае улицу, тогда как собака, как и в предыдущем примере, обозначена словом *тавтавта*; *пахтахта* — палка. В словах *ухтухта* и *пахтахта* отразилось начало слов *улица* и *палка*.

Или еще:

Пришел шуру-муру,
Унес чики-брики,
Мякинчики увидали,
Житейничкам сказали;
Житейнички шуру-муру догнали,
Чики-брики отняли⁸⁷.

Шуру-муру (опять-таки, неизменяемое слово) — название волка, *чики-брики* — овцы, *мякинчики* означает свиней, *житейнички* — мужиков. Здесь, как кажется, содержится подсказка: *житейнички* могут ассоциироваться как с житом (хлебом), так и с жителями; между тем слово *мякинник* означает обжору⁸⁸, что хорошо соотносится с образом свиньи.

В другом варианте мужики называются «гречишниками»:

Услышали мякинники,
«Уставайте, гречишники!

Пришла жалта-балта,
Унисла шадру-бадру!»⁸⁹

Очень часто значение неизвестного (придуманного) слова в загадке подсказывается самим контекстом, который выводится из сопутствующих слов. Ср., например:

Рында роет,
Сканда скачет,
Турман едет —
Съест тебя⁹⁰.

Здесь *рында* — свинья, *сканда* — заяц, *турман* — волк (который при этом неожиданным образом едет, а не бежит).

Ср. далее:

Тяв-тяв дулейка:
«Выдь ко мне, улейка!
Страх тащит тепличку»⁹¹.

Тяв-тяв означает здесь тьявкать (детское слово), *дулейка*, соответственно, означает собаку, *улейка* — хозяйку, *страх* — волка, *тепличка* — овцу. В данном случае слово *страх* представляет собой реальное (а не придуманное ad hoc) слово русского языка, близкое по значению к слову *волк*; здесь может быть усмотрен семантический сдвиг по принципу *abstractum pro concreto*.

Приведем еще загадку о вспаханном и засеянном поле: *Старик старушку шангил-лангил, заросла у старушки шанга-ланга* (т. е.: орют поля и засевают, земля и закрывается)⁹². Здесь представлена двойная кодировка, т. е. текст закодирован на двух уровнях. Прежде всего необходимо расшифровать значение несуществующих в языке (но при этом очевидным образом между собою связанных) слов *шангил-лангил* и *шанга-ланга*; первое слово явно означает ‘*futuere*’, значение второго слова — ‘*vulva*’. Будучи связаны по форме, эти слова прямо не соотносятся с соответствующими словами русского языка, а порождаются одно из другого — подобно тому, как это может происходить в детской речи. После того как значения этих слов поняты, мы должны осознать, что они употреблены не в прямом, а в переносном смысле, и понять метафорический смысл всей фразы⁹³.

Вот описание коровы в загадке:

Четыре чебота,
Четыре громота,
Два ухта,
Один маштак⁹⁴.

И здесь также текст закодирован на нескольких уровнях. Прежде всего необходимо понять, что слово *чеботы* метафорически означает в данном контексте не обувь, а копыта, т. е. имеет место семантический сдвиг. Окончание *-та* (родительного единственного), представленное в форме *чебота*, по аналогии распространяется на другие слова (*громота*, *ухта*) — тем самым различные слова оказываются оформленными одинаковым образом. Подобно тому как *чеботы* означает здесь копыта, *ухта*, видимо, производное от *ухо*, означает рога; в обоих случаях исходное слово предстает не в своем значении. *Громота*, вероятно, относится к ногам, тогда как *маштак* означает хвост.

Ср. вариант той же загадки:

Четыре приступей,
Четыре громотухи,
Два ахмухта,
Два размухта
И вершок⁹⁵.

Здесь, видимо, описываются как рога, так и уши коровы (*два ахмухта*, *два размухта*).

В ряде случаев слова в загадках шифруются собственными именами, ср., например: «Был хлопун, у хлопунa была Оксинья; пришел Самсон, утащил у хлопунa Оксинью; прибежала трясушка, сказала хлопуну. Хлопун сел на хомутницу, поехал Самсона догонять, Оксинью добывать»⁹⁶. Наряду со словами, значение которых угадывается по внутренней форме (*хлопун* — пастух, он хлопает кнутом; *трясушка* — собака, трясется, когда лает; *хомутница* — лошадь, носит хомут), здесь есть слова, значение которых скрыто за собственными именами (*Самсон* означает волка, *Оксинья* — свинью).

3. Отличие такого рода загадок от интересующих нас текстов (фраз, предложенных Щербой, Карнапом или Фрисом,

или им подобных, см. § III-1) очевидно: если в загадках наряду с несуществующими словами (придуманными *ad hoc*) представлены и реальные слова русского языка, то в упомянутых фразах все слова являются непонятными и, следовательно, нуждаются в расшифровке. Вместе с тем, это явление того же порядка: если загадка предполагает зашифрованность текста, то в наших примерах эта зашифрованность достигает максимального уровня (распространяется на весь текст). Если применить к рассматриваемым текстам операцию расстановки кавычек, предложенную выше (см. § I-1), то в кавычки должно быть заключено каждое слово.

Такие фразы, как *Глокая куздра...* и т. п., являются непонятными не потому, что они вообще не могут быть поняты, а потому, что возможности их понимания неограниченны: эти фразы выглядят как уравнение со всеми неизвестными, где заданы отношения между символами, но конкретные значения их не раскрыты. Достаточно догадаться — пусть произвольным образом — о значении хотя бы одного слова, чтобы представить себе ситуацию, в которой и другие слова получают значение (как это имеет место в приведенных выше загадках)⁹⁷. Если все слова неизвестны, такого рода ситуаций, вообще говоря, может быть сколь угодно много.

При этом нужно отметить одно нетривиальное обстоятельство: мы не понимаем подобные фразы прежде всего потому, что знаем, что представленных в них слов не существует в языке. Соответственно, нарушаются условия коммуникации, которые были сформулированы выше (см.: *Глава II*, § I-1). Можно сказать, что в данном случае не соблюдается презумпция осмысленности, необходимая для понимания: чтобы понять текст, необходимо исходить из того, что в него вложен какой-то смысл.

Автору этих строк в свое время невольно пришлось стать участником необычного лингвистического эксперимента. В 1961 г., будучи аспирантом Московского университета, я был командирован в Копенгаген для занятий под руководством профессора Луи Ельмслева. Мне, разумеется, было крайне интересно встретиться с Ельмсловом: Копенгаген был в то время центром структурной лингвистики, Ельмслев же являлся одним из основателей

копенгагенской лингвистической школы. Вместе с тем и Ельмслеву было, по-видимому, небезынтересно встретиться с русским студентом и узнать о том, что происходит в Советском Союзе, где после дискуссии о языке 1950 г. возобновилась работа в области сравнительно-исторического языкознания, а после успехов кибернетики началась интенсивная работа в области структурной лингвистики. Я привез Ельмслеву русский перевод его книги (“Omkring sprogteoriens grundlæggelse”), незадолго перед тем опубликованный в Советском Союзе. При первой же нашей встрече мы разговорились. Ельмслев в свойственной ему живой манере начал вспоминать русских языковедов, с которыми ему довелось встречаться в свое время. В частности, он упомянул имя Л. В. Щербы. Мне захотелось рассказать ему, каким оригинальным и изобретательным лингвистом был Щерба, и я упомянул о «Глокой куздре...» (см. § III-1). В настоящее время эксперименты такого рода широко известны, но в то время это была свежая и увлекательная тема. При этом Щерба был первым исследователем, сделавшим подобные фразы предметом лингвистического рассмотрения⁹⁸.

Я знал, что Ельмслев в какой-то мере владел русским языком (мы разговаривали с ним по-английски). Он сказал мне, что его знание языка было пассивным, но он определенно мог читать по-русски, а среди его публикаций была по меньшей мере одна работа на русском языке⁹⁹.

Я воспроизвел фразу Щербы и рассказал о том, как он подвергал ее лингвистическому анализу. «И что же было дальше?» — спросил Ельмслев, явно ожидая какого-то интересного продолжения. Его реакция показалась мне странной. «Прошу прощения, — сказал я. — Вы поняли эту фразу? — Да, понял, — произнес Ельмслев, — продолжайте, пожалуйста».

Я растерялся. Эффект моего рассказа был потерян.

«Простите, — сказал я осторожно. — Не могли бы Вы сказать, что именно Вы поняли?» Ельмслев почувствовал себя неуверенно. Как уже говорилось, его знание русского языка было пассивным и ограниченным. Любой носитель русского языка сразу бы определил слова данной фразы как несуществующие, искусственно придуманные, и это послужило бы для него препятствием для понимания. Ельмслев не знал русский язык настолько хорошо, чтобы понять, что таких слов в языке нет. Будучи иностранцем, он заранее исходил из того, что те или иные слова могут быть ему неизвестны, и это обстоятельство никак не могло дать ему повод усомниться в существовании того или иного слова.

«Как Вы поняли это предложение?» — настаивал я. Несколько смущенный, Ельмслев сказал неохотно: «Мне показалось, что какое-то большое животное побило какое-то другое животное и бьет его детеныша. Разве не так?». Это впечатление было в общем достаточно правильным: как мы увидим, оно более или менее соответствует тем ассоциациям, которые может вызвать данная фраза у носителя русского языка (см. ниже, § III-4). Профессор Ельмслев не знал русский язык достаточно хорошо для того, чтобы понять, что слов, из которых составлена фраза Щербы, не существует; но он знал язык достаточно хорошо, чтобы понять общий смысл этой фразы.

Для того, чтобы понять подобные тексты, нужно отвлечься от того обстоятельства, что слова, из которых они состоят, отсутствуют в нашем языке, и отнести к ним как к незнакомым словам на знакомом нам языке; подобным образом мы воспринимаем, например, тексты на условных языках. Такие слова нередко встречаются как в устной, так и в письменной речи, и мы, как правило, оказываемся в состоянии понять общий смысл этих не встречавшихся нам ранее слов исходя из контекста, понимание которого подсказывают другие, знакомые слова. В рассматриваемых примерах таких слов нет, и мы действуем иначе: мы догадываемся (произвольным образом) о значении каких-то слов, и в нашем сознании возникает гипотетический контекст. Мы, разумеется, отдаем себе отчет в том, что наши догадки произвольны и необязательны, и мы готовы при необходимости вернуться к первоначальной догадке и переиграть все построение.

4. Итак, рассматриваемые фразы напоминают алгебраическую формулу (как это и подчеркивал в свое время Л. В. Щерба¹⁰⁰). При таком подходе эти тексты не выступают как бессмысленные: они предстают как непонятные, но при этом возникает желание их осмыслить (иначе говоря, разгадать). Л. В. Щерба настаивал на том, что созданная им фраза (*Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка*) имеет вполне определенный смысл, а именно: ‘Нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное

с его детенышем [точнее было бы сказать: с детенышем, принадлежащим к той же биологической особи]¹⁰¹. Таким образом, несмотря на очевидную, казалось бы, непонятность данной фразы, в ней представлена достаточно содержательная информация.

Важно, в частности, что мы можем с полной уверенностью утверждать, что *бокр* означает одушевленное существо (на это указывает форма винительного падежа *бокра*), способное, по-видимому, иметь детей (на это указывает соотношение слов *бокр* и *бокрёнок*). Скорее всего, это не человек, а животное, поскольку именно таким образом (с помощью суффикса *-ёнок*), как правило, обозначаются отношения между взрослым животным и детенышем. Это правило, впрочем, не абсолютно: есть случаи, когда и человеческие дети называются таким образом, но этих случаев ничтожно мало (они сводятся к трем примерам: *цыган* — *цыганенок*, *хохол* — *хохленок*, *негр* — *негритенок*, причем эти примеры, по-видимому, обусловлены уподоблением людей животным, ср. ниже). Соответственно, первое, спонтанное восприятие — пусть и не обязательно правильное — заставляет воспринимать слово *бокр* как название какого-то животного. Кроме того, в принципе не исключено, что *бокрёнок* означает не детеныша бокра (как интерпретировал это слово сам Щерба), а существо меньшего размера, но и таких случаев совсем немного в русском языке (таковы *повар* — *поваренок*, *пацан* — *пацаненок*, *пострел* — *постреленок*, *черт* — *чертенок*, *дьявол* — *дьяволенок*, *бес* — *бесенок*). Напротив, случаев, когда с помощью суффикса *-ёнок* обозначаются детеныши животных, в языке неограниченно много: действительно, это продуктивный способ обозначения детеныша животного, и допустимо полагать, что именно наименование животных повлияло на соответствующее наименование людей и чертей¹⁰². Итак, поскольку в абсолютном большинстве случаев пары, аналогичные паре *бокр* — *бокренок*, выражают отношение взрослого животного и детеныша, первое, что приходит в голову, это то, что *бокр* обозначает какое-то животное.

Более того, с известной вероятностью мы можем предположить, что это дикое животное, поскольку названия детены-

шей домашних животных нередко образуются от иной основы, нежели названия взрослых особей (ср.: *собака* — *щенок*, *лошадь* — *жеребенок*, *корова* — *теленок*, *свинья* — *поросенок*, *курица* — *цыпленок*)¹⁰³. Правда, это не всегда так (ср.: *кот* — *котенок*, *козел* — *козленок*, *осел* — *осленок*, *гусь* — *гусенок*, *индюк* — *индюшонок*, а также *жеребец* — *жеребенок*, *выжлец* — *выжленок*); характерно при этом, что образования на *-ёнок* могут встречаться у домашних животных в тех случаях, когда одно и то же название служит для обозначения домашнего и дикого животного (ср., например: *гусь*, *утка*). Во всяком случае для диких животных это нормальный и продуктивный — и, следовательно, практически неограниченный — способ образования, который, кажется, не знает исключений (чего нельзя сказать о животных домашних). Опять-таки: такова спонтанная ассоциация, на которой, разумеется, мы никак не можем настаивать, но естественно, что из нее мы исходим при восприятии нашей фразы. Мы не можем на этом настаивать, но мы можем этого ожидать.

Далее, если бокр — это дикое животное, то дело, скорее всего, происходит в лесу или в поле, вообще — в нецивилизованном пространстве. По аналогии мы можем думать тогда, что и глокая кудра тоже относится к разряду диких животных. Коль скоро кудре принадлежит активная роль по отношению к бокру и бокренку, кажется естественным предположить, что кудра превосходит бокра по своим физическим возможностям; поскольку же соотношение в силе обычно соответствует соотношению в размерах, мы можем представить, что слово *глокая* означает 'большая, огромная'. Конечно, и это не обязательно: в принципе глокая кудра может быть орудием или, например, мифологическим существом. И тем не менее, в силу ассоциативных связей, такое представление — при всей его необязательности — оказывается достаточно естественным.

В результате в нашем сознании возникает образ какого-то дикого существа (животного), которое напало на другое дикое животное и терзает его детеныша. Этот образ — повторим еще раз — не обязателен. Он является в нашем сознании примерно так же, как это случается, когда нам объясняют дорогу. Положим, нам говорят, что мы должны идти вперед по улице, пока не уви-

дим кирпичный дом, после чего следует повернуть направо. Мы спонтанно представляем себе — в силу тех или иных ассоциаций, которые могут иметь более или менее случайный характер, — многоэтажный дом из красного кирпича на той же стороне улицы, тогда как в действительности дом может быть одноэтажным, оштукатуренным (другого цвета) и находиться на другой стороне. Мы, конечно, знаем, что кирпичный дом не обязательно должен быть многоэтажным и красным, — мы исходим из ситуации, которую по тем или иным причинам считаем типичной. Язык, как мы уже отмечали выше (см. *Глава II, § VIII-1*), предназначен отнюдь не только для типичных ситуаций; однако в том случае, когда мы не знаем контекста, нам приходится исходить именно из ситуации типичной.

Мы вправе считать, что вырванная из контекста фраза вообще лишена конкретного смысла и представляет собой до некоторой степени искусственное явление, своего рода абстракцию (аналогично тому, как это считается иногда в отношении вырванного из контекста слова). Строго говоря, мы можем оценивать лишь правильность этой фразы, но не понимать ее в полном смысле этого слова. Мы понимаем такую фразу, предполагая возможность ситуации, где она (фраза) выступает как конкретно осмысленная (в которой она может быть интерпретирована на конкретном уровне), — т. е. понимаем ее приблизительно так же, на том же общем уровне, как понимаем алгебраическое выражение с неизвестными.

Вернемся к «Глокой куздре...». Как видим, различные детали описанной сцены (которая возникает в нашем сознании), определяются с разной степенью вероятности. С очень большой вероятностью можно предположить, что бокренок — это детеныш особи, обозначенной как *бокр* (хотя, строго говоря, это не обязательно). С большой вероятностью можно признать, что бокр и бокренок обозначают животных; достаточно вероятно при этом, что речь идет о диких животных. Наконец, более или менее вероятно думать исходя из создавшейся картины, что и куздра представляет собой дикое животное, и кажется возможным предположить при этом, что речь идет о большом животном, превосходящем по своим размерам бокра.

В заключение сошлемся на то, как трактует данную фразу А. Р. Лурия (который не совсем точно ее воспроизводит): «Эта фраза понимается как сообщение о том, что какое-то (*глокая*) животное (*куздра*) крепко (*штеко*) ударило или боднуло (*бодланула*) и продолжает что-то делать (*кудрячит*) с маленьким животным (*бокренком*)»¹⁰⁴. Как мы видели, действительно есть основания считать, что *куздра* — это животное; но откуда известно, что *бодланула* означает ‘ударила’, а *штеко* значит ‘крепко’? Строго говоря, это ни из чего не следует. Вместе с тем *бодланула*, очевидно, ассоциируется с *боднула*, и в этом контексте легко представить себе, что *штеко бодланула* означает именно ‘крепко ударила’. Само стремление вообразить некоторый контекст и домыслить таким образом значения недостающих слов оказывается достаточно естественным.

А. Р. Лурия выступает в данном случае не как исследователь, но как носитель языка, и именно в этом плане его восприятие может представлять интерес. Нельзя не отметить, что это восприятие более или менее совпадает с тем, как воспринял данную фразу Ельмслев (см. выше, § III-3).

5. Обратимся теперь к тексту Льюиса Кэрролла, который мы уже приводили выше (в § III-1):

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

При внимательном прочтении и этот текст, подобно фразе Щербы, оказывается совсем не таким бессодержательным, каким он может показаться: мы можем понять, хотя бы самым приблизительным образом, о чем здесь идет речь.

Прежде всего следует обратить внимание на то, что интересующий нас текст появляется в начале баллады “Jabberwocky” и затем повторяется в ее конце: он обрамляет балладу, представляя собой ее первую и последнюю строфу. Итак, перед нами зачин (экспозиция) произведения, совпадающий с его концовкой. Такого рода кольцевая композиция хорошо известна,

и мы знаем (благодаря знакомству с литературной традицией), что в подобных случаях зачин и концовка представляют обычно описание природы: таким образом вводится тот фон, на котором в дальнейшем может развертываться действие. Это описание нередко начинается безличным предложением, и именно такого рода предложение открывает интересующий нас текст: «'Twas brillig...»; слово *brillig* выступает здесь как прилагательное, и мы можем думать, что оно сообщает какую-то общую характеристику природных условий; например, оно может относиться к времени суток, погоде и т. п.

Следует отметить, далее, что искусственно придуманные слова встречаются и в основной (сюжетной) части баллады “Jabberwocky” — той части, где развертывается действие, — в целом не вызывающей трудностей для понимания (например: «*frumious Bandersnatch*», «*vorpal sword*», «*manxome foe*», «*uffish thought*», «*went galumphing*», «*O frabjous day!*», «*Callooh! Callay!*», «*He chortled in his joy*») ¹⁰⁵. Эти слова выступают как спорадические вкрапления в тексте, написанном на стандартном английском языке, и мы оказываемся в состоянии понять их смысл исходя из контекста (подобно тому, как это имеет место в русских загадках, о которых мы говорили выше, см. § III-2). Нетрудно заметить, вместе с тем, что эти слова созвучны знакомым нам словам английского языка, которые сходны с ними не только по звучанию, но и по значению. В некоторых случаях ассоциации такого рода совсем прозрачны и значение слова легко угадывается. Когда мы читаем, например, что лезвие меча «*went snicker-snack*» (вонзившись в тело чудовища по имени Jabberwock), мы без труда понимаем это выражение, отталкиваясь от известных в английском языке слов *snickersnee*, сообщающего идею проникновения оружия в тело, и *snack*, вызывающего мысль об укусе ¹⁰⁶. Когда мы узнаём, что, убив чудовище, герой баллады «*went galumphing back*», мы понимаем, что он радостно поспешил домой, — основываясь при этом на ассоциации неизвестного нам слова со словами *to gallop* (‘скакать галопом’) и *triumphant* (‘торжествующий’) ¹⁰⁷.

Некоторые слова из баллады “Jabberwocky”, придуманные Кэрроллом, встречаются затем в другом его сочинении, а именно,

в “Охоте на Снарка” (“The Hunting of the Snark”) ¹⁰⁸, определенным образом связанным, как подчеркивал сам Кэрролл, с этой балладой ¹⁰⁹. Таким образом, слова эти не могут считаться созданными *ad hoc*, это неологизмы в полном смысле слова; большинство из них вошло — со ссылкой на Кэрролла — в Оксфордский словарь английского языка ¹¹⁰. В целом позиция Кэрролла по отношению к языку может напоминать словотворчество Хлебникова — с той, однако, существенной разницей, что лингвистические эксперименты Хлебникова не имеют характера языковой игры и полностью лишены комического, игрового эффекта. На рассмотрении поэзии Хлебникова мы остановимся ниже (см. § IV-1).

В ряде случаев сам Кэрролл объясняет принцип образования слов такого рода. Так, слово *frumious* встречается затем — в сходном контексте — в “Охоте на Снарка” ¹¹¹, и в предисловии к этому своему сочинению Кэрролл сообщает нам, что оно составлено из слов *fuming* ‘дымящий, раздражающийся, сердящийся’ и *furious* ‘яростный’, — иначе говоря, *frumious* должно ассоциироваться как с тем, так и с другим словом, объединяя оба значения ¹¹². Здесь же мы находим и слово *uffish*, которое, как объясняет Кэрролл в частном письме, вызывает у него ассоциацию со словами *gruffish* ‘хрипловатый’, *roughish* ‘грубоватый’ и *huffish* ‘раздражительный’ ¹¹³. В том же письме содержится и объяснение слова *burble*, которым характеризуется поведение *Jabberwock*’а в балладе Кэрролла, — оно ассоциируется с *bleat* ‘блеять, мычать’ (так говорят о козле, овце, теленке), *murmur* ‘ворчать, жужжать’ (так говорят, например, о пчелах), *warble* ‘петь’ (о птицах); следовательно, *Jabberwock* издает звуки, объединяющие голоса различных животных ¹¹⁴. Равным образом, слово *chortle*, созданное Кэрроллом и характеризующее радостный крик отца героя, объясняется в Оксфордском словаре английского языка как контаминация слов *chuckle* ‘кудахтать’ и *snort* ‘храпеть’ ¹¹⁵. Неологизмы такого рода вообще возможны в английском языке, ср., например, американское слово *brunch*, означающее поздний завтрак и представляющее собой контаминацию слов *breakfast* ‘завтрак’ и *lunch* ‘обед’. Позднее Хампти-Дампти, объясняя Алисе рассматриваемую балладу, сравнит такие слова с саквояжем: «Понимаешь, — говорит он Алисе, — это как саквояж: два значения

упакованы в одно слово» (“You see it’s like a portmanteau — there are two meanings packed up into one word”)¹¹⁶; на объяснениях Хампти-Дампти мы остановимся ниже. Речь идет о контаминации (blending); в английской лингвистической терминологии слова, образованные таким образом, могут называться *blends*.

Одновременно Кэрролл может пользоваться известными словами английского языка, придавая им новое значение — опять-таки, исходя из фонетических ассоциаций¹¹⁷.

Вот как объясняет свои неологизмы Кэрролл (в предисловии к “Охоте на Снарка”): «Возьмите, например, слова *fuming* и *furious*. Представьте, что вы хотите произнести оба слова, но не решили, какое из них произнести сначала. Теперь открывайте рот и говорите. Если ваши мысли слегка склоняются к *fuming*, вы скажете *fuming-furios*; если они хотя бы в малейшей степени обращены к *furios*, вы скажете *furios-fuming*; но если вы наделены редчайшим из даров — умом совершенно уравновешенным, — вы скажете *frumious*. Представим себе, что когда Пистоль [в пьесе Шекспира “Генрих IV”, ч. II, акт V, явл. 3] произнес известную фразу: „Какого короля, негодяй? Говори, не то умрешь!“, — судья Шеллоу знал наверняка, что это был либо Вильям, либо Ричард, но не в состоянии был решить, который из них, так что он не мог произнести одно из этих имен раньше другого. Можно ли сомневаться, что, не желая умереть, он выпалил бы *Ричьям!* (*Richiam!*)?»¹¹⁸.

Как видим, Кэрролл исходит из опыта спонтанной, сбивчивой речи. Контаминации такого рода действительно возможны в процессе порождения фразы, но они характеризуют в этом случае именно речь, а не язык¹¹⁹. Кэрролл же стремится придать речевым явлениям языковой статус.

В свое время была предпринята попытка объяснить все слова рассматриваемого текста (первой строфы баллады “Jabberwocky”) как продукт контаминации (как portmanteau words)¹²⁰. Попытку эту едва ли можно признать удачной. Более того: хотя сам Кэрролл во многих случаях объясняет таким образом свои неологизмы, мы не можем быть уверены, что он всегда исходит из этого принципа — его объяснения могут быть результатом позднейшего осмысления. Именно так полагает, во всяком случае, один из наиболее компетентных исследователей языка Кэрролла: «Замечания Кэрролла о том, что слова в “Jabberwocky” представляют собой результат контаминации, должны быть приняты с оговор-

ками. Согласно Кэрроллу, эти слова были сознательно образованы автором, который каждый раз стремился представить значения двух отдельных слов в одной значимой форме, произнося их одновременно. Возникающий при этом неологизм предположительно должен был бы тогда содержать в своем значении частные значения составляющих слов. Можем ли мы ожидать, что читатель воспримет *frumious* как слово, содержащее значения *fuming* и *furious*? И все ли „трудные слова“ в балладе, как дает понять Кэрролл, образованы таким образом? (...) Мне кажется, что хотя некоторые слова в „Jabberwocky“ и могут действительно быть результатом контаминации по модели „slithy“ (*galumphing*, например, которое как будто содержит в себе что-то от *gallop* и *triumph*, или *chortle*, представляющее собой комбинацию из *chuckle* и *snort*), большинство неологизмов, скорее всего, было образовано Кэрроллом спонтанно. Определения слов, представленные в “Строфах англосаксонской поэзии” 1855 г. [“Stanza of Anglo-Saxon Poetry”, см. ниже], показывают, что Кэрролл не создавал сознательно контаминированные формы, за исключением *slithy*. Но и здесь мысль о том, что это слово составлено из *lithy* и *slimy*, могла прийти ему в голову после того, как слово было создано. Короче говоря, я полагаю, что несмотря на утверждение Кэрролла, будто теория Хампти-Дампти способна объяснить все неологизмы баллады, в действительности дело обстоит иначе. (...) Объяснение *frumious*, равно как и обсуждение *burble*, представляют собой соображения, придуманные задним числом. Это не означает, что Кэрролл не отдавал себе отчет в сознательной или бессознательной контаминации как способе образования слов; но он не создал все слова баллады, основываясь на этом принципе»¹²¹. Таким образом, в своем словотворчестве Кэрролл опирался, по-видимому, прежде всего на языковое чутье, а потом уже — задним числом — объяснял созданные им слова как контаминацию ассоциируемых с ними слов.

В отличие от основной части баллады, в первой и последней ее строфе почти все слова (за единичными исключениями) являются искусственно созданными¹²². Очевидно, таким образом, что зачин и концовка баллады не рассчитаны на сколько-нибудь точное — иначе говоря, определенное, однозначное — понимание (правда, Хампти-Дампти в состоянии понять эти стихи, но мы не всегда можем полагаться на его объяснения): они предназначены скорее для создания общего настроения, по-

добно увертюре в музыке. Тем не менее, мы можем ожидать, что и здесь действует тот принцип, который оказывается вообще основным у Кэрролла, — принцип фонетических ассоциаций. Если при анализе фразы Щербы мы основывались на словообразовании, то в настоящем случае мы, по-видимому, должны прежде всего исходить из фонетики и отчасти, может быть, из графики¹²³.

Предваряя нижеследующий анализ, необходимо заметить, что некоторые слова анализируемой строфы могут казаться странными носителю английского языка не только потому, что они являются неологизмами, но и по самому своему облику. Это объясняется тем, что Кэрролл первоначально опубликовал данное четверостишие в домашнем рукописном журнале “Misch-Masch” (1855 г.) под названием “Stanza of Anglo-Saxon Poetry” (см. ниже). Таким образом, первоначально эти стихи и не должны были восприниматься как текст на английском языке Нового времени. Включение данного четверостишия в балладу “Jabberwocky”, скорее всего, призвано придать этому произведению характер средневековой баллады, написанной на архаическом языке (и это подчеркивается ее зачином и концовкой). Этим объясняется, в частности, такое слово, как *brillig* (которое не выглядит как английское слово, но определенно воспринимается как германское по своему происхождению), а также иррегулярный (сильный) глагол *to outgribe*. При всем том данное четверостишие, несомненно, вызывает какие-то ассоциации у носителя английского языка — пусть смутные и неопределенные, — и мы постараемся определить, как может пониматься этот текст.

Так, слово *brillig* может вызвать у читателя ассоциацию с *brilliant* ‘яркий’, и тогда первое предложение может пониматься, например, как ‘было ярко’ или ‘светало’ (независимо от того, имел ли в виду такую ассоциацию сам автор); или же это слово может ассоциироваться с *to broil* ‘жарить(ся) на огне, на солнце’ (ср. также *to boil* ‘кипеть’), и в таком случае наше предложение означает, соответственно, ‘было жарко’; оба значения, вообще говоря, не противоречат друг другу и сливаются в единый образ. Нас не должно смущать то обстоятель-

ство — ни в этом, ни в других случаях, — что указанные ассоциации не вполне соответствуют объяснению Хампти-Дампти (см. ниже): ведь нас интересует в первую очередь непосредственное восприятие данного текста; кроме того, как мы увидим далее, замечания Хампти-Дампти могут иметь заведомо пародийный характер.

Слово *slithy* ассоциируется прежде всего с глаголом *to slither* ‘скользить’, откуда *slithery* ‘скользкий’ (ср. также *to slide* ‘скользить’, *slidery* ‘скользкий’, *sleazy* ‘гадкий, скользкий, тонкий’ и т. п.). Позднее Хампти-Дампти объясняет Алисе, что это слово означает *slimy* ‘слизистый’ и *lithe* ‘гибкий’, приводя его как пример «слова-саквояжа» (*portmanteau word*), когда, по его словам, «два значения упакованы в одно слово» (см. выше)¹²⁴. И здесь также объяснения не входят в противоречие, но скорее дополняют одно другое¹²⁵. Поскольку речь дальше пойдет о движении, в любом случае у нас возникает ассоциация с рептилиями, рыбами или чем-то подобным, и это дает общее представление о значении слова *tove*¹²⁶.

Слово *gyre* — реальное английское слово, одно из немногих в данном тексте (и характерно, что Хампти-Дампти ссылается при объяснении этого слова на этимологически связанное с ним слово *gyroscope* ‘гирискосп’); оно означает ‘кружиться, вертеться, вращаться’. Ср. еще глагол *to gyrate* с аналогичным значением.

Слово *gimble* могло бы ассоциироваться с глаголами движения, такими, например, как *amble* ‘легко двигаться’, *ramble* ‘двигаться без цели’¹²⁷, ср. также *nimble* ‘проворный, подвижный, гибкий’ (отметим еще *tremble* ‘дрожать, трястись’, *tumble* ‘падать’, *crumble* ‘крошиться’)¹²⁸, но наиболее вероятной кажется ассоциация с *gambol* ‘прыгать, скакать’¹²⁹. Впрочем, Хампти-Дампти объясняет нам в дальнейшем, что *gimble* должно соотноситься со словом *gimlet* ‘бурав’¹³⁰; если принять это объяснение, *gimble* означает, возможно, ‘вращаться, кружиться, сверлить, буравить’, и в таком случае *gimble* и *gyre* могут представлять как синонимы, вызывая в нашем сознании ассоциацию с вертящимися инструментами — такими, как гирискосп и бурав¹³¹.

Слово *wabe* ближайшим образом напоминает *wave* ‘волна’, и тогда *gimble in the wabe* может означать ‘скакать в волне’ или ‘по волнам’ (определенный артикль придает слову *wabe* обобщенно-собирательное значение) или, возможно, ‘вращаться, кружиться в волне (в волнах)’¹³². Что касается Хампти-Дампти, то он ассоциирует это слово с *way* ‘путь’, но мы не обязаны с ним каждый раз соглашаться; впрочем, значения слов *wave* и *way* могут иметь точки соприкосновения (мы можем представить себе, например, водный путь).

Слово *mimsy* может ассоциироваться с *fimsy* ‘тонкий, слабый, хрупкий’, так же как и с *whimsy* ‘причуда’, откуда *whimsical* ‘причудливый’. Согласно Хампти-Дампти, это слово объединяет слова *fimsy* и *miserable* ‘жалкий, убогий’; при таком понимании это еще один пример «слова-саквояжа» (*portmanteau word*). Вместе с тем в английском языке существует, вообще говоря, диалектное слово *mimsy*, которое может писаться также *minsey* и *minzy*, но мы не знаем, было ли оно знакомо Кэрроллу; оно означает ‘чопорный, щепетильный, стыдливый, презренный’¹³³. Не исключено, таким образом, что Кэрролл воспользовался в данном случае (как и в случае слова *gyre*) реальным английским словом¹³⁴. Все эти объяснения дают одну и ту же общую картину; речь идет, по-видимому, о характеристике существ, обозначенных как *borogoves*.

Слово *borogove* может вызвать ассоциацию с *borer* ‘бурав’, и тогда оно соотносится по значению с *gimlet*; может быть, не случайно Хампти-Дампти указывает, что *toves* похожи одновременно на барсуков, ящериц и штопоры (буравы и штопоры сходны по своей форме и функции). Одновременно это слово может напоминать *burrow* ‘нора’, *to burrow* ‘рыть нору, прятаться в норе’, откуда *burrow* как обозначение существа, обитающего в норе¹³⁵.

Слово *rath* может напоминать *rat* ‘крыса’ (правда, эта ассоциация имеет графическую, а не фонетическую подоплеку)¹³⁶, и по аналогии с уже сформировавшейся в нашем сознании картиной кажется естественным думать, что и в этом случае речь идет о каких-то животных. Это соответствует объяснениям как Хампти-Дампти, так и самого Кэрролла в журнале “Misch-

Masch”, которые мы цитируем ниже¹³⁷. Вместе с тем слово *rath* может означать в английском языке земляное укрепление или ограждение, но Кэрроллу, скорее всего, это значение было неизвестно, как неизвестно оно в абсолютном большинстве случаев и современному носителю английского языка; во всяком случае Кэрролл, надо полагать, не имел в виду это значение¹³⁸. Мы еще вернемся к обсуждению этого вопроса.

Что касается слова *tome*, то оно, возможно, объединяет значения *mother* ‘мать’ и *home* ‘дом’ (опять-таки, по принципу «слова-саквояжа» — *portmanteau word*)¹³⁹; в таком случае *tome raths* может означать каких-то живущих в доме животных или животных, покинувших свой кров, согласно объяснению Хампти-Дампти, который, впрочем, не вполне уверен в значении слова *tome*¹⁴⁰. С другой стороны, английское слово *tome* может значить ‘дурак’ (правда, это слово вышло из употребления), и, соответственно, *tome raths* означает тогда каких-то глупых животных¹⁴¹.

Наконец, слово *outrabe* представляет собой, очевидно, форму прошедшего времени от иррегулярного глагола *to outgribe* (выдуманного Кэрроллом)¹⁴², который может быть соотнесен, например, с глаголом *to grub* ‘копать’ (родственным слову *grave* ‘могила’), ср. *to grub out* ‘выкопать’¹⁴³. Это, в свою очередь, может вызвать ассоциацию с кротами, и тогда мы можем понять слово *tome*, соотнеся его с *mole* ‘крот’.

Разумеется, все эти ассоциации произвольны. Тем не менее, мы можем прийти к выводу, что здесь дано описание природы, причем описывается движение каких-то живых существ. Это не так много, но не так уж и мало.

Характерным образом, созданные Кэрроллом слова в ряде случаев вошли в английский язык: это означает, что им присваивается какое-то значение, которое читатель Кэрролла извлек из его текста. Так, например, в рецензии на балетное представление, опубликованной в газете “Times” от 8 февраля 1983 г., говорится: «Moreover his interpolated variation in the first act, danced to the normally unused *andante* of the *pas de trois* and consisting largely of slow *pirouettes en attitude*, looked as mimsy as the *borogoves* (sic!), and could not be regarded as successful»¹⁴⁴. Отсылка к *mimsy borogoves* дает представление о странных, неуклюжих, скованных движениях танцора. Заумные стихи Кэрролла пред-

стают, таким образом, как своего рода метатекст, т. е. первичный (по отношению к данному) текст, который призван помочь читателю понять, о чем идет речь¹⁴⁵.

Прочитав “Jabberwocky”, Алиса встречается затем Хампти-Дампти (в VI главе книги) и спрашивает у него, что означают слова данного текста. Далее следуют — слово за словом — объяснения интересующей нас первой строфы баллады («’Twas brillig, and the slithy toves...»), на которые мы отчасти уже ссылались выше. Не приходится принимать объяснения Хампти-Дампти всерьез; как бы то ни было, они, несомненно, представляют интерес для нашей темы. Вот как он объясняет наш текст:

“... There are plenty of hard words there. ‘*Brillig*’ means four o’clock in the afternoon — the time when you begin *broiling* things for dinner”.

“That’ll do very well”, said Alice: “and ‘*slithy*’?”

“Well, ‘*slithy*’ means ‘lithe and slimy’. ‘Lithe’ is the same as ‘active’. You see it’s like a portmanteau — there are two meanings packed up into one word”.

“I see it now”, Alice remarked thoughtfully: “and what are ‘*toves*’?”

“Well, ‘*toves*’ are something like badgers — they’re something like lizards — and they’re something like corkscrews”.

“They must be very curious-looking creatures”.

“They are that”, said Humpty Dumpty: “also they make their nests under sundials — also they live on cheese”.

“And what’s to ‘*gyre*’ and to ‘*gimble*’?”

“To ‘*gyre*’ is to go round and round like a gyroscope. To ‘*gimble*’ is to make holes like a gimlet”.

“And ‘*the wabe*’ is the grass-plot round a sun-dial, I suppose?” said Alice, surprised at her own ingenuity”.

“Of course it is. It’s called ‘*wabe*’, you know, because it goes a long way before it, and a long way behind it —”

“And a long way beyond it on each side”, Alice added.

“Exactly so. Well then, ‘*mimsy*’ is ‘flimsy and miserable’ (there’s another portmanteau for you). And a ‘*borogove*’ is a thin shabby-looking bird with its feathers sticking all-round — something like a live mop”.

“And then ‘*mome raths*’?” said Alice. “I’m afraid I’m giving you a great deal of trouble”.

“Well, a ‘*rath*’ is a sort of green pig: but ‘*mome*’ I’m not certain about. I think it’s short for ‘from home’ — meaning that they’d lost their way, you know”.

“And what does ‘*outgrabe*’ mean?”

“Well, ‘*outgribing*’ is something between bellowing and whistling, with a kind of sneeze in the middle: however, you’ll hear it done, maybe — down in the wood yonder — and, when you’ve once heard it, you’ll be *quite* content”¹⁴⁶.

Объяснения Хампти-Дампти нарочито комичны, но любопытны. Если при чтении данного текста у нас возникают какие-то ассоциации, то толкования Хампти-Дампти могут рассматриваться как своего рода пародия на эти ассоциации¹⁴⁷.

Далее Хампти-Дампти начинает читать свою поэму, написанную на вполне обычном английском языке. Приведем этот фрагмент:

“In winter, when the fields are white,
I sing this song for your delight —

only I don’t sing it”, he added, as an explanation.

“I see, you don’t”, said Alice.

“If you can *see* whether I’m singing or not, you’ve sharper eyes than most”, Humpty Dumpty remarked severely¹⁴⁸.

Два типа интерпретации оказываются противопоставленными при этом. Стихотворение “Jabberwocky” состоит из слов, не существующих в английском языке, и Алиса не в состоянии понять его, однако для Хампти-Дампти это вполне понятный текст. В то же время, с его точки зрения замечание Алисы «I see that you don’t [sing]» лишено смысла. Иначе говоря, Хампти-Дампти может понять заумный текст, но не может смириться с отсутствием в языке логики. Позиция Хампти-Дампти очень напоминает позицию логика, который считает, что фразы типа *a childless mother* или *an unfriendly friend* лишены смысла (см. выше, *Глава II*, § VIII-10). Можно предположить, что Кэрролл пародирует здесь логические рассуждения такого типа.

Объяснения Хампти-Дампти в значительной степени повторяют толкования самого Кэрролла в домашнем рукописном журнале “Misch-Masch” (1855 г.), где, как уже говорилось, пер-

вая строфа баллады представлена как имитация англосаксонской поэзии. Приведем эти толкования:

Bryllig (derived from the verb *to bryl* or *broil*), 'the time of broiling dinner, i.e. the close of the afternoon'. *Slithy* (compounded of *slimy* and *lithy*). 'Smooth and active'. *Tove*. A species of Badger. They had smooth white hair, long hind legs, and short horns like a stag: lived chiefly on cheese. *Gyre*, verb (derived from *gyaour* or *giaour*, 'a dog'). To scratch like a dog. *Gimble* (whence *gimblet*). 'To screw out holes in anything'. *Wabe* (derived from the verb *to swab* or *soak*). 'The side of a hill' (from its being *soaked* by the rain). *Mimsy* (whence *mimserable* and *miserable*). 'Unhappy'. *Borogove*. An extinct kind of Parrot. They had no wings, beaks turned up, and made their nests under sundials: lived on veal. *Mome* (hence *Solemome*, *solemone*, and *solemn*). 'Grave'. *Rath*. A species of land turtle. Head erect: mouth like a shark: forelegs curved out so that the animal walked on its knees: smooth green body: lived on swallows and oysters. *Outgrabe*, past tense of the verb *to outgribe*. (It is connected with old verb *to grike*, or *shrike*, from which are derived 'shriek' and 'creak'). 'Squeaked'. Hence the literal English of the passage is: 'It was evening, and smooth active badgers were scratching and boring holes in the hill-side; all unhappy were the parrots; and the grave turtles squeaked out'. There were probably sundials on the top of the hill, and the 'borogoves' were afraid that their nests would be undermined. The hill was probably full of the nests of 'raths', which ran out, squeaking with fear, on hearing the 'toves' scratching outside. This is an obscure, but yet deeply-affecting, relic of ancient Poetry¹⁴⁹.

Лишь в трех случаях (*gyre*, *wabe*, *outgrabe*) толкования в журнале "Misch-Masch" существенно отличаются от интерпретации Хампти-Дампти. Кэрролл дает здесь фантастические этимологии, ссылаясь на несуществующие англосаксонские слова. Если у Хампти-Дампти можно усмотреть пародию на рассуждения логиков, то здесь, по-видимому, пародируются методы лингвистов.

6. Мы рассмотрели два примера текста, состоящего из несуществующих слов, — русский («Глокая куздра...») и английский («'Twas brillig...»); мы определяем их таким образом, поскольку один текст написан по нормам русской грамматики, другой — английской. Хотя слова нам неизвестны, в обоих случаях мы пони-

маем — с бóльшим или меньшим успехом — общий контекст, в рамках которого так или иначе может быть осмыслена фраза.

Отсюда становится возможным даже сочинять рассказы, т. е. сюжетные тексты, полностью состоящие из не существующих в данном языке слов, — которые в общем и целом оказываются доступными для понимания. Возможность сочинения таких текстов была продемонстрирована Л. С. Петрушевской в цикле, первоначально озаглавленном ею “Лингвистические сказочки”¹⁵⁰. Приведем один из них — самый короткий (он называется “Пуськи бятые”):

Сяпала Калуша с калушатами по напушке и увазила Бутявку, и волит:

— Калушата, калушаточки, Бутявка!

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились.

А Калуша волит:

— Оее, оее! Бутявка-то некузявая!

Калушата Бутявку вычучили.

Бутявка вздрезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.

А Калуша волит:

— Калушаточки, бутявок не трямкают, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся.

А Бутявка за напушкой волит:

— Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!¹⁵¹

Русскому читателю этот текст совершенно понятен, и он может его пересказать — с большей или меньшей точностью: какие-то слова соответствуют русским (*сяпать* ‘идти’, *волить* ‘говорить’, *трямкать* ‘есть’, *зюмо* ‘очень’), в каких-то случаях ясен лишь общий смысл (например, *пуськи бятые* означает что-то обидное: так Бутявка дразнит калушат).

Как же мы понимаем этот текст? Мы читаем фразу. Она дает нам представление об отношении объектов, обозначенных существительными: очевидно, что речь идет о каких-то животных — матери и ее детенышах. При этом некоторые слова, хотя и придуманные, вызывают те или иные ассоциации — у нас появляются какие-то смутные и общие предположения от-

носителем их значения (подобно тому, как это имеет место и при чтении “Jabberwocky”). Эти ассоциации определяют возможный контекст, в рамках которого концентрируется наше сознание. У нас возникает предварительная гипотеза относительно содержания данного текста, и мы идем дальше. Если что-то в нашем предварительном понимании получает подтверждение, мы уточняем наши позиции. В противном случае мы возвращаемся назад и строим другую приемлемую гипотезу. Так, слово *напушка* созвучно слову *опушка*, и мы можем представить себе, что действие происходит на поляне около леса. Поскольку речь идет, по-видимому, о матери и ее детенышах, естественно предположить, что она их выгуливает. Слово *волит* предваряет прямую речь, и мы можем догадываться, что это какой-то глагол говорения. Ясно, что мать зовет калушат (*Калушата, калушаточки!*), и можно было бы думать, что *волить* означает ‘кричать’; но этот глагол затем повторяется в условно построенном нами контексте, который как будто не допускает такого значения, и оказывается, что целесообразнее приписать ему значение ‘говорить’. Слово *некузявая* означает какую-то отрицательную характеристику (и это подтверждается междометием *Оее, оее!*, которое ассоциируется с *Ой!*) — характеристику, заставляющую калушат «выучить бутявку»; мы не знаем, что такое *выучить*, но знаем значение префикса *вы-* и понимаем, что речь идет о каком-то действии, заставляющем предмет выйти наружу. Можно предположить, что это означает выплюнуть, тогда как *трямкать* может рассматриваться как звукоподражательное слово, означающее ‘есть’.

Как видим, понимание этого текста основывается как на словообразовании (например, *Калуша — калушата*), так и на фонетическом созвучии (например, *напушка — опушка*). Одновременно мы исходим из повторения слов, из пунктуации и т. п.

Так шаг за шагом проясняется значение текста. При этом в процессе чтения текста мы постепенно овладеваем языком, на котором он написан.

В одном из рассказов Петрушевской персонажи обсуждают фразу Щербы (*Глокая куздра...*): мать (Калуша) в разговоре со своими детьми (калушатами) упоминает поведение Глокой

куздры в качестве назидательного примера того, как не следует себя вести. Вот этот текст:

Калуша как забирит:

— Калушата! Калушаточки! Сяпайте на напушку!

Калушата вымзились из бурдысьев:

— Йоу?

— Сяпайте, сяпайте на напушку!

Калушата (Канна, Манна, Гуранна и Кукуся) присяпали.

— Ну, калушаточки (волит Калуша), распритюкивайтесь по напушке.

Калушата распритюкнулись: Канна, Манна, Гуранна — и наоттырь — Кукуся.

А Калуша волит:

— Инда побирим про Щербу.

— Йоу Щерба? — бирят калушата.

— А Щерба, — бирит Калуша, — огдысь-егдысь нацирикар:

«Глокая куздра кудланула [sic!] бокра и курдячит бокренка».

— Ну и йоу? — бирят калушата.

— Йоу: куздра кузявая? А, калушаточки?

— Ни, — бирят калушата. — Куздра некузявая.

— А йоу куздра некузявая?

— А куздра некузявая, ибо куздра кудланула бокра, — волят калушата.

— Ну! И курдячит бокренка! — бирит Калуша. — Ну и бирьте: кузяво ли, егды Канна, Манна и Гуранна курдячат Кукусю? А? Кудланули и курдячат? А?

— Некузяво, — бирит Кукуся. — Пуськи бятые, Канна, Манна и Гуранна.

А Канна, Манна и Гуранна не бирят ни-ни. Блуки вымзили наотпень и не бирят ни йоу.

Инда Канна волит Калуше:

— А Кукуся с Бутявчонком бирила, в бурдысьях-то.

А Кукуся возбнулась и усяпала с напушки.

— К Бутявчонку посяпала, — бирят Манна и Гуранна.

— А ну! — волит Калуша. — А ну, сяпайте за Кукусей — и без курдяченья! И Бутявчонка кудланите из бурдысьев! Фьюро!

Калушата усяпали с напушки. А Калуша волит:

— Щерба бятая¹⁵².

Оказывается, таким образом, что «лингвистические сказочки» Петрушевской написаны на том же языке, что и фраза Щербы¹⁵³.

В другом рассказе героиня (Калуша) на определенном этапе повествования начинает неправильно артикулировать. Этот дефект произношения воспроизводится при передаче ее прямой речи, и в результате мы имеем образцы не правильной речи на этом неизвестном нам языке. Ср.:

Сяпала Калуша по напушке.
А по напушке — оее! Ляпупа хвиндиляет.
Дохвиндила до Калуши, клямсы яко разбызила и волит:
— Киси-миси, Калушечка! Киси-миси, кузявенькая!
А Калуша:
— Йоу?
— Киси-миси, — бирит Ляпупа, вымзивши блуки на Калушу.
— Ну, киси, — бирит Калуша. — Ну, миси.
А Ляпупа волит:
— А у Ляпупы — мммквя! Потрямкай!
— Не. Мммквя — убня (бирит Калуша).
— Не убня! Кузявая мммквя! Потрямкай!
И возобнулась Ляпупа и — бздым! — вчучила Калуше мммквяю аж в клямсы! Инда клямсы у Калуши сопритюкнулись!
Сопритюкнулись — и ни втырь — ни оттырь. Сбьякнулись клямсы-то!
И Калуша бирит:
— Некузявая мммквя! Убня! (а бирит «Декузявая ббквя убдя», клямсы-то сбьякнутые инда).
А Ляпупа аж облампела и волит:
— О-е-е! Некузяво-то как биришь! Биришь «ды-ды-ды» да «бы-бы-бы!» С клямсами-то йоу?
А Калуша не отбирила никс и как некузявая посяпала с напушки (ммквяю с клямс отбьякивать).
Ну и Ляпупа похвиндила — кузявая-кузявая.
Клямсы разбызила и как зашмерендит:
— Змсяу! Йиу! Хфуф-оп-оп!¹⁵⁴

Мы столь подробно остановились на текстах Л. С. Петрушевской, поскольку они наглядно иллюстрируют процессы овладения языком — в особенности родным или близкородственным языком, при овладении которым мы можем в какой-то мере основываться на естественных языковых навыках. Именно таким образом, в частности, происходило усвоение церковнославянского языка, изучение которого основывалось, как правило,

не на грамматике, а на экспансии и модификации естественных языковых навыков¹⁵⁵.

IV. Преобразование языка в поэтическом тексте

1. Рассмотренные примеры так или иначе имеют игровой характер. Вместе с тем, сходное явление можно наблюдать в поэтических текстах. Особенно богатый материал в этом отношении дает творчество Хлебникова. С формальной точки зрения оно скорее напоминает приведенные выше загадки, чем фразы типа *Глокая куздра...*, поскольку наряду со словами, нам незнакомыми (созданными поэтом специально для данного поэтического текста), мы, как правило, находим у Хлебникова обычные слова стандартного русского языка; так же, как и в загадках, с помощью знакомых слов мы можем догадаться о значении слов нам неизвестных, и таким образом понять весь текст (см. § III-2). Но иногда целые фразы Хлебникова могут состоять из слов, им придуманных или отсутствующих в стандартном русском языке (они могут быть взяты из другого языка, из диалектной речи, и т. п.), и во всяком случае, не предполагающихся известными читателю.

Иллюстрацией может служить начало стихотворения Хлебникова “Немь лукает...” (1908 г.), отчасти разобранное и прокомментированное в свое время Б. А. Лариным¹⁵⁶:

Немь лукает луком немным
В закричальности зари.
Ночь роняет душам темным
Кличи старые «Гори!»
Закричальность задрожала,
В щит молчание взяла
И, столика и стожала,
Боем в темное пошла.
Лук упал из рук упавном,
Прорицает тишина,
И в смятении державном
Улетает прочь она¹⁵⁷.

Вот что говорит Ларин по поводу первого двустипа: «*Немь* (ср. *ночь*, соответствующее ему ниже) — лексический подъем, — ударное, четкое, легкое слово, действенное всех своих синонимов. *Лукает луком* — такое сочетание вернуло областному слову *лукает* (с обычным значением ‘бросает’) его этимологическое значение, — и здесь снова лексический подъем по сравнению с *стреляет*. *Закричальности* — отвлеченное слово в форме множественного числа, — подобное словоупотребление вошло в обычай русской лирической речи через Бальмонта и В. Брюсова, но у Хлебникова это новое отвлеченное слово, образованное будто бы так, как *запредельность* и под[обные], однако не от прилагательного, а от глагола, и притом разговорного, что сообщает ему своеобразную конкретность и интимность, сравнимые разве только с эффектом речи ребенка»¹⁵⁸.

Основываясь на этом анализе, мы можем передать значение первой фразы приблизительно так: ‘Ночь стреляет ночным луком в запредельности зари’ (образ стреляющей ночи может быть поддержан созвездием Стрельца)¹⁵⁹. При этом слово *закричальность* объединяет значение слов *запредельность* и *закричать* (по принципу кэрролловского «слова-саквояжа» — *portmanteau word*; см. выше, § III-5)¹⁶⁰; последнее слово ассоциируется с криком петуха или вообще с криком птиц, возвещающих зарю, и у нас возникает образ зари, с криком, распространяющимся за все пределы, — с которой пытается бороться ночь. Равным образом слово *немь* объединяет по тому же принципу значение слов *ночь* и *немой*; немота ночи противопоставлена, тем самым, крику зари, и когда ночь «роняет душам темным кличи старые», она делает это, видимо, немым (или тихим) образом, не нарушая тишины (в этом отношении кажется значимым сочетание *роняет кличи*).

Далее описывается космическая битва между ночью и зарей, где свету восходящего солнца противостоит огонь, возжигаемый в темноте. Заря предстает при этом как столикая и стожалая: наступая и распространяясь, она меняет свой облик, и лучи восходящего солнца являются как жала, направленные против ночи. Эта битва оканчивается победой зари: лук падает

упавном (слово *упавень* может напоминать нам слово *упадень* — так называют плод, упавший с дерева), и тишина *прорицает*, т. е. начинает говорить, — молчание нарушается, и пространство оглашается звуком (шумом наступающей зари). При этом слово *прорицать* лишается своего обычного лексического значения и как бы создается заново, подобно тому как создаются хлебниковские неологизмы: оно предстает как непереходный глагол, означая изменение состояния; в этом глаголе оживляется этимологическая связь со словами *рѣчь*, *реци*, тогда как приставка *про-* придает ему значение проникновения; таким образом, *прорицает* означает здесь ‘проникается, прорезается звуком’, т. е. тишина начинает говорить¹⁶¹.

Рассмотрим еще стихотворение Хлебникова “Сияющая вольза...” (1918 г.):

Сияющая вольза
Желаемых ресниц
И ласковая дольза
Ласкающих десниц.
Чезори голубые
И нрови своенравия.
О, мраво! Моя моролева,
На озере синем — мороль.
Ничьтрусy — туда!
Где плачет зороль¹⁶².

Комментируя эти стихи, Р. О. Якобсон писал: «Слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение зыблется, слово воспринимается как знакомец с внезапно незнакомым лицом или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое. (...) Усвоение облегчено, во-первых, сопоставлением двух субститутов начального согласного в одном и том же слове (*вольза* — *дольза*, *мороль* — *зороль*); во-вторых, одинаковым субститутом в двух соседних словах (*мраво* — *моролева*); в-третьих, соседством с деформируемым словом слова, из которого заимствован начальный согласный (*нрови своенравия*). Подобную субституцию находим в искусственных профессиональных языках»¹⁶³.

Комментарий Р. О. Якобсона имеет общий характер и не объясняет смысла данного стихотворения. Попробуем понять,

о чем идет речь (не приходится настаивать при этом на единственно возможном объяснении). Слово *долъза* соотносится с *долгий*, ср. дублетные формы *польза* и *польга* в русском языке¹⁶⁴. Аналогично *вольза* соотносится с *влажгой*, ср. также *волога* ‘жидкость’, *волглый* ‘влажный’ и т. п.¹⁶⁵ Итак, речь идет о влажных желаемых ресницах и долгих ласкающих десницах (слово *десница* означает при этом ‘рука’, а не ‘правая рука’)¹⁶⁶. Речь идет, конечно, о женщине. Ее характеризуют «чезори голубые и нрови своенравия». Слово *чезори* вызывает ассоциацию как с зорями (ср. в другом месте у Хлебникова: «Его зори — чезори»¹⁶⁷), так и с лазурью, и мы можем предположить, что таким образом описываются сияющие голубые глаза этой женщины¹⁶⁸. Одновременно *чезори голубые* предвещает упоминание *озера синего* (существительные в этих сочетаниях созвучны, тогда как прилагательные синонимичны), и мы вправе думать, что глаза женщины уподобляются озерам, что находит соответствие во влаге ресниц¹⁶⁹. Слово *нрови* соотносится с *норов*, но мягкое окончание превращает его в существительное женского рода (не потому ли, что это отвечает женской природе описываемого субъекта?); в целом *нрови своенравия* могут приблизительно пониматься как ‘своенравные прихоти’¹⁷⁰. Именно к этой женщине относится, надо думать, выражение *моя моролева*, где слово *моролева* объединяет значение ‘королева’ с каким-то другим значением — тем же, которое присутствует в слове *мраво*¹⁷¹. Это последнее слово, явно перекликающееся с корнем *нрав-*, присутствующим в предыдущей строке, может вызвать представление о мареве; в таком случае женщина, о которой идет речь, предстает как призрачная королева. Если *моролева* обозначает королеву, то *мороль* должно обозначать короля¹⁷². *Ничьтруссы* имеет значение, противоположное значению слова *трус*, т. е. означает бесстрашных людей¹⁷³. Слово *зороль*, как нам кажется, способно вызвать ассоциацию с какой-то птицей, плачущей на озере при восходе солнца (на заре)¹⁷⁴. Итак, бесстрашные призываются устремиться на синее озеро, где находится король (с тем чтобы освободить королеву?)¹⁷⁵.

Хлебников писал в этой связи: «Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для

тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл...» (заметка в записной книжке)¹⁷⁶. Ср. также: «Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, „второй смысл“, когда оно стекло для смутной, закрываемой им тайны, спрятанной за ним. Тогда через слюду и блеск обыденного смысла светится второй <...>. Это речь дважды разумная, двоякоумная, двуумная. Обыденный смысл — лишь одежда для тайного»¹⁷⁷.

Во многих случаях словотворчество Хлебникова сводится к замене одного звука другим; обычно это начальный согласный. Созданное таким образом слово ассоциируется с исходным (первоначальным), представляя вместе с тем как новое слово со своим специальным значением (которое нам неизвестно, но о котором мы можем догадываться). «Как часто, — говорит Хлебников, — дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий? <...> Заменяв в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания. <...> Возьмем такие слова: <...> *нраво*, или *нравда*, или *нравительство*, вы замечаете, как здесь, заменой *n* буквой *н*, мы перешли из области глагола *править* в область владений *нравиться*. <...> Правительство, которое хотело бы опереться только на то, что оно нравится, могло бы назвать себя *нравительством*. *Нравда* и *правда*. Слову *ветер* отвечает *петер* от глагола *петь*: „Это ветра ласковый петер...“ Слову *земец* соответствует *темец*. И обратно: *земена*, *земьянин* <...>; слово *бритва* дает право построить *мритва*, орудие смерти. Мы говорим: он *хитер*. Но мы можем говорить: он *битер*. Опираясь на слово *бивень*, можем сказать *хивень*. „Хивень полей — колос...“ Возьмем слово *лебедь*. Это звукопись. Длинная шея лебедя напоминает путь падающей воды; широкие крылья — воду, разливающуюся по

озеру. Глагол *лить* дает *лебу* — проливаемую воду, а конец слова — *ядь* напоминает *черный* и *чернядь* (название одного вида уток). Стало быть, мы можем построить — *небеди, небяжеский*: „В этот вечер за лесом летела чета небедей“. Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику. Слово *цветы* позволяет построить *мветы*, сильное неожиданностью. *Моложава, моложавый* дает слово *хорошава*: „хорошава весны“; „Эта осень опять холожава“. *Борозда, праздник — морозда, мраздник*. Если есть *звезды*, могут быть *мнезды*. „И мнезды меня озаряют“. *Чудо и чудеса* дает слова *худеса, времеса, судеса, инеса*. „Но врачесо замирной воли... и инеса седых времен, и тихеса — в них тонет поле, и собеса моих имен“. „Так инесо вторгалось в трудеса“. *Полон* строит *молон*. Подобно слову *лихачи*, воины могут иметь имя *мечачи*. *Трудавец, груздь, трусть*» («Наша основа», 1919 г.)¹⁷⁸.

Характерно упоминание об опечатках в этом контексте: Хлебников, в сущности, использует ту же технику, но в его случае это сознательный поэтический прием.

Более или менее аналогичным образом понимается заумная поэзия и на других языках. Вот, например, как интерпретирует французский критик (Жан Полан — Jean Paulhan) строку из стихотворения Анри Мишо (Henri Michaux) «Великая битва» (Le Grand combat, 1927 г.) *Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais*¹⁷⁹: «Два последних слова [*barufle, ouillais*], с одной стороны, вызывают в представлении *ouïes* ‘жабры’, *bouille* ‘рожа’ и *couilles* ‘testiculi’; а с другой стороны, они напоминают *barouf* ‘скандал’, *baroud* ‘драка’, *bouffer* ‘лопать’. Между тем мы знаем, что речь идет о битве. И одного этого вполне достаточно, чтобы вызвать у читателя пусть и смутное, но от того не менее сильное впечатление описываемой резни»¹⁸⁰.

В данном случае анализ основывается на том, что нам известен сюжет: круг возможных ассоциаций определяется названием стихотворения, которое, собственно, и задает его прочтение; совершенно так же образы абстрактной картины могут быть в какой-то мере понятными, если мы знаем название картины.

2. Отчасти сходный прием наблюдаем и у Мандельштама — стой, однако, принципиальной разницей, что Мандельштам, как правило, не создает неологизмы, а пользуется существующими в языке словами, которые выполняют при этом ту же роль, что у Хлебникова, т. е. объединяются с другим словом, образуя новое значение. В результате слово в переносном смысле (в метафорическом употреблении) может заменять у Мандельштама вполне конкретное слово (которое отвечает прямому употреблению); оба слова — реально употребленное и то, которое стоит за ним (и которое подсказывается контекстом), — семантически объединяются и создают новый образ. Оба слова, данное и подразумеваемое, при этом обычно обнаруживают какое-то сходство — как правило, они изоритмичны и фонетически схожи¹⁸¹.

Так, например, мы читаем в “Грифельной оде” (1923 г.):

Как мусор с ледяных высот —
⟨...⟩
Вода голодная течет,
Крутясь, играя как звереныш¹⁸².

Очевидно, что слово *голодная*, метафорически употребленное, заменяет здесь слово *холодная*, ожидаемое в данном контексте и отвечающее прямому (не метафорическому употреблению). Таким образом, эпитет *голодный* объединяет здесь оба значения — ‘голодный’ и ‘холодный’. Итак, если у Хлебникова исходное (мотивирующее) слово заменяется созвучным с ним неологизмом (который расшатывает исходное значение, вызывая те или иные дополнительные ассоциации), то у Мандельштама оно заменяется другим словом. Этот прием типичен для Мандельштама и — так же, как у Хлебникова, — имеет вполне осознанный характер¹⁸³.

Ср. еще описание грозы в “Стихах о русской поэзии” (1932 г.):

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой¹⁸⁴.

Слово *торговая*, по-видимому, заменяет здесь *торцовая*, тогда как *ливень* выступает вместо *парень*. Эти пары слов семанти-

чески объединяются, и в результате гром и ливень предстают здесь как персонажи жанровой сцены. Чтобы понять эти стихи, мы представляем себе ситуацию, где тележка, громыхая, катится по торцовой мостовой, а парень расхаживает с плеткой. На фоне этой воображаемой картины и воспринимается описание грозы, сопровождаемой ливнем.

Вот еще несколько примеров.

Из стихотворения “Не у меня, не у тебя, у них...” (1936 г.):

И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть¹⁸⁵.

Слово *улитки* читается на фоне не произнесенного вслух, но ожидаемого в данном контексте слова *улыбки*: оба слова как бы соединяются, образуя единый семантический спектр.

Из стихотворения “О, как мы любим лицемерить...” (1932 г.):

Еще обиду тянет с блюда
Невыспавшееся дитя¹⁸⁶.

Слово *обиду*, несомненно, воспринимается на фоне слова *еду*, с которым оно ассоциируется по форме. В данном случае соотносимые слова не изоритмичны, но это не типично.

Из стихотворения “Еще мы жизнью полны в высшей мере...” (1935 г.):

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки¹⁸⁷.

Речь идет о стрижке волос, и слово *взятки* (форма множественного числа от *взятка* ‘добыча пчелы’) заменяет здесь слово *прядки*. Оба слова семантически объединились.

Можно привести много примеров такого рода, но в этом нет необходимости, поскольку им посвящена специальная работа¹⁸⁸.

Соответствующие примеры можно найти и у других поэтов. Так, например, у Жуковского в балладе “Алонзо” (1831 г.) читаем:

Их [небес] блаженства пролетая
<...>
Там в блаженствах безответных.

Ясно, что слово *блаженство* заменяет слово *пространство*, которое и определяет поэтическое употребление: *блаженство* имеет здесь пространственный смысл¹⁸⁹.

У Туманского в стихотворении “Одесса” (1823 г.) говорится:

Здесь ночи теплые, луной и негой полны,
На злачные брега, на серебряные волны
Сзывают юношей веселые рои...

Слово *злачные* в этом контексте, несомненно, ассоциируется со словом *златые*¹⁹⁰.

Вместе с тем у Мандельштама, в отличие от других поэтов, такого рода примеры имеют не спорадический, но вполне последовательный характер. Семантическая актуализация ассоциативных связей, объединение значений соотносимых слов выступают у него как вполне осознанный поэтический прием, который получает описание в его теоретических работах (прежде всего в “Разговоре о Данте”)¹⁹¹.

Характерным образом высказывания Мандельштама о специфике поэтического языка могут напоминать декларации Хлебникова. Подобно Хлебникову, Мандельштам говорит о путешествии от одного слова к другому в поэтической речи. В обоих случаях речь идет о парадигматическом отношении слов (обычного слова и неологизма у Хлебникова, слова в прямом употреблении и слова в метафорическом употреблении у Мандельштама). «Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? — говорит Хлебников в цитированной уже выше статье “Наша основа”. — А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий? <...> Заменяв в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания»¹⁹². Ср. у Мандельштама: «Когда мы произносим, например, *солнце*, мы не выбрасываем из себя готового смысла — это был бы семантический выкидыш, — но переживаем своеобразный цикл. Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося *солнце*, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что

едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге. Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно, *мёд*, а кончается — *медь*; начинается *лай*, а кончается — *лёд*» («Разговор о Данте», 2)¹⁹³.

Если Хлебников, как мы видели, интересуется опечатками (см. выше), то в поэтике Мандельштама принципиальную роль играют оговорки, создающие новый смысл и порождающие новые варианты уже существующих стихотворений¹⁹⁴.

Отмеченная разница между Хлебниковым и Мандельштамом приводит к тому, что в то время как у Хлебникова все строится на звучании, образы Мандельштама могут иметь зрительный характер: Мандельштам, в отличие от Хлебникова, стремится к конкретной изобразительности; так, в частности, абстрактные идеи могут представлять у него в своей осязаемой образности¹⁹⁵. Кроме того, у Хлебникова интересующий нас прием никак не связан с метафорикой.

V. Некоторые обобщения

1. Странность рассмотренных выше примеров заключается либо в необычном сочетании слов (как, например, в случае *Colourless green ideas sleep furiously*), либо в необычности самих слов (как, например, в случае *'Twas brillig, and the slithy toves...*). В обоих случаях, таким образом, речь идет о лексике; напротив, с точки зрения грамматики и те и другие фразы представляются вполне обычными: они грамматически правильны, и мы можем их анализировать, определяя морфологическую форму каждого слова и синтаксические отношения слов. Мы можем также преобразовывать эти фразы, задавая вопросы типа: *Are green ideas colourless?*, *Was it brillig?*, и т. п.

Можно предположить, что первичным условием коммуникации является грамматическая правильность текста (акту-

альная или же восстанавливаемая — в случае эллипсиса или анаколуфа).

Словарь языка принципиально открыт, и часто мы можем услышать незнакомое слово или столкнуться с новым для нас словоупотреблением. Мы воспринимаем такое слово исходя из его окружения, и мы можем это сделать в той мере, в какой рассматриваемое нами слово вписывается в возможную грамматическую структуру фразы. Иначе говоря, грамматика определяет структуру фразы, в рамках которой происходит восприятие смысла.

Действительно, грамматически неправильные фразы могут быть поняты именно постольку, поскольку они могут быть представлены как грамматически правильные, — иначе говоря, если они осмысляются по стандартной грамматической модели. Так, английская фраза *look at the cross eyed of* заставляет некоторых информантов (носителей английского языка) считать *of* каким-то видом животного, т. е. они воспринимают это слово как существительное, пытаясь угадать его смысл; равным образом предложение *I saw a fragile of* (прочитанное с ударением на *of* и интонацией конца фразы) может вызвать вопрос: «что такое *of*?» (при этом слово *fragile* осмысляется не как определяемое, но как определение)¹⁹⁶.

Иллюстрацией к сказанному может служить стихотворение Каммингса (E. E. Cummings) “Anyone lived in a pretty how town...” (1940), которое в значительной степени состоит из грамматически аномальных фраз. Приведем начало и конец этого стихотворения (две первые и последнюю строфу):

anyone lived in a pretty how town
(with up so floating many bells down)
spring summer autumn winter
he sang his didn't he danced his did

Women and men (both little and small)
cared for anyone not at all
they sowed their isn't they reaped their same
sun moon stars rain

<...>.

Women and men (both dong and ding)
summer autumn winter spring
reaped their sowing and went their came
sun moon stars rain

Мы видим, что в ряде случаев слова выступают здесь не в своем грамматическом значении, и можем понять соответствующие фразы только в том случае, если признаем за такого рода словами новое грамматическое значение, определяемое контекстным окружением. Так, например, фраза *he danced his did* может быть понята постольку, поскольку глагольной словоформе (*did*) усваивается значение существительного, выступающего как дополнение к глаголу *to dance* (который тем самым предстает как переходный глагол). Одновременно по своей внутренней форме существительное *did* ассоциируется с прошедшим временем глагола *to do*, и таким образом это слово аккумулирует значения, определяемые парадигматической связью с глаголом *to do* и синтагматической связью с глаголом *to dance*. Сказанное, *mutatis mutandis*, относится и к таким фразам, как *he sang his didn't*, или *they sowed their isn't*, или, наконец, *women and men <...> went their came*. Точно так же слово *how* во фразе *anyone lived in a pretty how town* выступает не как наречие, а как прилагательное, слово *same* во фразе *they reaped their same* — не как прилагательное или местоимение, а как существительное. При таком восприятии все эти фразы предстают как грамматически правильные: грамматическая аномальность трактуется как аномальность лексическая — иначе говоря, приведенные фразы понимаются постольку, поскольку они вписываются в общие рамки английского синтаксиса, находя соответствие в той или иной синтаксической модели. Возможность восприятия такого рода определяется спецификой английского языка, в котором исключительно широко представлена конверсия, т. е. образование нового слова путем перевода основы в другую парадигму словоизменения; так, в частности, любое существительное в английском языке в принципе может быть преобразовано в глагол, и наоборот. Мы не будем останавливаться на других проявлениях грамматической аномальности в стихотворении Каммингса; укажем только, что они не представляют исключения к сказанному¹⁹⁷.

Остается заметить, что и фразы «*Я есмь*» *послал меня к вам*, и, соответственно, *I am hath sent me unto you* или “*I-will-be*” *has sent me to you* из русского и английского перевода Библии (Исх. III, 14), которые были предметом обсуждения в начале настоящей работы (см.: *Глава I, § II-1*), могут быть поняты постольку, поскольку выражения *Я есмь*, *I am* или *I will be* воспринимаются как одно слово (выступающее в роли существительного); в этом случае эти фразы приобретают статус грамматически правильного предложения.

2. Вернемся к вопросу, который был сформулирован выше (и вынесен в заглавие § III): может ли быть понят текст, состоящий — полностью или в значительной степени — из несуществующих слов? Мы вправе ответить на этот вопрос так: может, но лишь общим (приблизительным) образом. В самом деле, невозможно представить себе в точности конкретную ситуацию, которая мотивировала бы появление такого рода текста, но при этом оказывается возможным представить себе неопределенное множество подобных ситуаций. Пытаясь понять такой текст, мы не можем непосредственно основываться на нашем знании языка (как это происходит при обычной коммуникации), поскольку в нашем языке нет интересующих нас слов; однако мы можем преобразовывать этот язык таким образом, чтобы данный текст стал приблизительно понятным. В результате соответствующих преобразований мы, в сущности, создаем новый язык, но мы не имеем возможности знать точное значение вновь созданных слов. Вместе с тем, мы можем считать, что перед нами текст на обычном языке, но при этом присутствует «информационный шум», мешающий нам опознать точные значения употребленных слов; тем не менее, мы получаем некоторые идеи относительно их значения¹⁹⁸.

Это преобразование может происходить в рамках грамматической структуры языка (т. е. в принципе сводится к лексике): даже если адресант меняет грамматику языка, адресат воспринимает полученный текст как грамматически правильный.

Напомним наш тезис: для того чтобы понять текст, мы должны представить себе ситуацию, в которой мы сами могли

бы породить такой же или подобный — с нашей точки зрения — текст (см.: *Глава II*, § V-2). В рассматриваемых случаях мы, безусловно, не можем породить такой же текст, но у нас возникает ощущение, что мы могли бы при необходимости продуцировать до некоторой степени аналогичный текст (отсутствие такого ощущения в принципе равносильно признанию, что мы не понимаем соответствующей фразы); что является, а что не является аналогичным, определяем при этом мы сами. Поскольку ни при каких обстоятельствах мы не можем породить такой же в точности текст, мы вправе говорить лишь о пассивном понимании, — отличая его от понимания активного, при котором такое порождение в принципе предполагается возможным.

Примечания

¹ Carnap, 1931, с. 227. Фраза Карнапа более известна в английском переводе (*Caesar is a prime number*, см.: Carnap, 1959, с. 67). В другом месте Карнап обсуждает фразу *This stone is now thinking about Vienna* ('Этот камень думает сейчас о Вене'), которая в свое время явилась предметом полемики в Венском кружке (Carnap, 1936–1937, с. 5).

² Russel, 1940, с. 166.

³ В. Успенский, 1997/2002, с. 714.

⁴ См.: Ewing, 1937, с. 360. — Ср. еще: *Virtue is blue* ('Добродетель — синяя'), *Virtue is square* ('Добродетель квадратна') и т. п. (Shorter, 1956, с. 73–74).

⁵ Chomsky, 1957, с. 15 [Хомский, 1962, с. 418].

⁶ Ср. обсуждение проблемы грамматической правильности: Успенский, 1969.

⁷ Кавычки специфичны именно для метафорического употребления: другие виды тропов кавычками не отмечаются. Если мы возьмем в кавычки, скажем, синекдоху, она превратится в метафору (ср. например: *И слышно было до рассвета, как ликовал француз* и *И слышно было до рассвета, как ликовал «француз»*). Кавычки могут означать также иронию, но ирония не противопоставляется при этом метафоре.

⁸ Можно сказать, что говорящий играет роль другого человека, но эта игра проявляется исключительно на уровне высказывания, не распространяясь на мимику.

⁹ Иногда — в определенном стиле речи — кавычки оказываются практически излишними, т. е. могут быть безболезненно устранены. Приведем примеры из статьи акад. С. В. Вонсовского “Главное богатство”, опубликованной в газете “Книжное обозрение” (1970, № 4, с. 11): «Один мой товарищ по курсу, старый библиофил, часто брал меня с собой в „походы“ по букинистам ⟨...⟩. Учебников выпускают очень много, и по всем специальностям. Однако в этом важном вопросе имеются еще серьезные недостатки. Укажу на два из них. Первый, чисто технический, связан с „неповоротливостью“ Книготорга ⟨...⟩. Вторым недостатком (по существу вопроса) является неблагополучие в смысле качества учебников. Достаточно напомнить „скандал“, недавно разразившийся на страницах нашей печати в связи с учебником „Термодинамика“ ⟨...⟩. Наша школа [имеется в виду зимняя школа по теоретической физике] обычно „собирается“ в январе в одном из уральских домов отдыха». Во всех случаях (за исключением названия учебника) слова, взятые в кавычки, могут быть употреблены без кавычек, и смысл от этого не изменится. Это означает, что кавычки фигурируют здесь примерно так же, как фигурируют в устной речи так называемые слова-сорняки (типа *как говорится, так сказать* и т. п.). Неоправданная постановка кавычек, как и употребление слов-сорняков, представляет собой типичную характеристику некультурной речи.

¹⁰ Аристотель, IV, с. 670–671.

¹¹ Иное мнение у Якобсона, который считает, что фраза подобно-го рода просто ложна (см.: Jakobson, 1959/1971, с. 494 [Якобсон, 1985а, с. 237]; см. также: Drange, 1966). Ср. возражения Путнама (Putnam, 1961, с. 30–32 [Путнам, 1965, с. 74–78]).

¹² Ср. ниже (§§ III, IV) о возможности преобразования языка в процессе восприятия текста.

¹³ Кацнельсон, 1947, с. 310. Примером может служить хотя бы следующая фраза из “Детства” Толстого (глава “Охота”), где находит отражение охотничий жаргон: «Остров был голосистый, и гончие варили варом» (Толстой, I, с. 28).

¹⁴ О логической значимости кавычек см. вообще: Тарский, 1948, с. 94–98 (§ 18); Черч, 1960, с. 59 (§ 08).

¹⁵ См.: Jakobson, 1957/1971, с. 130–131 [Якобсон, 1972, с. 97].

¹⁶ Ср. у Цицерона (“De oratore”, III, гл. 40, фрагмент 161): «В окружающей природе нет такого предмета, обозначением и именем которого мы не могли бы воспользоваться для какого-либо понятия из другой области» (Nihil est enim in rerum natura, cuius nos non in aliis rebus possimus uti vocabulo et nomine — Ант. теории..., 1936, с. 217; ср.: Цицерон, 1972, с. 237).

¹⁷ Ср. в этой связи полемику Никиты Добрынина и Симеона Полоцкого по поводу фразы *Тебѣ собесѣдуютъ звѣзды* при обращении к

Богу в одной из молитв таинства крещения в Требнике 1658 г. (Требник, 1658, с. 39), исправленном при патриархе Никоне (в дониконовской версии читалось: *Тебѣ моляся звѣзды*; имеется в виду молитва: «Велій еси Господи, и чюдна дѣла твоя»). Согласно Никите Добрынину, звезды — это ангелы, однако ангелы могут лишь молиться Богу, но не беседовать с ним, в силу своего подчиненного положения: «ангелы не сопрестольны суть Богу, но сопрестольнъ есть Отцу Сынь и Святыи Духъ (...). А о звѣздахъ в писаніи не обрящется, чтобъ собесѣдницы Богу писались» (Румянцев, 1916, прилож., с. 339, 258). Отвечая на эти возражения, Симеон Полоцкий писал: «Нѣсть бо слово здѣ о собесѣдованіи устномъ или умномъ, ибо звѣзды ни устъ ниже ума имѣють, суть бо вещь неодушевленная (...), якоже написася в тойжде молитвѣ „Тебѣ поеть солнце“, „Тебѣ славить луна“ (...) убо яко здѣ метафорически [к этому слову дается глосса: преноснѣ] полагается „поеть“, „славить“ (...) и тѣмъ подобная. Вся же сія мѣста не суть безмѣстна, но лѣпо умствующимъ лѣпа же и блага: самому безумному Никите со единомысленники его соблазнъ и претыканіе» (Симеон Полоцкий, 1667, л. 55–56 об., обличение и возобличение 19-е). Если Симеон Полоцкий понимает выражение *Тебѣ собесѣдуютъ звѣзды* как метафору, то Никита Добрынин отказывается понимать его таким образом, настаивая на том, что оно должно иметь буквальный смысл. Ср.: Успенский, 1992/1996, с. 498–499.

¹⁸ В других случаях поэтический текст может напоминать фразу Хомского не на уровне предложения, а на уровне отдельно взятой синтагмы, которая обретает конкретный смысл в контексте всего предложения. Так, например, выражение *a grief ago*, взятое само по себе, может показаться не имеющим смысла, но оно оказывается вполне понятным в предложении *A grief ago I saw him there* (из поэмы Дайлана Томаса “A grief ago” — Levin, 1964, с. 310–314).

¹⁹ Напротив, фраза *Вскрываи ореховый живот / Медлительный палац бушмена* из стихотворения Бенедикта Лившица “Тепло” (1911 г.) представляется совершенно понятной, если и не иметь в виду метафорического употребления содержащихся в ней слов (лишь слово *ореховый* в выражении *ореховый живот* может пониматься как метафорическое обозначение коричневого цвета): в действительности же речь идет здесь не о казни бушмена, а об открывании орехового комода. См. об этих стихах автокомментарий поэта (Лившиц, 1933, с. 49–60; гл. I, § 8), а также: Гаспаров, 1984/1997 (с. 231–233).

²⁰ Существует несколько стихотворений, написанных по поводу фразы Хомского и, соответственно, включающих в себя эту фразу. Они не могут служить иллюстрацией к нашей мысли, поскольку мы знаем, что данная фраза является первичной по отношению к окружающему ее тексту: фраза порождает контекст, а не контекст — фразу.

²¹ В связи с дальнейшим обсуждением ср. также комментарий Якобсона к рассматриваемой фразе Хомского: Jakobson, 1959/1971, с. 494–495 [Якобсон, 1985а, с. 237].

²² Ср. у Гоголя в “Вие”: «После этого он заснул довольно громко» (Гоголь, II, с. 191). Будучи вырвана из контекста, эта фраза может показаться столь же бессмысленной, как и фраза *яростно спят*.

²³ Тем более, что мы способны вообще видоизменять наши языковые навыки и усваивать новые способы выражения в процессе восприятия текста (см. в этой связи §§ III, IV).

²⁴ Ср. еще: «Серж подошел к своей чужой жене Марише и пригласил ее танцевать» (из рассказа Л. Петрушевской “Свой круг” — Петрушевская, I, с. 65), — речь идет о ситуации, когда человек приглашает на танец свою бывшую жену, вышедшую замуж за другого (см. примеры такого рода: Апресян, 1989/1995, с. 625).

²⁵ Ср. *pallentes umbras Erebi* ‘бледные тени Эреба’ у Вергилия (“Энеида”, IV, 26), *pallida mors* ‘бледная смерть’ у Горация (4-я ода I книги), откуда у Державина: «И бледна смерть на всех глядит» (“На смерть князя Мещерского”). См. также выразительные примеры: Forcellini, III, с. 549.

²⁶ Об ассоциации греч. *χλωρός* со смертью см., в частности: Вауер, 1988, стлб. 1760; Louw & Nida, I, с. 697 (§ 79.35). Это прилагательное может характеризовать как цвет молодых побегов (светло-зеленый), так и цвет больного человека или же трупа (изжелта-бледный); эти разные на первый взгляд характеристики объединяются общим значением недостатка жизненных сил: в обоих случаях речь идет о недостатке сока, наполняющего организм жизнью (в частности, о недостатке крови) (мы благодарны М. М. Сокольской за это указание).

²⁷ Ср. лат. *palleo* ‘переменяться в цвете’. У лат. *pallidus* зафиксированы значения ‘бледный’, ‘белый’, ‘зеленый’, ‘свинцовый’, ‘розовый’, ‘красный’ (Thesaurus, X, стлб. 120).

²⁸ В церковнославянской (переведенной с греческого) “Хронике” Георгия Амартола читаем: «Ц[а]рствова Константина Зеленыи <...>. Зелень же нареч[e]нь лица его ради блѣда» (Κωνσταντίου <...> τοῦ ἐπικληθέντος Χλωροῦ — Истрин, I, с. 330; Сл. др.-рус. яз., III, с. 367). В объяснительном словаре к церковнославянскому тексту Нового Завета слово *блѣдыи* в выражении *конь блѣдь* переводится как ‘бледный’, ‘светло-гнедой’ (Гильтебрандт, 1882–1884, с. 98); светло-гнедая масть близка к желтому цвету.

Ср. церковносл. *плавый*, рус. *полóвый*, *полово́й* ‘светло-желтый’, ‘блеклый’, родственное как лат. *pallidus*, так и греч. *πελῖος* ‘бесцветный’, ‘бледный’, ‘темно-серый’, ‘темно-синий’. Как отмечает Н. Б. Бахилина, в славянских языках значение прилагательных, восходящих

к корню **polv-*, «очень неопределенно — то желтоватый, то синеватый» (Бахилина, 1975, с. 38).

²⁹ Французский перевод (с еврейского, арамейского и греческого) был выполнен доминиканцами в Иерусалиме, что и определило его название.

³⁰ Bible de Jérusalem, 1998, с. 2127; New Jerusalem Bible, 1985, с. 2036–2037.

³¹ Revelation, 1998, с. 382. Ср. пояснение: «*χλωρός* meaning ‘pale greenish gray’, is a color typical of corpses and therefore is associated with death».

³² Revelation, 1975, с. 96, ср. с. 99.

³³ Bible, 1535; Bible, 1550, с. 177 третьей пагинации; Bible, 1550a, л. 87 об. второй фолиации; Nouveau Testament, 1569, л. 428; Nouveau Testament, 1605, с. 958 (*cheval palle*); Nouveau Testament, 1660, с. 311 (*cheval de couleur pasle*); Nouveau Testament, 1667, II, с. 420; Nouveau Testament, 1678, с. 574 (*cheval pasle*).

³⁴ Bible, 1989, с. 3041 (*cheval blême*).

³⁵ Nouveau Testament, 1560, с. 676; Bible, 1563, л. 169 третьей фолиации; Nouveau Testament, 1592, с. 349; Nouveau Testament, 1594, л. 286 об.; Bible, 1606, л. 133 третьей фолиации; Nouveau Testament, 1664, тетр. Vb, л. 6.

³⁶ Ср. понимание идей как реально существующих прообразов вещей у Платона. См. выше, *Глава I*, примеч. 4, об аналогии между платоновскими представлениями и восприятием мира у туземцев Новой Гвинеи.

³⁷ См.: Лотман и Успенский, 1973/1996, с. 443–445. Ср. еще в этой связи: Кацнельсон, 1947, с. 310.

Точно так же метафорическое употребление не свойственно и речи ребенка (на ранней стадии развития), являющегося носителем именно мифологического сознания (ср.: Лотман и Успенский, 1973/1996, с. 440–441). Когда маленький ребенок показывает на самолет и произносит *бабочка*, он, видимо, не имеет в виду, что самолет похож на бабочку (как это было бы в случае метафорического употребления): самолет и бабочка просто-напросто обозначаются одним словом, подобно тому, например, как мы обозначаем одним словом разные виды бабочек (ср. о многозначности в детской речи выше, *Глава II*, примеч. 34).

Автор этих строк вспоминает характерный эпизод, произошедший на его глазах, когда он был ребенком. Я шел с няней по улице и видел женщину, идущую вдоль тротуара по мостовой. Неожиданно я увидел, как на женщину сзади наезжает машина, но — удивительным образом — не сваливает ее с ног, а переезжает ее, двигаясь сначала вверх, а потом

вниз в вертикальном направлении, т. е. поднимается по ней вверх, как по горе, и спускается вниз, и затем едет дальше, — так, как если бы человек или машина изменили свои размеры (как это бывает во сне, где соотносительные размеры предметов могут быть нерелевантны). Я отчетливо помню место, где это случилось (Новослободская улица в Москве, между Тихвинским и Вадковским переулком), и в какой-то мере могу его датировать (это было до войны, следовательно мне не могло быть более четырех лет). Уже в зрелом возрасте я часто вспоминал этот привидевшийся мне эпизод: представлялось совершенно очевидным, что этого быть не могло, что я не мог этого видеть, и вместе с тем образ увиденного настолько отчетливо запечатлелся в моей памяти, что мне трудно было отказаться от мысли, что я это действительно видел — видел наяву, а не во сне. Прошло много лет, прежде чем я понял, что действительно произошло: по-видимому, няня сказала мне: *Смотри, вот ее сейчас переедет машина!* или что-то в этом роде (как обычно говорят ребенку, чтобы предостеречь его от неосторожного поведения), и я это увидел — увидел настолько отчетливо, что впечатление осталось на всю жизнь!

³⁸ “Брихадараньяка Упанишада”, разд. Мадху, гл. I, 1-я брахмана, 1. См.: Сыркин, 1964, с. 67; Radhakrishnan, 1953, с. 149.

³⁹ Drange, 1966, с. 11. Пример № 3 восходит к фразе Карнапа (ср. выше, § I-1). Автор пытается также найти мотивирующий контекст для фразы *Quadruplicity drinks procrastination* (‘Четырехсторонность пьет промедление’), предложенной Расселом, однако трактовка этого примера не кажется удачной.

⁴⁰ Там же, с. 12. — Ср. обсуждение фразы *Самовар доказывает галку*, предложенной Колмогоровым: «... Эта фраза не лучше (с точки зрения правильности) и не хуже (с точки зрения осмысленности) такой, скажем фразы: *Пес разъяснил сову*. Последнюю же фразу следует признать вполне осмысленной ввиду цитаты из русской классики: „Нет, это не лечебница <...>, — в смятении подумал пес, — а сову эту мы разъясним...“ (М. А. Булгаков. “Собачье сердце”» (В. Успенский, 1997/2002, с. 714).

⁴¹ Пример сообщен П. Г. Богатыревым.

⁴² Перевод Б. Л. Пастернака. См.: Пастернак, II, с. 79.

⁴³ Кирша Данилов, 1977, с. 221, 353; *шебура* — одежда из грубой ткани.

⁴⁴ Там же, с. 222, 354.

⁴⁵ См.: Ушаков, 1896, с. 159–160; Зеленин, 1914–1916, с. 795, 1244. Ср.: Успенский, 1988–1989/1996, с. 62–63 (примеч. 52).

⁴⁶ Афанасьев, I, с. 567.

⁴⁷ Иванов, 1901, с. 113–114.

⁴⁸ См.: Успенский, 2006, с. 128 и 179–180 (примеч. 42). — Напротив, в похоронных и поминальных обрядах принято, как правило, круговое движение против солнца, т. е. против часовой стрелки (см. там же, с. 219–220, примеч. 148, ср. с. 181, примеч. 42).

⁴⁹ Сходство текстов того и другого рода способствовало ассоциации скоморохов с колдунами (ср.: Успенский, 1985/1996, с. 471–472). См. о борьбе со скоморохами на Руси в XVI–XVII вв.: Беляев, 1854, с. 89–92; Zguta, 1978, с. 45–65.

⁵⁰ См. подробнее: Успенский, 1985/1996, с. 460–466.

⁵¹ См.: Myerhoff, 1974; Myerhoff, 1978.

⁵² См. об этом: Myerhoff, 1978, с. 226, 228; Myerhoff, 1974, с. 31 (примеч. 1), 77–84, 102, 127–131.

⁵³ Ср.: Myerhoff, 1978, с. 231; Myerhoff, 1974, с. 148.

⁵⁴ «When the world ends (<...> all will be different, the opposite of what it is now. (<...> All will change places» (Myerhoff, 1978, с. 232; Myerhoff, 1974, с. 255).

⁵⁵ Myerhoff, 1978, с. 227, 238; ср.: Myerhoff, 1974, с. 147–148.

⁵⁶ Как видим, здесь допускаются и метафорические описательные выражения, которые противостоят прямому наименованию: описательные выражения оказываются при этом функционально эквивалентными антонимам.

⁵⁷ Myerhoff, 1978, с. 237; ср.: Myerhoff, 1974, с. 186.

⁵⁸ Myerhoff, 1978, с. 229.

⁵⁹ «... “Here we all were in the middle of the city, beneath the moon, having failed to bring back *hikuri* [одно из наименований пейота], having only baskets full of flowers because there was no *hikuri*”. This was said as we stood in the hot sun in the empty desert with our baskets heaped high with peyote» (Myerhoff, 1974, с. 149; ср.: Myerhoff, 1978, с. 228–229).

⁶⁰ «On the peyote hunt, we change the names of things because when we cross over there, into Wirikuta, things are so sacred that all is reversed» (Myerhoff, 1974, с. 148).

⁶¹ «Everything there is just as we know it, but backward» (Myerhoff, 1974, с. 258, примеч. 10). Ср.: Myerhoff, 1978, с. 226.

⁶² «Now we will change everything, all the meanings (<...> as it was in Ancient Times ...» (Myerhoff, 1978, с. 227).

⁶³ Myerhoff, 1978, с. 227.

⁶⁴ Myerhoff, 1974, с. 148.

⁶⁵ Там же, с. 149; Myerhoff, 1978, с. 227.

⁶⁶ Myerhoff, 1978, с. 228.

⁶⁷ «This reflects the fact that they are deities leaving paradise, not mortals returning from it» (Myerhoff, 1978, c. 228; cp.: Myerhoff, 1974, c. 243).

⁶⁸ «Look, (...) it is when you say “Good morning”, you mean “Good evening”, everything is backwards. You say “Goodbye, I am leaving you”, but you are really coming. You do not shake hands, you shake feet. You hold out your right foot to be shaken by the foot of your companion. You say “Good afternoon”, yet it is only morning» (Myerhoff, 1978, c. 236–237; Myerhoff, 1974, c. 185).

⁶⁹ «The mara'akáme says to a companion, “Look, why does that man over there watch us, why does he stare at us?” And then he says, “Look, what is it he has to stare at us with?” “His eyes”, says his companion. “No”, the mara'akáme answers, “they are not his eyes, they are tomatoes”. That is how he goes explaining how everything should be called» (Myerhoff, 1978, c. 237; cp.: Myerhoff, 1974, c. 186).

⁷⁰ «... When we see a dog, it is a cat, or it is a coyote. (...) When we see a burro, it is not a burro, it is a cow or a horse. And when we see a horse, it is something else. When we see a dove or a small bird of some kind, is it a small bird? No, the mara'akáme says, it is an eagle, it is a hawk. Or a piglet, it is not a piglet, it is an armadillo. When we hunt the deer (...), it is not a deer, on this journey. It is a lamb, or a cat. And the nets for catching deer? They are called sewing thread. When we say come, it means go away. When we say “shh, quiet”, it means to shout, and when we whistle or call to the front we are really calling to a person behind us. We speak in this direction here. That one over there turns because he already knows how it is, how everything is reversed. To say, “Let us stay here”, means to go, “Let us go”, and when we say “Sit down”, we mean “Stand up”» (Myerhoff, 1978, c. 237–238; Myerhoff, 1974, c. 186–187).

⁷¹ «It is so with Tatewarí, with Tayaupá (our Father Sun). The mara'akáme, we call him Tatewarí. He is Tatewarí, he who leads us. But there in Wirikuta, one says something else. One calls him “the red one”. And Tayaupá, he is “the shining one”. So all is changed. Our companion who is old, he is called the child. Our companion who is young, he is the old one. When we want to speak of the machete, we say “hook”. When one speaks of wood, one really means fish. Begging your pardon, instead of saying “to eat”, we say “to defecate”. And begging your pardon, “I am going to urinate”, means, “I am going to drink water”. When speaking of blowing one's nose, one says, “Give me the honey”. “He is deaf” means “How well he hears”. So everything is changed, everything is different or backward.

The mara'akáme goes explaining how everything should be said, everything, many times, or his companions would forget and make errors. In the late afternoon, when all are gathered around Tatewarí, we all pray there, and the mara'akáme tells how it should be. So for instance he says, “Do not

speak of this one or that one as serious. Say he is a jaguar. You see an old woman and her face is all wrinkled, coming from afar, do not say, 'Ah, there is a man', say, 'Ah, here comes a wooden image'. (...)» Women, you call flowers. For the woman's skirts, you say, 'bush', and for her blouse you say 'palm roots'. And a man's clothing, that too is changed. His clothing, you call his fur. His hat, that is a mushroom. Or it is his sandal. Begging your pardon, but what we carry down here, the testicles, they are called avocados. And the penis, that is his nose. That is how it is» (Myerhoff, 1978, с. 238–239; ср.: Myerhoff, 1974, с. 187–188).

⁷² «When we come back (...), they make a ceremony and everything is changed back again. And those who are at home, when one returns, they grab one and ask, "What is it you called things? How is it that now you call the hands hands but when you left you called them feet?" Well, it is because they have changed the names back again. And they all want to know what they called things. One tells them, and there is laughter. That is how it is» (Myerhoff, 1978, с. 238–239; ср.: Myerhoff, 1974, с. 187–188).

⁷³ См. в этой связи: Успенский, 1965, с. 74–77.

⁷⁴ Carnap, 1934, с. 2.

⁷⁵ Carnap, 1937, с. 2.

⁷⁶ См. об этом: Л. Успенский, 1974, с. 374.

⁷⁷ Fries, 1952, с. 111.

⁷⁸ Carroll, 1939, с. 140; Carroll, 1970, с. 191. Это стихотворение напечатано в книге в зеркальном отражении, так что Алиса, чтобы прочесть его, должна воспользоваться зеркалом. Это соответствует пространству Зазеркалья, в котором находится Алиса (при том, что сама Алиса, очевидно, не изменилась, пройдя сквозь зеркало, — в противном случае она могла бы прочесть стихотворение, не прибегая к зеркалу), и одновременно дает понять, что текст этот определенным образом закодирован.

Ср. письма Кэрролла детям, написанные зеркальным образом (Carroll, I, с. 517; Carroll, II, с. 1036).

⁷⁹ Carroll, 1939, с. 142; Carroll, 1970, с. 197.

⁸⁰ А. Успенский, 1822, с. 324; ср. неточное воспроизведение: Бондалетов, 1974, с. 78. Цитируемый перевод не является буквальным; так, например, фраза *лохи биряли колыги и гомза* буквально означает: 'мужики давали браги и вина' (на этом примере видно, что грамматически офенский язык в точности соответствует русскому, различия сводятся исключительно к лексике).

⁸¹ Садовников, 1875, с. 189 (№ 1541).

⁸² Там же, с. 189 (№ 1542б).

⁸³ Можно сомневаться даже, что первоначально в загадке речь шла о лесе, т. к. предлог *за* обычно избегался в крестьянской речи, когда речь шла о походе в лес (см.: Успенский, 2004, с. 32–33).

⁸⁴ Садовников, 1875, с. 189 (№ 1542).

⁸⁵ Там же, с. 189 (№ 1542а).

⁸⁶ Там же, с. 110 (№ 909).

⁸⁷ Там же, с. 188 (№ 1533).

⁸⁸ См.: Даль, II, стлб. 975.

⁸⁹ Садовников, 1875, с. 188 (№ 1533а). *Жалта-балта* в этом примере ближайшим образом напоминает слово *шалтай-болтай* (вариант: *шалты-болты*), известное в диалектной речи в значении ‘вздор, пустяки; ни то ни сё; дрянь’, которое объясняется как сочетание *шалтать* ‘болтать, лепетать’ (о детях) и *болтать* (Даль, IV, стлб. 1393; ср.: Фасмер, IV, с. 400).

⁹⁰ Садовников, 1875, с. 188 (№ 1535), ср. также с. 188 (№ 1535а).

⁹¹ Там же, с. 188 (№ 1532).

⁹² Адрианова-Перетц, 1935, с. 503.

⁹³ О мифологической подоплеке этой метафоры см.: Успенский, 1983–1987/1996, с. 88–91.

⁹⁴ Садовников, 1875, с. 104 (№ 857).

⁹⁵ Там же, с. 104 (№ 858). Ср. варианты под №№ 859, 860.

⁹⁶ Там же, с. 188 (№ 1534).

⁹⁷ В какой-то мере нечто подобное может происходить, когда мы слушаем музыку: то или иное звуковое сочетание вызывает у нас какую-то ассоциацию (например, ассоциируется с шумом дождя, ударяющего по кровле, или же с определенной речевой интонацией и т. п.), и в нашем сознании мгновенно возникает картина, порожденная узнанной музыкальной фразой (звуками, которым мы *ad hoc* приписали смысл). Эта ассоциация может распространяться на относительно большой фрагмент музыкального текста, определяя его восприятие.

⁹⁸ Щерба разбирал эту фразу в 1925 г. на лекциях в Институте истории искусств (Л. Успенский, 1974, с. 377, примеч. 1).

⁹⁹ Знание русского языка было обязательным для экзамена по сравнительному языкознанию, программа которого была определена Хольгером Педерсеном. Ельмслев был первым среди немногих студентов, которым удалось выдержать этот труднейший экзамен. См.: Успенский, 1962а, с. 151.

¹⁰⁰ См.: Л. Успенский, 1974, с. 376.

¹⁰¹ Там же. Ср. также комментарий Р. О. Якобсона к фразе Карнапа *Pirots karulize elatically*: «Мы не знаем, что это за загадочные „pirots“, но

мы знаем, что их много и что точное число их неизвестно, знаем, что они активны и что в приведенной выше фразе содержится какая-то неясная для нас характеристика их непонятной деятельности. Мы даже можем, исходя из этого предложения, строить другие предложения, такие как *A pirot karulizes or karulized before*» (Jakobson, 1976/1988, с. 355 [Якобсон, 1985б, с. 60]).

Аналогично у Огдена и Ричардса: «Предположим, кто-то утверждает: *The gostak distims the doshes* [‘Гостак дистимирует доши (или: дошей)’]. Ни вы, ни я не знаем, что это значит. Но если мы считаем, что это английская фраза, мы знаем, что *the doshes are distimmed by the gostak* [‘доши дистимируются гостак’]. Мы знаем также, что *one distimmer of doshes is a gostak* [‘тот, кто дистимирует доши, есть гостак’ или ‘то, что дистимирует доши, есть гостак’]. Далее, если эти *doshes* то же, что *galloons* [‘галуны’], мы знаем, что *some galloons are distimmed by the gostak* [‘некоторые галуны дистимируются гостак’]. И так мы можем двигаться дальше и дальше, что мы часто и делаем» (Suppose someone to assert: *The gostak distims the doshes*. You do not know what this means; nor do I. But if we assume that it is English, we know that *the doshes are distimmed by the gostak*. We know too that *one distimmer of doshes is a gostak*. If, moreover, the *doshes* are *galloons*, we know that *some galloons are distimmed by the gostak*. And so we may go on, and so we often do go on — Ogden & Richards, 1930, с. 46, со ссылкой на Ingraham, 1903).

¹⁰² Ср. в этой связи пару *пацан — пацаненок*. Слово *пацан* возводят к слову *пацюк* ‘поросенок, крыса’ (Фасмер, III, с. 222; примеч. О. Н. Трубачева). Разумеется, *пацаненок* не является сыном пацана, но на отношения этих слов повлияла, по-видимому, словообразовательная модель, принятая при обозначении животных (при том, что отношения взрослой особи и детеныша переосмыслились как отношения большого и малого).

¹⁰³ Равным образом названия мужской и женской особи в этом случае часто бывают разнокоренными.

¹⁰⁴ Лурия, 1998, с. 163.

¹⁰⁵ Возглас *Callooh!* может быть навеян названием северной утки *calloo*, которое имитирует ее крик.

¹⁰⁶ Оксфордский словарь приводит слово *snicker-snack* (вариант: *snickasnack*), определяя его как звукоподражательное: ‘with a snipping or clicking sound’ (Ox. Dict., XV, с. 850). Здесь не говорится, что слово это создано Кэрроллом, однако именно у него фиксируется наиболее раннее употребление.

¹⁰⁷ Говоря о последующем употреблении этого слова, составители Оксфордского словаря замечают, что смысл его «in current use may vary according to different notions of what the sound expresses» (Ox. Dict., VI, с. 339).

¹⁰⁸ Таковы слова *mimsy*, *outgribe*, *frumious*, *uffish*, *galumphing* (fit VII, verse 9; fit V, verse 10; fit VII, verse 5; fit IV, verse 1; fit IV, verse 17 — Carroll, 1939, с. 688, 690, 691, 697; Gardner, 1970, с. 195–196 (примеч. 16, 20, 23, 28, 31). Оксфордский словарь дает *uffish* как вариант слова *huffish* (Ox. Dict., XVIII, с. 807), однако Кэрролл, кажется, употребляет это слово в несколько отличающемся значении (см. ниже, примеч. 113); слово *uffish* не трактуется составителями словаря как созданное Кэрроллом, однако именно у Кэрролла фиксируется его наиболее раннее употребление.

¹⁰⁹ В предисловии к “Охоте на Снарка” Кэрролл в ряде случаев общается читателю, как должны читаться придуманные им слова из “Jabberwocky”, а именно, слова *slithy*, *toves* и *borogoves*: он указывает, что *slithy* следует произносить с дифтонгом [aɪ], *toves* — с дифтонгом [ou], а *borogoves* — с гласным [ɔ] в первом слоге. Ср.: «Поскольку эта поэма [“Охота на Снарка”] в какой-то мере связана с балладой о Джабервоке, позвольте мне воспользоваться случаем ответить на вопрос, часто мне задаваемый, как произносить *slithy toves*. Буква *i* в *slithy* читается как долгий гласный, как в слове *writhe*; и *toves* произносится в рифму с *groves*. Опять-таки, первое *o* в *borogoves* произносится как *o* в *borrow*. Я слышал, как некоторые люди пытались произнести его наподобие *o* в *worry*. Такова Человеческая Испорченность» (As this poem is to some extent connected with the lay of the Jabberwock, let me take this opportunity of answering a question that has often been asked me, how to pronounce “slithy toves”. The “i” in “slithy” is long, as in “writhe”; and “toves” is pronounced so as to rhyme with “groves”. Again the first “o” in “borogoves” is pronounced like the “o” in “borrow”. I have heard people try to give it the sound of the “o” in “worry”. Such is Human Perversity — Carroll, 1939, с. 678).

¹¹⁰ Таковы слова *chortle* (Ox. Dict., III, с. 172), *frabjous* (VI, с. 135), *frumious* (VI, с. 232), *galumph* (VI, с. 339), *manxome* (IX, с. 345), *mimsy* (IX, с. 793), *mome* (IX, с. 980), *rath* (XIII, с. 212), *slithy* (XV, с. 725), *tove* (XVIII, с. 311), *vorpal* (XIX, с. 764), *wabe* (XIX, с. 792), а также *outgrabe* (X, с. 1018) — последнее слово дается в словаре в неправильной форме (см. ниже, примеч. 142). Необходимо отметить при этом, что словарные статьи *manxome*, *mome*, *rath*, *tove*, *wabe* содержат примеры исключительно из Кэрролла, что не свидетельствует, вообще говоря, об их вхождении в словарный состав английского языка. В то же время включение в словарь таких слов, как *rath* или *mome* (со ссылкой на Кэрролла), дает понять, что составители словаря рассматривали эти слова как кэрролловские неологизмы, отличая их от омонимичных слов английского языка (см. ниже, примеч. 138 и 141).

Значение кэрролловских неологизмов, как правило, не определяется в словаре, хотя указывается, из каких слов они могут быть составлены; исключения представляют лишь *frumious*, *galumph*, *manxome*, *vorpal* и *outgrabe*.

¹¹¹ «those frumious jaws» (Carroll, 1939, с. 697; Gardner, 1970, с. 195, примеч. 23, ср. примеч. 24). В обоих случаях *frumious* характеризует существо по имени Bandersnatch.

¹¹² Carroll, 1939, с. 678; Gardner, 1970, с. 195, примеч. 23. См. ниже, примеч. 118.

¹¹³ По словам Кэрролла, *uffish* заставляет представить «состояние души, когда голос — *gruffish* [хриплый], поведение — *roughish* [грубое], настроение — *huffish* [раздраженное]» (a state of mind when the voice is gruffish, the manner roughish, and the temper huffish — Carroll, I, с. 293; Gardner, 1970, с. 196, примеч. 28).

¹¹⁴ «Если взять три глагола *bleat*, *murmur* и *warble* и выделить подчеркнутые мною компоненты, определенно получится *burble*; боюсь, однако, что не могу припомнить, образовал ли я этот глагол таким образом» (If you take the 3 verbs “bleat”, “murmur”, and “warble” and select the bits I have underlined, it certainly makes “burble”: though I’m afraid I can’t distinctly remember having made it in that way — Carroll, I, с. 293; Gardner, 1970, с. 196, примеч. 30). Слово *burble* известно в английском языке, но в других значениях: оно может означать ‘образовывать пузыри’, а также ‘путать, смешивать’ (Ox. Dict., II, с. 663). Таким образом, Кэрролл придает этому слову новое значение.

В ряде случаев сам Кэрролл затруднялся объяснить происхождение неологизма — в том же письме он пишет своему другу: «Боюсь, что не могу объяснить Вам *vorpall blade* — равно как и *tulgey wood*» (I am afraid I can’t explain “vorpall blade” for you — nor yet “tulgey wood” — Carroll, I, с. 293; Gardner, 1970, с. 196, примеч. 25).

¹¹⁵ Ox. Dict., I, с. 307.

¹¹⁶ Carroll, 1939, с. 198; Carroll, 1970, с. 271.

¹¹⁷ См. выше (примеч. 114) о слове *burble*, а также ниже (примеч. 138 и 141) о словах *rath* и *tote*. Ср. также: Gardner, 1970, с. 195–196, примеч. 18, 19, 26).

¹¹⁸ Ср.: «For instance, take the two words “fuming” and “furious”. Make up your mind that you will say both words, but leave it unsettled which you will say first. Now open your mouth and speak. If your thoughts incline ever so little towards “fuming”, you will say “fuming-furious”; if they turn, by even a hair’s breadth, towards “furious”, you will say “furious-fuming”; but if you have that rarest of gifts, a perfectly balanced mind, you will say “frumious”.

Supposing that, when Pistol uttered the well-known words —
“Under which king, Bezonian? Speak or die!”

Justice Shallow had felt certain that it was either William or Richard, but had not been able to settle which, so that he could not possibly say either name before the other, can it be doubted that, rather than die, he would have gasped out “Richiam!”?» (Carroll, 1939, с. 678; Gardner, 1970, с. 195, примеч. 23).

¹¹⁹ Ч. Хоккет описывает случай, когда, желая сказать «people born and raised in a culture», он произнес «people *braised* in a culture», причем фраза была понята окружающими (Hockett, 1961, с. 236 [Хоккет, 1965, с. 161]).

¹²⁰ См.: Partridge, 1950, с. 162–188.

¹²¹ «Carroll's explanation of the "Jabberwocky" words as blends is to be taken with considerable reservation. He implies that the words were consciously formed by the author's deciding in each case to incorporate the meanings of two separate words into one significant form by uttering the words simultaneously. The resulting neologism would supposedly then contain in its signification the individual significations of the words which comprise it. Is the reader seriously expected to believe that *frumious* contains the significations of both 'fuming' and 'furious'? And are all of the other "hard words" in the poem, as Carroll intimates, similarly compounded? (...) My own feeling is, that although some of the "Jabberwocky" words may indeed be blends after the manner of 'slithy' (*galumphing*, for example, which seems to have something of *gallop* and *triumph* in it, and *chortle*, a combination of *chuckle* and *snort*), it is more likely that most occurred to Carroll spontaneously in their final form. The definitions given for the words in the "Stanza of Anglo-Saxon Poetry" (1855) indicate that Carroll was not consciously creating blends in any word except *slithy*. Even there, the statement that it is composed of 'lithe' and 'slimy' may have occurred to him after the word was conceived. In short, I think that in spite of Carroll's published statement that Humpty Dumpty's theory will account for all of the words, such is not actually the case. (...) The explanation of *frumious* is, like his discussion of *burble*, an afterthought. This is not to say that Carroll was unaware of conscious and unconscious blending as a source of word-formation, but merely that he did not create all of the "Jabberwocky" words on that principle» (Sutherland, 1970, с. 150–151).

¹²² К исключениям относится прежде всего слово *gyre*, а также, может быть, *mimsy*. В некоторых случаях кэрролловские неологизмы совпадают с соответствующими английскими словами, но это совпадение, скорее всего, случайно. Таковы слова *rath* и *tome*, см. об этом с. 218–219 наст. изд. и ниже, примеч. 138 и 141. Ср. также примеч. 124 и 130 о словах *slithy* и *gimble*, примеч. 114 о слове *burble*.

В этом смысле оправдан перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник, которая (в отличие от других переводчиков) наряду с искусственно придуманными словами пользуется некоторыми реальными словами русского языка (см.: Кэрролл, 1924, с. 16). Переводчика можно было бы упрекнуть лишь в том, что количество реальных русских слов несколько превышает количество реальных английских слов в оригинальном тексте. Ср.:

Было супно. Кругтелся, винтятся по земле,
Склипких козей царапистый рой.

Тихо мисиков стайка грустела во мгле,
Зеленавки хрющали порой.

¹²³ Кэрролла особенно интересовало вообще формальное (фонетическое или буквенное) сходство слов, и на этом основано множество его шуток и игр. Одна из его игр называется «дублиеты» (Doublets, см.: Carroll, 1939, с. 1147–1153): берутся два непохожие друг на друга слова одинаковой длины (с равным количеством букв) и предлагается превратить первое слово во второе, последовательно заменяя буквы одна на другую — так, чтобы каждый раз посредством замены одной какой-либо буквы образовывалось новое слово. Так, например, слово *head* ‘голова’ может быть превращено в *tail* ‘хвост’ в виде цепочки *head — heal — teal — tell — tall — tail* (Carroll, 1939, с. 1149; Carroll, I, с. 573). При этом задание оформляется таким образом, чтобы фраза, сочетающая в себе оба исходных слова, имела смысл. Соответственно оказывается возможным *drive pig into sty* (‘загнать свинью в хлев’), *raise four to five* (‘увеличить четыре до пяти’), *dip pen into ink* (‘погрузить перо в чернила’) и т. п. (Carroll, 1939, с. 1152; Carroll, II, с. 741, примеч. 2, с. 1115, примеч. 0). Когда его знакомая, которую звали Элла, выходила замуж, Кэрролл написал ее мужу в поздравительном письме: «Do not make Ella weep» (‘Не заставляйте Элли плакать’). Муж попросил объяснения, и Кэрролл показал, как можно превратить слово *Ella* в слово *weep*: *Ella — ells — elms — alms — ales — apes — aped — sped — seed — weed* [сорняк] — *weep* (Carroll, I, с. 379, примеч. 2; см. еще примеры такого рода: Carroll, 1939, с. 1147–1153; Carroll, I, с. 339, 351, примеч. 2, с. 361; Carroll, II, с. 896, 1085–1086, с. 935, примеч. 1). В другой игре, названной им «сизигии» (Syzygies), промежуточные слова должны каждый раз иметь общие компоненты, например, задача «send man on ice» (‘пустить человека на лед’) решается посредством цепочки *man — permanent — entice — ice*, и т. п. (Carroll, I, с. 361). Сходным образом в одной из придуманных им игр один игрок задает ядро слова (nucleus), т. е. сочетание двух или более букв (таких, как *gp, em, imse*), а другой пытается найти слово, содержащее это ядро (например, *magpie, lemon, himself*) (Carroll, 1939, с. 1146). Наконец, очень часто языковые игры и шуточки Кэрролла основываются на анаграммах (см., например: Carroll, I, с. 292–294, 296; Carroll, II, с. 1010–1011, 1119).

Во всех этих случаях речь идет о буквах; поскольку написание и произношение не совпадают в английском языке, орфографические ассоциации могут играть у образованного англичанина такую же роль, как и фонетические.

¹²⁴ Следует отметить, что *slithy* должно было произноситься как [ˈslaɪði], а не как [ˈslɪði] (это специально подчеркивает Кэрролл в предисловии к “Охоте на Снарка”, см. выше, примеч. 109), ср.: *slimy* [ˈslaɪmɪ], *lithe* [laɪði]. Тем не менее, ассоциация с *slither* [ˈslɪðə] кажется вполне возможной.

Оксфордский словарь приводит форму *slithy* как вариант устаревшего слова *sleathy* ‘неряшливый’ (Ox. Dict., XV, с. 725). Едва ли Кэрролл имел в виду ассоциацию с этим словом.

¹²⁵ Ср. комментарий Фёрса к словам *brillig* и *slithy*: «*Brillig* в этой конструкции выглядит как форма, чуждая обычному английскому языку. *Slithy*, с другой стороны, звучит как нечто знакомое и определенно уничижительное. (...) Статистически большинство исконных английских слов с начальным *sl*, как кажется, ассоциируется с уничижительным контекстом» (*Brillig, placed where it is, sounds and looks a pattern foreign to current English. Slithy, on the other hand, is familiar and undoubtedly pejorative. (...) If we apply the test of frequent use, most native English words with initial sl seem to have been associated with pejorative contexts — Firth, 1951a/1957, с. 193–194*).

Составители Оксфордского словаря считают, так же как и Хампти-Дампти, что слово *slithy* может быть составлено из *slimy* и *lithe* («presumably a blend of *slimy* and *lithe*»), и, соответственно, определяют его значение как «smooth and active» (Ox. Dict., XV, с. 725). Это соответствует тому, что говорит о данном слове сам Кэрролл в журнале “Misch-Masch” (1855 г.), который мы цитируем ниже; составители словаря, таким образом, склонны принимать объяснение Кэрролла за чистую монету.

¹²⁶ Слово *tove* может напоминать *toad* ‘жаба’, однако это противоречит представлению о *toves* как о скользких существах: ассоциация *slithy* и *slither* является, несомненно, более сильной, чем ассоциация *toves* и *toads*.

¹²⁷ Фонетически близкое слово *gamble* ‘играть в азартные игры’, кажется, совсем не подходит по смыслу, т. е. не вписывается в контекст.

¹²⁸ Ср. комментарий Фёрса к слову *gimble*: «*Gimble*, вероятно, могло бы быть охарактеризовано как итеративный или фреквентативный глагол, возможно, с миниатюрными и образными ассоциациями» (*Gimble could probably be classed as an iterative or frequentative verb perhaps with diminutive and picturesque associations — Firth, 1951a/1957, с. 193*).

Наряду с движением, английские глаголы с такого рода окончанием могут также обозначать звучание (производство звука), ср. *tumble* ‘бормотать’, *rumble* ‘грохотать’, *grumble* ‘ворчать’. Характерно, что глагол *ramble* может означать как ‘бродить без цели’, так и ‘бессвязно говорить’.

¹²⁹ Следует иметь в виду, что *gimble* должно было произноситься с начальным смычным согласным [g], а не с аффрикатой [dʒ]. Это явствует из пояснений как Хампти-Дампти, так и самого Кэрролла (в журнале “Misch-Masch”), на которых мы остановимся ниже: в обоих случаях *gimble* сближается со словом *gimlet* (*gimblet*), которое читается с начальным смычным. Слово *gyre* (а также *gyrate*, *gyroscope* и т. п.) произносится с аффрикатой [dʒ].

¹³⁰ Это слово в соответствии со своей этимологией могло писаться как *gimblet* (ср. старофранц. *guinbelet*, *guimbelet*), и Кэрроллу было известно такое написание: он ссылается на него в журнале “Misch-Masch” (см. ниже). См.: Ох. Dict., VI, с. 515.

Оксфордский словарь дает форму *gimble* как вариант слова *gimbal* ‘карданов подвес (судового компаса)’ (Ох. Dict., VI, с. 514). Несомненно, Кэрролл не имел в виду этой ассоциации. Следует отметить, что слово *gimbal*, как и его вариант *gimble*, произносится с начальной аффрикатой [dʒ] — в отличие от кэрролловского *gimble* (см. выше, примеч. 129).

¹³¹ Менее вероятно исходить из значения глагола *to gimlet* ‘буравить, делать отверстия’, поскольку в таком значении слово *gimlet* выступает как переходный глагол — при том что в анализируемом тексте *gimble* очевидным образом предстает как глагол непереходный.

¹³² Слово *wabe*, вообще говоря, могло бы ассоциироваться также с *web* ‘ткань, паутина’, и тогда речь должна идти, по-видимому, о насекомых, но эта ассоциация не отвечает, как будто, сформировавшемуся уже представлению о движении каких-то скользких существ; кроме того, в этом случае ожидался бы скорее предлог *on*, а не *in*.

¹³³ См.: New Engl. Dict., VII/2, с. 455; Ох. Dict., IX, с. 793.

¹³⁴ См.: Gardner, 1970, с. 195 (примеч. 16). Точно так же Хлебников наряду с искусственно созданными неологизмами пользуется редкими словами, заимствованными из диалектов или из других славянских языков, которые получают при этом статус заумной лексики (ср. ниже, § IV-1).

Составители Оксфордского словаря полагают, однако, что *mimsy* у Кэрролла может быть придуманным словом и что текст Кэрролла повлиял на последующее употребление диалектного по своему происхождению слова *mimsey* (Ох. Dict., IX, с. 793).

¹³⁵ Следует, однако, иметь в виду, что *borogove*, согласно Кэрроллу, должно произноситься с гласным [ɔ] в первом слоге, т. е., видимо, как [ˈbɔrɔ.gouv], тогда как *burrow* произносится с гласным [ʌ] — как [ˈbʌrou]. Говоря о произношении слова *borogove*, Кэрролл сообщает, что он слышал, как некоторые люди произносили его со звуком [ʌ] (см. выше, примеч. 109); не исключено, что эти люди исходили, сознательно или бессознательно, из ассоциации *borogove* и *burrow*.

¹³⁶ Другая возможная ассоциация — слово *wrath* ‘гнев’. Эта ассоциация кажется менее вероятной, поскольку плохо вписывается в контекст. Следует подчеркнуть, что если в американском варианте английского языка *rath* и *wrath* произносятся одинаково как [ræθ], то в британском английском они отличаются по произношению: слово *wrath* произносится здесь не [rɑ:θ], но [rɔθ].

¹³⁷ Согласно Хампти-Дампти, это слово означает зеленую свинью; согласно объяснению в журнале “Misch-Masch” — земляную черепаху.

¹³⁸ Иначе считает Гарднер (см.: Gardner, 1970, с. 195, примеч. 19), однако Оксфордский словарь дает слово *rath* в указанном значении и кэрролловское *rath* как отдельные словарные статьи (Ox. Dict., XIII, с. 212), никоим образом их не отождествляя.

Оксфордский словарь дает как для слова *rath* ‘укрепление, ограждение’, так и для кэрролловского неологизма *rath* два варианта произношения: [rɑ:θ] и [ræθ] (Ox. Dict., XIII, с. 212). Более ранний Новый английский словарь указывает для слова *rath* ‘укрепление, ограждение’ лишь произношение [rɑ:θ] (New Engl. Dict., VII/2, с. 455); кажется вероятным, что и кэрролловское слово должно было произноситься таким образом. Соответственно, форма множественного числа *raths*, скорее всего, должна была читаться со звонкой аффрикатой, как [rɑ:ðz], по аналогии с формами множественного числа таких слов, как *path* ‘путь’ или *bath* ‘баня’, ср.: *path* [pɑ:θ] — *paths* [pɑ:ðz], *bath* [bɑ:θ] — *baths* [bɑ:ðz].

¹³⁹ Слово *mom* может означать ‘мать’, но это специфично для американского варианта английского языка.

¹⁴⁰ В журнале “Misch-Masch” (см. с. 221–222 наст. изд.) Кэрролл объясняет это слово как ‘важный, степенный’, ссылаясь при этом на якобы существовавшие в древности слова *solemome*, *solemone*, а также на слово *solemn*.

¹⁴¹ Составители Оксфордского словаря посвящают кэрролловскому слову *tome* особую словарную статью, отличая его от *tome* ‘дурак’, но не определяя при этом значения этого слова (Ox. Dict., IX, с. 980).

¹⁴² Оксфордский словарь, ссылаясь на Кэрролла, ошибочно дает исходную форму *to outgrabe* вместо *to outgribe* (Ox. Dict., X, с. 1018). По-видимому, эта ошибка не уникальна, т. к. в одном из примеров к словарной статье мы находим здесь форму прошедшего времени *outgrabed* (см. ниже, примеч. 145).

¹⁴³ Глаголы с префиксом *out-* могут иметь в английском языке либо значение превосходства (ср., например: *to outdo* ‘превзойти’, *to outrun* ‘перегнать’ и т. п.), либо значение выхода наружу, и тогда они могут соответствовать сочетанию глагола с наречием *out* (ср., например: *to out-break* = *to break out* ‘выламывать’, *to out-speak* = *to speak out* ‘высказывать’ и т. п.). В первом случае такие глаголы предстают как переходные, между тем в балладе Кэрролла глагол *to outgribe* явно выступает как непереходный; таким же он является и в другом кэрролловском тексте — “Охоте на Снарка”: «But it fairly lost heart, and outgrabe in despair» (fit 5, verse 10 — Carroll, 1939, с. 691; Gardner, 1970, с. 195, примеч. 20).

Согласно объяснениям Хампти-Дампти и самого Кэрролла (в журнале “Misch-Masch”), которые мы цитируем на с. 221–222 наст. изд., глагол *to outgribe* означает производство какого-то резкого или громкого

звука (вой, свист, крик, скрип и т. п.), однако он не вызывает как будто ассоциаций такого рода.

¹⁴⁴ Ох. Dict., IX, с. 793.

¹⁴⁵ Сходным образом в журнале “Satyrical Review” от 7 февраля 1903 г. читаем: «Dr. Shrapnel ‘outgraped’ them both», причем отмечается, что *to outgrabe* используется здесь в значении *to outdo* ‘превзойти’, *to out-Herod* ‘переусердствовать, дойти до крайностей’ (Ох. Dict., X, с. 1018). Глагол *to outgrabe* восходит к кэрролловскому *to outgribe*; этот пример фигурирует в Оксфордском словаре в статье к глаголу *outgrabe* (ср. выше, примеч. 142).

В журнале “New Yorker” от 10 января 1970 г. говорится: «A frabjous sort of place in a somewhat vorpal neighborhood» (Ох. Dict., VI, с. 135); ср. еще в журнале “Time out” от 20–26 марта 1981 г.: «Pity the slithy toves of academe [sic!]» (там же, XV, с. 725).

¹⁴⁶ Carroll, 1939, с. 198–199; Carroll, 1970, с. 270–272. Перевод:

«— (...) Здесь множество трудных слов. *Brillig* значит четыре часа пополудни — время, когда начинают жарить (broiling) пищу для ужина.

— Да, это хорошо подходит, — сказала Алиса, — а *slithy*?

— Ну, *slithy* значит *lithe* [гибкий] и *slimy* [слизистый]’. *Lithe* — это то же, что *active* [активный, живой]. — Понимаешь, это как портмоне: два значения упакованы в одно слово.

— Теперь понятно, — заметила Алиса в раздумье. — А кто такие *toves*?

— Ну, *toves* это что-то вроде барсуков — что-то вроде ящериц — и что-то вроде штопоров.

— Должно быть, они забавно выглядят.

— Так оно и есть, — сказал Хампти-Дампти, — и еще они строят себе гнезда под солнечными часами, и еще они питаются сыром.

— А что насчет *gyre* и *gimble*?

— *To gyre* — это кружиться, как гироскоп. *To gimble* — делать дырки, как бурав.

— А *the wabe* — это, я думаю, травяная лужайка вокруг солнечных часов? — сказала Алиса, пораженная собственной сообразительностью.

— Ну конечно. Она, видишь ли, называется *wabe*, потому что она проходит долгий путь (*way*) до и после.

— И долгий путь помимо того с каждой стороны, — прибавила Алиса [здесь обыгрываются три предлога одинаковой морфологической структуры, которые упоминаются вместе в английской грамматике: *before*, *behind* и *beyond*].

— Вот именно. Ну вот, теперь *mimsy* это *flimsy* [тонкий, слабый, хрупкий] и *miserable* [жалкий, убогий] (вот тебе еще один саквояж). А *borogove* — это птица потрепанного вида с перьями, торчащими во все стороны, что-то вроде живой швабры.

— *A mome raths?* — сказала Алиса. — Боюсь, что я очень вас затрудняю.

— Ну, *a rath* это вид зеленой свиньи; но вот относительно *mome* не уверен. Думаю, что это сокращенное *from home* [из дома] — в смысле, что заблудились, понимаешь?

— А что значит *outgrabe*?

— Ну, *outgribing* это что-то между ревом и свистом с чихом посредине; но возможно, ты услышишь, как кто-то это делает — вон в том лесу, — и когда ты это услышишь, ты будешь вполне удовлетворена.

¹⁴⁷ Ср.: «Вполне возможно, что Кэрролл в лице Хампти Дампти высмеивает любительские филологические рассуждения своего времени, которые содержали смехотворные этимологические ошибки, обусловленные незнанием исторической лингвистики, ложными аналогиями и скоропалительными обобщениями» (It is quite possible that Carroll is using Humpty Dumpty to satirize the amateur philological speculators of his time who committed ludicrous etymological errors through ignorance of historical relationships of languages, through false analogies and hasty generalizations — Sutherland, 1970, с. 149).

¹⁴⁸ Carroll, 1939, с. 200; Carroll, 1970, с. 273. Перевод:

«„Зимой, когда белы поля, я пою эту песнь для твоего удовольствия“; только я не пою ее, — пояснил он. — Я вижу, — сказала Алиса. — Если ты можешь видеть, пою я или нет, значит, у тебя необычайно острое зрение, — строго заметил Хампти-Дампти».

¹⁴⁹ Gardner, 1970, с. 191–192 (примеч. 11). Написание слова в одном случае (а именно, слова *bryllig*) здесь отличается от того, которое дается в балладе “Jabberwocky”. Перевод:

«*Bryllig* (производное от глагола *to bryl* или *broil* ‘жарить’) — ‘время жарить обед, т. е. перед вечером’. *Slithy* (составленное из *slimy* ‘слизистый’ и *lithe* ‘гибкий’) — ‘гладкий и деятельный, подвижный’. *Tove* — разновидность барсука. У них была гладкая белая шерсть, длинные задние ноги и короткие рога, как у оленя; питались преимущественно сыром. *Gyre* — глагол (производный от *gyaour* или *giaour* ‘собака’): ‘скрести [землю] как собака’. *Gimble* (откуда *gimblet* ‘бурав’) — ‘буравить дыры в чем-либо’. *Wabe* (производное от глагола *to swab* ‘мыть [шваброй]’ или *soak* ‘мочить’) — ‘склон холма’ (поскольку он *мокнет* под дождем). *Mimsy* (откуда *mimserable* и *miserable* ‘жалкий’) — ‘несчастный’. *Borogove* — вымерший вид попугая. У них не было крыльев, клюв обращен вверх, и они строили гнезда под солнечными часами; питались телятиной. *Mome* (откуда *solemome*, *solemone* и *solemn* ‘торжественный’) — ‘важный’. *Rath* — разновидность наземной черепахи. Голова поднята; пасть как у акулы; передние лапы вывернуты, так что животное передвигалось на коленях; гладкое зеленое тело; питались ласточками и устрицами. *Outgrabe* — про-

шедшее время глагола *to outribe* (он связан с древним глаголом *to grike* или *shrike* ‘кричать’, к которым восходят *shriek* ‘крик’ и *creak* ‘скрип’) — ‘пищать, скрипеть’. Таким образом, буквальный перевод этого пассажа таков: ‘Был вечер, и гладкие, деятельные барсуки скребли и буравили лунки на склоне холма, попугаи пригорюнились, и важные черепахи выпускали писк. На вершине холма были, вероятно, солнечные часы, и *borogoves* опасались разрушения своих гнезд. На холме, вероятно, гнездились *raths*, которые выбегали и пищали от страха, слыша, как *toves* скребутся снаружи’. Таков темный, но глубоко трогательный реликт древней Поэзии».

Слово *gyaour* или *giaour*, придуманное Кэрроллом, возможно, имеет звукоподражательный характер, передавая рычание собаки.

¹⁵⁰ См.: Петрушевская, 1984; Петрушевская, 2005, с. 405–443 (на с. 442–443 указаны ударения в придуманных автором словах). Мы пользуемся последним изданием, которое в некоторых деталях отличается от первоначального.

¹⁵¹ Петрушевская, 2005, с. 407.

¹⁵² Там же, с. 424–425. Отметим, что наряду с придуманными словами здесь фигурирует церковнославянизм *ибо* и диалектизм *ну!* (в значении утвердительной частицы).

¹⁵³ Примечательным образом реакция калушат на эту фразу (когда они слышат ее, они говорят: *Ну и йоу?*, что можно перевести как «Ну и что?») совпадает в общем с реакцией Ельмслева, о которой шла речь выше (см. § III-3).

¹⁵⁴ Петрушевская, 2005, с. 414–415.

¹⁵⁵ Подробнее об изучении церковнославянского языка см.: Успенский, 1995/1997, с. 123–127.

¹⁵⁶ Б. А. Ларину было известно только начало этого стихотворения (первые четыре строки), которое к тому времени было опубликовано в качестве самостоятельного произведения в сборнике “Требник троих” (М., 1913; ср.: Хлебников, II, с. 275). Полный текст появился в печати лишь в 1940 г. (в изд.: Хлебников, 1940, с. 106).

¹⁵⁷ Хлебников, 1986, с. 42; Хлебников, 1940, с. 106.

¹⁵⁸ Ларин, 1927, с. 48–49.

¹⁵⁹ Ср. в этой связи сборник “Стрелец”, выпущенный футуристами в 1915 г.

¹⁶⁰ Приставка *за* объединяет в себе, таким образом, пространственное и временное значения — значения границы (того, что находится за пределом) и начала действия (инхоативности). Одновременно для Хлебникова, со свойственным ему вниманием к внутренней форме слова, *за-* в *закричальности*, возможно, соотносится по смыслу с *за-* в слове *зари*.

¹⁶¹ В другом, более позднем стихотворении Хлебникова (“Боевая”, 1918 г. — Хлебников, II, с. 23) слово *немь* означает немцев, будучи противопоставлено слову *славь*, т. е. славянам; это стихотворение, написанное в связи с угнетением славянских меньшинств в Австро-Венгерской империи, призывает славян объединиться и сбросить немецкое иго. Р. Вроон полагает, что и в рассматриваемых стихах (“Немь лукает...”) *немь* имеет то же значение. Тем самым все стихотворение получает у него совершенно иную интерпретацию. Полемизируя с Лариным, Вроон пишет: «Стихотворение ⟨...⟩, которое Ларин принимает за лаконичное лирическое описание рассвета, в действительности представляет собой скрытую систему образов, где противопоставление природных стихий служит для изображения исконной вражды между германцами и славянами. Немцы предстают как „немые“ в славянском языковом сознании. Их характер передается сопровождающими их словами: *ночь* и *тишина*. Защита славян — молчание, сознательная тишина, противопоставляемая невольной немоте германцев. Это этимологическое обыгрывание распространяется на слово *слава* или *славь* в его этимологической реинкарнации. Хлебников, должно быть, догадывался об этимологической связи слов *слава* и *слово*, поскольку строка стихотворения “Боевая” „Напор славы единой и цельной на немь“ (Хлебников, II, с. 23) имеет весьма показательный вариант: „Напор слова на немь“ (Хлебников, 1972, с. 388). Таким образом, мы находим в нашем стихотворении [“Немь лукает...”] трехчастную оппозицию: славяне — германцы, рассвет — ночь и слово — молчание. Не зная языка Хлебникова, мы не могли бы понять основного семантического подтекста стихотворения» (The poem ⟨...⟩, which Larin takes to be a laconic, lyrical description of dawn, is in fact a veiled conceit which uses nature’s oppositions to describe the historical enmity between the Germans and the Slavs. This opposition is etymologically reflected in the roots that are employed. The *nemcy* are those who are “dumb” to the sounds of Slavic tongues. Their character is conveyed by their environment: *noč’* and *tišina*. The defense of Slavs is *molčanie*, deliberate silence, as opposed to the involuntary muteness of the Germans. The etymological game plan also extends to the word *slava* or *slav’* in its neological reincarnation. Xlebnikov must have surmised its historical kinship with the word *slovo*, for the line in “Bovaja”, “Napor slavy edinoj i cel’noj na nem” ⟨...⟩ has a very revealing variant: “Napor slova na nem” ⟨...⟩. Thus we find a tripartite opposition in the poem: Slavs vs. Germans, dawn vs. night, and the word vs. silence. Without a knowledge of Xlebnikov’s own language we would be unaware of the crucial semantic subtext of the poem — Vroon, 1983, с. 71–72).

Трудно согласиться с этой интерпретацией. Из того, что в одном стихотворении Хлебникова *немь* значит ‘немцы’, не следует, что в другом стихотворении — написанном десятью годами раньше! — *немь* не может

означать 'ночь'. Рассуждения Вроона содержат и фактическую ошибку: фраза *В щит молчание взяла*, вопреки Вроону, не означает, что молчание служит щитом «закричальности», которая противостоит «неми»; *взять в щит* означает здесь 'встретить (врага) щитом' (ср. *взять в штыки*). Сама презумпция того, что существует общий словарь поэтического языка Хлебникова, последовательно отраженный в разных его сочинениях, представляется излишне прямолинейной (ср. ниже, примеч. 175).

¹⁶² Хлебников, 1986, с. 110; Хлебников, V, с. 60–61.

¹⁶³ Якобсон, 1921/1979, с. 342.

¹⁶⁴ Этимологически *польза* восходит к *po-* и *l̥ga*, что и отражается в вариантных формах этого слова (см.: Фасмер, III, с. 321). Ср. также укр. *пільга* 'облегчение, успокоение'.

¹⁶⁵ Отсюда объясняется и название *Волга* (см.: Фасмер, I, с. 336–337, 340).

¹⁶⁶ Вопреки мнению исследователей творчества Хлебникова (см.: Угооп, 1983, с. 167; Григорьев, 1986, с. 155; Перцова, 1995, с. 122, 149), мы полагаем, что слова *вольза* и *дольза* в рассматриваемом тексте семантически не соотносятся со словом *польза* — при том, что они явно построены по модели этого последнего слова: Хлебников, как нам кажется, разложил слово *польза* на (не существующие в русском языке) морфологические сегменты.

Отметим, что слова *дольза* и *ульза* встречаются в стихотворении Хлебникова 1917 г., где описывается «виденье мракаря». Стихотворение это, близкое по времени написания к рассматриваемому нами, по-видимому, как-то с ним связано: во всяком случае, в нем встречается и выражение *чезори голубые*. Приведем эти стихи:

Крикудри то криволосы,
Чезори голубые,
Рурокий голос сна,
Хокудри и хокосы,
Нуочери лучами
Паоблочный музор,
Виденье мракаря.
Таинственная Ульза,
Синеющая Дольза.
Забота о госумраке.
Жерусой и жестокой,
Под камнем, но змеей!
Под камнем, но змеей!
Дозоры вечерели.
Виденье мракаря.

(Хлебников, 1988, с. 109)

¹⁶⁷ Так характеризуется в “Зангези” Хлебникова (1920–1922 гг.) «подымающий чашу к неведомому будущему» (Хлебников, 1986, с. 483; Хлебников, II, с. 336).

Выражение *чезори голубые* встречается в цитированном выше (см. примеч. 166) стихотворении Хлебникова 1917 г., где также, по-видимому, речь идет об описании внешности.

¹⁶⁸ Согласно объяснениям Хлебникова, начальный звук [щ] означает оболочку или сосуд, но читатель, естественно, не может ориентироваться на восприятие самого поэта. Так, в заметке “Заумный язык” (вошедшей в статью “Наша основа”, 1919 г.) Хлебников писал: «Если взять одно слово, допустим, *чашка*, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком *ч* (*чаша, череп, чан, чулок* и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и то общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением *ч*. Сравнивая эти слова на *ч*, мы видим, что все они значат ‘одно тело в оболочке другого’; *ч* — значит ‘оболочка’. И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке — новым искусством, у порога которого мы стоим. Заумный язык исходит из двух предпосылок: 1. Первая согласная простого слова управляет всем словом — приказывает остальным. 2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка. Если взять слова *чаша* и *чёрботы*, то обоими словами правит, приказывает звук *ч*. Если собрать слова на *ч*: *чулок, чёрботы, черевки, чувяк, чуни, чуп[а]ки, чехол* и *чаша, чара, чан, челнок, череп, чахотка, чучело*, — то видим, что все эти слова встречаются в точке следующего образа. Будет ли это *чулок* или *чаша*, в обоих случаях объем одного тела (ноги или воды) пополняет пустоту другого тела, служащего ему поверхностью. Отсюда *чара* как волшебная оболочка, сковывающая волю очарованного — воду по отношению чары, отсюда *чайть*, то есть быть чашей для вод будущего. Таким образом *ч* есть не только звук, *ч* — есть имя, неделимое тело языка» (Хлебников, 1986, с. 628; Хлебников, V, с. 235–236). Ср. также в статье “Художники мира!”, 1919 г.: «... *ч* означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен положительному объему второго» (Хлебников, 1986, с. 621; Хлебников, V, с. 217–218). Сходные формулировки находим в статьях “Разложение слова”, 1915–1916 гг., и “Перечень. Азбука ума”, 1916 г. (Хлебников, V, с. 202, 207).

¹⁶⁹ Глаза и озёра могут вообще ассоциироваться в славянских языках, ср. словац. *morské oko* как обозначение небольшого горного озера, ср. также сербохорв. *oko* ‘глубокое место в воде, где на дне является родник’ или производное отсюда *okno* ‘открытое место в стоячей воде’; такое же значение имеет и рус. *окно* (Исаченко, 1957, с. 313). Ср. в этой связи выражение *бездонные глаза*.

¹⁷⁰ Тавтологичность выражения *нрови своенравия* отвечает тавтологическому сочетанию *ласковая дольза ласкающих десниц*. Ясно, что тавтологический повтор ни в коей мере Хлебникова не смущал.

¹⁷¹ Ср. в черновом наброске первой редакции стихотворения “Пен пан” (1915 г.):

По озеру шел синеглазый мороль,
И рядом сидит моролева,
Весь белый идет моролевич.

(Хлебников, 2000–2005, II, с. 505)

В неоконченном наброске стихотворения Хлебникова “Вера, опять то же имя” (приблизительно того же времени?) читаем «Хоролева иннот белоленных» (Хлебников, II, с. 281, ср. воспроизведение рукописного оригинала: Перцова, 2003, с. 63). Слово *мравый* фигурирует в стихотворении 1907–1908 гг., опубликованном Р. В. Дугановым (“У мравого стенанья есть левость — леуна...” — Хлебников, 1991, с. 6), однако, как любезно сообщила нам Н. Н. Перцова, это ошибка публикатора: в рукописном оригинале читается не *мравый*, а *правый*. (Слово *леуна* взято из полабского, ср. здесь *läuna* ‘луна’.)

¹⁷² Слово *мороль* упоминается у Хлебникова во “Вступительном словаре односложных слов” (1915 г.), как «слово-потомок», производное от корня *мра*, которому приписываются значения ‘смертоносно; я умираю; небытие’ (Хлебников, 1940, с. 345), однако в рассматриваемом контексте *мороль* ассоциируется в первую очередь с *моролева* (что не исключает дополнительных ассоциаций с мраком, маревом и т. п.).

¹⁷³ Ср. описание разбойников в стихотворении “Это парус рекача...” (1922 г.), где в том же значении выступает слово *ництруссы*:

Ничтруссы, мородеи и ножведи,
Кровавыми лужами гордеи.

(Хлебников, III, с. 203)

¹⁷⁴ Слово *зороль* упоминается у Хлебникова во “Вступительном словаре односложных слов” (1915 г.), как «слово-потомок», производное от корня *зра*, которому приписываются значения ‘ясно; я вижу; свет’ (Хлебников, 1940, с. 345). В принципе, как и слово *мороль*, оно могло бы быть понято как обозначение короля, причем противопоставление слов *зороль* и *мороль* могло бы быть связано тогда с противопоставлением зари и мрака. Однако столь прямое и непосредственное противопоставление в поэтическом тексте слов с общим значением, отличающихся по какому-то признаку, не кажется нам вероятным в данном случае. Кроме того, слово *плачет* скорее сочетается с такими словами, как, например, *ребенок* или *птица*, чем со словом *король*.

¹⁷⁵ Иначе интерпретирует приведенные стихи Хлебникова Р. Вроон: «*Польза* порождает слова *дольза* и *вольза*; *брови* порождает *нрови*; *право* порождает *мраво*; *король* и *королева* порождают *мороль*, *зороль* и *моролева*. Существуют очень тесные семантические связи между исходными и порожденными словами. *Воля* и *доля* сообщают *пользу* соблазнительнице с ее желаемыми ресницами и ласкающими руками (каким-то образом у нее две правые руки — *десницы*). Ее брови — предмет удовольствия (*нрови* от *нравиться*). Но она — сирена: ее закон (*право*) — закон смерти (*мраво* от *умереть*, *смерть*); она королева смерти — *моролева*. Ее супруг — *мороль*, король смерти. Ее победа вызывает слезы у *зороя*, короля рассвета (*заря*, *зори*), символа жизни» (*Pol'za yields dol'za and vol'za; brovi yields nrovi; pravo yields mravo; korol' and koroleva yield morol', zorol' and moroleva*. There are very strong semantic ties between the models and the coinages. Will (*volja*) and fate (*dolja*) lend their advantage (*pol'za*) to the seductress with her desirable eyelashes and caressing hands (for some reason she has two right hands, *desnicy*). Her brows (*brovi*) are objects of pleasure (*nrovi*, from *nravit'sja*). But she is a siren: her law (*pravo*) is the law of death (*mravo*: cf. *umeret'*, *smert'*); she is the queen (*koroleva*) of death, a *moroleva*. Her consort is *morol'*, the king (*korol'*) of death. It is her triumph which brings tears to the eyes of *zorol'*, the king of dawn (*zarja*, *zori*), the symbol of life — Vroon, 1983, с. 167).

Р. Вроон, как мы уже видели (см. выше, примеч. 161), исходит из того, что есть особый хлебниковский язык (общий для разных произведений Хлебникова), который можно понять, зная правила перехода от стандартного языка к хлебниковскому и наоборот. Знание этого языка оказывается, по Вроону, необходимым условием для понимания текста. Между тем читатель Хлебникова — не дешифровщик, владеющий специальным кодом, а носитель русского языка, который рассматривает каждое стихотворение само по себе, независимо от других произведений Хлебникова, и который в каждом отдельно взятом случае обращается к своему языковому опыту и перерабатывает известный ему языковой материал, находя подходящие ассоциации. Хлебников ни в коем случае не однозначен, его слова не заданы заранее, а рождаются в тексте: если в одном случае *немь* означает немцев, то в другом случае такое же слово может означать ночь (см. примеч. 161); если слова *мороль* и *моролева* ассоциируются со словами *король* и *королева*, то *зороль* отнюдь не обязательно означает короля света, противопоставленного королю мрака.

Как писал М. Л. Гаспаров, «заумь входит в его [Хлебникова] вещи как вставная и составная часть, всегда с установкой на осмысление в контексте — как в узком контексте произведения, так и в широком контексте всего читательского языкового опыта» (Гаспаров, 1997, с. 196).

¹⁷⁶ Хлебников, V, с. 269.

¹⁷⁷ ЦГАЛИ, ф. 527, оп. 1, № 72, л. 1. См.: Vroon, 1993, с. 351.

¹⁷⁸ Хлебников, 1986, с. 624, 626–627; Хлебников, V, с. 228–233.

¹⁷⁹ Michaux, 1927/1966, с. 14.

¹⁸⁰ «On songe, à propos des deux derniers mots, d'une part à *ouïes*, à *bouille* et à *couilles*; d'autre part à *barouf*, *baroud*, *bouffer*. On sait par ailleurs qu'il s'agit d'un combat: c'en est bien assez pour que le lecteur ait le sentiment confus (mais d'autant plus saisissant) d'une sorte de carnage» (Paulhan, 1966, с. 213). Это место цитирует М. Ягелло (Yaguello, 1981, с. 106) — с неточной библиографической отсылкой. Русский перевод этой цитаты см. в изд.: Ягелло, 2003, с. 93.

Характерным образом при воспроизведении стихотворения Мишо слово *barufle* нередко передается как *baroufle* — очевидно, под влиянием *barouf* 'скандал'.

¹⁸¹ См. к дальнейшему: Успенский, 1994/2000.

¹⁸² Мандельштам, I, с. 150, 385–386.

¹⁸³ См. об этом: Успенский, 1994/2000, с. 313, 319–320.

¹⁸⁴ Мандельштам, I, с. 191.

¹⁸⁵ Там же, I, с. 222.

¹⁸⁶ Там же, I, с. 185, 397, 398.

¹⁸⁷ Там же, с. I, с. 218.

¹⁸⁸ См.: Успенский, 1994/2000.

¹⁸⁹ Жуковский, III, с. 96. Ср.: Тынянов, 1965, с. 130–131.

¹⁹⁰ Туманский, 1912, с. 117. Этот пример был указан нам М. Л. Гаспаровым.

¹⁹¹ См.: Успенский, 1994/2000, с. 319–320, 322, 325.

¹⁹² Хлебников, 1986, с. 624; Хлебников, V, с. 228.

¹⁹³ Мандельштам, II, с. 223.

¹⁹⁴ Ср. в этой связи о вариантах, более или менее естественно возникающих при переписывании стихов Мандельштама: Фрейдин, 2001.

¹⁹⁵ См.: Успенский, 1994/2000, с. 326–330

¹⁹⁶ См.: Hill, 1961, с. 8, 7 [Хилл, 1962, с. 109, 105].

¹⁹⁷ Неологизмы Каммингса могут разительно напоминать неологизмы ребенка, т. е. слова английской детской речи (ср. наблюдения над двухлетним ребенком, который, оглядывая комнату, повторял: «That's a don't, and that's a don't, and that's a don't!» — Bernstein, 1961/1964, с. 253).

¹⁹⁸ Нечто похожее происходит, по-видимому, при восприятии текста на церковнославянском языке (при отсутствии специального обучения этому языку). Действительно, восприятие церковнославянского текста носителем современного русского языка в какой-то степени может напоминать восприятие стихов Хлебникова.

Цитируемая литература

- Абрамович, 1916 — *Д. И. Абрамович*. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. СПб., 1916 (= «Памятники древнерусской литературы», вып. 2).
- Аванесов и Сидоров, 1945 — *Р. И. Аванесов, В. Н. Сидоров*. Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945.
- Августин, 1991 — *Аврелий Августин*. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского. [Пер. с лат. М. Е. Сергеевко]. Изд. подгот. А. А. Столяров. М., 1991.
- Адрианова-Перетц, 1935 — *В. Адрианова-Перетц*. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок. — В изд.: «Академия наук СССР — академику Н. Я. Марру». М. — Л., 1935 (с. 497–505).
- Алексеев, 1990 — *А. А. Алексеев*. Место Острожской библии в истории славянского текста Священного Писания. — В изд.: «Острожская библия: Сборник статей». М., 1990 (с. 48–73).
- Алексеев, 1999 — *А. А. Алексеев*. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
- Алексей Михайлович, 1896 — Письма русских государей и других особ царского семейства, V. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896.
- Ант. теории..., 1936 — Античные теории языка и стиля. Под общей ред. О. М. Фрейденберг. М. — Л., 1936.
- Апресян, I–II — *Ю. Д. Апресян*. Избранные труды, т. I–II. М., 1995.
- Апресян, 1978/1995 — *Ю. Д. Апресян*. Языковая аномалия и логическое противоречие. — В изд.: «Tekst. Język. Poetika». Pod red. M. R. Maęenowej. Wrocław — Kraków — Gdańsk, 1978. Цит. по: Апресян, II (с. 528–621).
- Апресян, 1986/1995 — *Ю. Д. Апресян*. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. — «Семиотика и информатика», вып. 28. М., 1986 (с. 5–33). Цит. по: Апресян, II (с. 629–650).

- Апресян, 1988/1995 — *Ю. Д. Апресян*. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке. — В изд.: «Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование». М., 1988 (с. 57–78). Цит. по: Апресян, II (с. 219–241).
- Апресян, 1989/1995 — *Ю. Д. Апресян*. Тавтологические и противоречивые аномалии. — В изд.: «Логический анализ языка: Проблемы интенциональных и прагматических контекстов». М., 1989 (с. 186–196). Цит. по: Апресян, II (с. 622–628).
- Апресян, 2004/2009 — *Ю. Д. Апресян*. Понятийный словарь системной лексикографии. — В изд.: *Ю. Д. Апресян*. Исследования по семантике и лексикографии, т. I. Парадигматика. М., 2009 (с. 486–552). Переработанный вариант статьи «Лингвистическая терминология Словаря» (в изд.: «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка». Под ред. Ю. Д. Апресяна, изд. 2-е. М. — Вена, 2004 (с. XXII–LII).
- Апулей, 1956 — *Апулей*. Золотой осел: Метаморфозы в одиннадцати книгах. Пер. с лат. М. Кузмина под ред. С. Маркиша и А. Сыркина. М., 1956.
- Аристотель, I–IV — *Аристотель*. Сочинения в четырех томах, т. I–IV. М., 1976–1984.
- Арсеньев, 1908 — *Ю. В. Арсеньев*. Геральдика (Лекции, читанные в Московском археологическом ин-те в 1907/8 году). М., 1908.
- Афанасьев, I–III — *А. Н. Афанасьев*. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов, ч. I–III. М., 1865–1869. Репринты: The Hague – Paris, 1969–1970 (= «Slavistic Printings and Reprintings», vol. CCXIV/1–3); М., 1994. Ср.: *А. Н. Афанасьев*. Поэтические воззрения славян на природу: Справочно-библиографические материалы. М., 2000.
- Бахилина, 1975 — *Н. Б. Бахилина*. История цветообозначений в русском языке. М., 1975.
- Беляев, 1854 — *И. Беляев*. О скоморохах. — «Временник имп. Московского общества истории и древностей Российских», кн. XX. М., 1854 (с. 69–92).
- Бёме, 2006 — *И. Р. Бёме*. Формирование вокализации воробьиных птиц (*Passeriformes*) в онтогенезе: Современное состояние

проблемы. — «Журнал общей биологии», т. 67, 2006, № 4 (с. 256–268).

- Бенвенист, 1974 — *Эмиль Бенвенист*. Общая лингвистика. Под ред., с вступ. статьей и коммент. Ю. С. Степанова. М., 1974. Цитируются работы: «Глаголы „быть“ и „иметь“ и их функции в языке» (с. 203–224), «Структура отношений лица в глаголе» (с. 259–269), «Природа местоимений» (с. 285–291), «О субъективности в языке» (с. 292–300). Ср.: Benveniste, 1966.
- Библ. 1581 (Острожская библия). — Библия. Острог, 1581. Репринт: Острожская библия. М., 1988. Ср. старообрядческую перепечатку: Библ. 1914.
- Библ. 1663 (Московская библия). — Библия. М., 1663.
- Библ. 1751 (Елизаветинская библия) — Библия. СПб., 1751.
- Библ. 1897, I–II — Священные книги Ветхого Завета, переведенные с еврейского языка для употребления евреям, т. I–II. М., 1897.
- Библ. 1914 — Библия. М., 1914. Старообрядческая перепечатка Острожской библии.
- Библия Скорины, I–II — Библия. Факсимильнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Францыскам Скарынаю ў 1517–1519 гадах, у 3 тамах, т. I–III. Мінск, 1990. Ссылаемся на пагинацию внизу страницы. Книга Исход вышла в 1519 г.
- Бондалетов, 1974 — *В. Д. Бондалетов*. Условные языки русских ремесленников и торговцев, вып. I. Условные языки как особый тип социальных диалектов. Рязань, 1974.
- Брандт, 1882 — *Р. Ф. Брандт*. О присвоенных животным собственных именах. — «Русский филологический вестник», т. VII, 1882, № 1 (с. 61–62).
- Бубер, 1993 — *Мартин Бубер*. Я и Ты. М., 1993. Ср.: Buber, 1966.
- Булгаков, 1973 — *Михаил Булгаков*. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., 1973.
- Булыгина, 1992 — *Т. В. Булыгина*. Общие вопросы дейксиса — В изд.: «Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис». М., 1992 (с. 154–194).
- Буслаев, 1959 — *Ф. И. Буслаев*. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.

- Былинский, 1941 — *К. И. Былинский*. Практическая стилистика языка газеты. — «Язык газеты: Практическое руководство и справочное пособие для газетных работников». Под ред. Н. И. Кондакова. М. — Л., 1941 (с. 136–218).
- Варлаам, 1859 — *Архимандрит Варлаам*. Описание сборника XV столетия Кирилло-Белозерского монастыря. — «Ученые записки II отделения имп. Академии наук», кн. V. СПб., 1859 (с. 1–66).
- Василева, 1973 — *Стефка Василева*. Два случая на обръщение в разговорната реч. — «Български език», 1973, кн. XXIII, 1973 (с. 119–120).
- Вежбицкая, 2007 — *Анна Вежбицкая*. Англоязычные сценарии против «давления» на других людей и их лингвистические манифестации. — *Жанры речи*, вып. 5. Жанры и культура. Саратов, 2007 (с. 131–159).
- Вежбицкая, 2009 — *Анна Вежбицкая*. Предисловие. — В изд.: Ларина, 2009 (с. 9–13).
- Верлинский, 2005 — *А. Л. Верлинский*. Конвенционалистская теория языка и учения об общественном договоре: в поисках предшественников Гермогена. — В изд.: «Античная грамматическая традиция в веках»: Материалы международной конференции. СПб., 2005 (с. 73–77).
- Виноградов, 1947 — *В. В. Виноградов*. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М. — Л., 1947.
- Г. Виноградов, 1923 — *Г. С. Виноградов*. Смерть и загробная жизнь в воззрениях русского старожильческого населения Сибири. — В изд.: «Сборник трудов профессоров и преподавателей Гос. Иркутского университета», вып. 5. Иркутск, 1923 (с. 261–345).
- Владимирский-Буданов, 1915 — *М. Ф. Владимирский-Буданов*. Обзор истории русского права. Изд. 7-е. Пг. — Киев, 1915.
- Волошинов, 1929 — *В. Н. Волошинов*. Марксизм и философия языка: Основные вопросы социологического метода в науке о языке. Л., 1929.
- Востоков, 1842 — *Александр Востоков*. Описание русских и словенских рукописей Румянцовского музеума. СПб., 1842.
- Востоков, 1843 — Остромирово евангелие 1056–1057 года с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями, изданное *А. Востоковым*. СПб., 1843.

- Выготский, 1934 — *Л. С. Выготский*. Мышление и речь: Психологические исследования. М. — Л., 1934.
- Вяземский, 1929 — *П. Вяземский*. Старая записная книжка. Ред. и примеч. Л. Гинзбург. Л., 1929.
- Гаспаров, I–III — *М. Л. Гаспаров*. Избранные труды, т. I–III. М., 1997.
- Гаспаров, 1984/1997 — *М. Л. Гаспаров*. Петербургский цикл Бенедикта Лившица: Поэтика загадки. — «Труды по знаковым системам», т. XVIII. Тарту, 1984 (с. 93–105) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 664). Цит. по изд.: Гаспаров, II, 1997 (с. 229–240).
- Гаспаров, 1997 — *М. Л. Гаспаров*. Считалка богов: Язык и стих заумной пьесы Хлебникова «Боги». — В изд.: Гаспаров, II, 1997 (с. 246–258).
- Гвоздев, 1952 — *А. Н. Гвоздев*. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952.
- Гейзенберг, 1989 — *В. Гейзенберг*. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989.
- Гильтебрандт, 1882–1884 — *Петр Гильтебрандт*. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету, т. I–V. Пг., 1882–1884. Продолж. пагинация во всех томах. Репринт: München, 1988.
- Гиппиус, 2004 — *А. А. Гиппиус*. К прагматике и коммуникативной организации берестяных грамот. — В изд.: *В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус*. Новгородские грамоты на бересте, т. XI (Из раскопок 1997–2000 гг.). М., 2004 (с. 183–232).
- Глисон, 1959 — *Г. Глисон*. Введение в дескриптивную лингвистику. Пер. с англ. Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат. Ред. и вступ. статья В. А. Звегинцева. М., 1959. Ср.: *H. A. Gleason, Jr.* An Introduction to Descriptive Linguistics. New York, 1955.
- Гоголь, I–XIV — *Н. В. Гоголь*. Полное собрание сочинений, т. I–XIV. [М. — Л.], 1937–1952.
- Горский, 1860 — [*А. В. Горский*]. О славянском переводе Пятокнижия Моисеева, исправленном в XV веке по еврейскому тексту. — «Прибавления к изданию творений святых Отцев в русском переводе», ч. XIX. М., 1860 (с. 134–168).
- Горский и Невоструев, I–III — [*А. В. Горский, К. И. Невоструев*]. Описание славянских рукописей московской Синодальной

библиотеки, отд. I–III. М., 1855–1917. Репринт: Wiesbaden, 1964 (= «Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: Fontes et dissertationes», t. II).

Греков, 1951 — *Б. Д. Греков*. Полица: Опыт изучения общественных отношений в Полице в XV–XVII вв. М., 1951.

Грибоедов, 1909 — *А. С. Грибоедов*. Полное собрание сочинений. Под ред. Арс. И. Введенского. СПб., 1909.

Григорьев, 1986 — *В. П. Григорьев*. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986.

Гумбольдт, 1984 — *Вильгельм фон Гумбольдт*. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества. — В изд.: *Вильгельм фон Гумбольдт*. Избранные труды по языкознанию. М., 1984 (с. 37–298). Ср.: Humboldt, 1836/1848.

Гумбольдт, 1985 — *Вильгельм фон Гумбольдт*. О двойственном числе. — В изд.: *Вильгельм фон Гумбольдт*. Язык и философия культуры. М., 1985 (с. 382–402). Ср.: Humboldt, 1830/1848.

Даль, I–IV — *Владимир Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е, испр. и значительно доп. под ред. И. А. Бодуэна-Куртэнэ, т. I–IV. СПб. — М., 1903–1909. Репринт: М., 1994.

Демкова и Дробленкова, 1968 — *Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова*. К изучению славянских азбучных стихов. — «Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы АН СССР», т. XXIII. Л., 1968 (с. 27–61).

Добрушин, 1961 — *Р. Л. Добрушин*. Математические методы в лингвистике. — «Математическое просвещение», вып. 6. М., 1961 (с. 37–60).

Добрянский, 1882 — *Ф. Добрянский*. Описание рукописей Виленской публичной библиотеки церковно-славянских и русских. Вильна, 1882.

Достоевский, I–XXX — *Ф. М. Достоевский*. Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. I–XXX. Л., 1972–1990.

Дурново, I–II — *Николай Дурново*. Повторительный курс русского языка, вып. I–II. М. — Л., [1924]–1929.

- Дхармакирти, 1922 — *Дхармакирти*. Обоснование чужой одушевленности с толкованиями Винитадева. Перевел с тибетского Ф. И. Щербатской. Пг., 1922.
- Евсеев, 1916 — *И. Е. Евсеев*. Очерки по истории славянского перевода Библии. Пг., 1916.
- Елеонский, 1905 — *Федор Елеонский*. Древнеславянский перевод Исх. I, 7 и III, 4. — «Христианское чтение», т. ССХІХ, 1905, апрель (с. 486–499).
- Еремин, 1989 — *И. П. Еремин*. Литературное наследие Кирилла Туровского. Berkeley, 1989 (= «Monuments of Early Russian Literature», vol. II).
- Есперсен, 1958 — *О. Есперсен*. Философия грамматики. Пер. с англ. В. В. Пассека и С. И. Сафроновой. Под ред. и с предисл. Б. А. Ильиша. М., 1958. Ср.: Jespersen, 1924.
- Живов и Успенский, 1973/1997 — *В. М. Живов, Б. А. Успенский*. Центр и периферия в свете языковых универсалий. — «Вопросы языкознания», 1973, № 5 (с. 24–35). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 58–77). Ср. расширенный вариант: Uspensky & Zhivov, 1977.
- Живов и Успенский, 1986/1997 — *В. М. Живов, Б. А. Успенский*. Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола *быти* в русском языковом сознании XVI–XVIII веков. — «Russian Linguistics», vol. X, 1986, № 6 (p. 69–79). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 363–388).
- Жирков, 1927 — *Л. Жирков*. Персидский язык: Элементарная грамматика. М., 1927 (= «Труды Московского института востоковедения при Ц[ентральном] И[сполнительном] К[омитете] СССР», V).
- Жолковский, 2010 — *А. К. Жолковский*. Чехов, Горький и «Мы»: Из опыта преподавания русской прозы. — «Forma formans: Studi in onore di Boris Uspenskij», [vol.] II. [Napoli, 2010] (p. 283–286).
- Жуковский, I–XII — *В. А. Жуковский*. Полное собрание сочинений в двенадцати томах. Под ред., с биограф. очерком и примеч. А. С. Архангельского, т. I–XII. СПб., 1902 (Приложение к журналу «Нива» за 1902 г.).

- Зализняк, 2004 — *А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е, перераб. М., 2004.*
- Звегинцев, I–II — *В. А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Изд. 3-е, доп., ч. I–II. М., 1964–1965.*
- Зеленецкий, 2000 — *А. Л. Зеленецкий. Местоимение; глагол. — В изд.: С. А. Миронов, А. Л. Зеленецкий, Н. Г. Парамонова, В. Я. Плоткин. Историческая грамматика нидерландского языка, кн. I (Фонология; морфология). М., 2000 (с. 121–139, 155–255).*
- Зеленин, I–II — *Д. К. Зеленин. Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии, ч. I–II. — «Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР», т. VIII (Л., 1929, с. 1–151) — IX (Л., 1930, с. 1–166).*
- Зеленин, 1914–1916 — *Д. К. Зеленин. Описание рукописей Ученого архива имп. Русского географического общества, вып. I–III. Пг., 1914–1916. Продолж. пагинация во всех выпусках.*
- Зорина и Смирнова, 2006 — *З. А. Зорина, А. А. Смирнова. О чем рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? М., 2006.*
- Иванов, 1901 — *А. И. Иванов. Верования крестьян Орловской губ[ернии]. — «Этнографическое обозрение», кн. XLVII, 1901, № 4 (с. 68–118).*
- Игнатченко, 2001 — *М. О. Игнатченко. Воспоминания. — В изд.: Олег Волков. Городу и миру. М., 2001 (с. 507–556).*
- Иоанн Кассиан, 1892 — *Писания преподобного отца Иоанна Кассиана Римлянина. Перевод с латинского епископа Петра. Изд. 2-е Афонского Русского Пантелеимонова монастыря. М., 1892. Репринт: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.*
- Иосиф Волоцкий, 1959 — *Послания Иосифа Волоцкого. Подгот. текста А. А. Зимина и Я. С. Лурье. М. — Л., 1959.*
- Исаченко, I–II — *А. В. Исаченко. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким: Морфология, ч. I–II. Братислава, 1960–1965 (часть I, изд. 2-е — Братислава, 1965, ср. изд. 1-е — Братислава, 1954; часть II — Братислава, 1960). Репринт: М. — Вена, 2003 (= «Wiener Slavistischer Almanach», Sonderband 58).*

- Исаченко, 1957 — *А. В. Исаченко. Morské oko* — «небольшое горное озеро». — В изд.: «Езиковедски изследования в чест на академик Стефан Младенов». София, 1957 (с. 313–315). Репринтное воспроизведение в изд.: *Alexander V. Isačenko. Opera selecta: Russische Gegenwartssprache, russische Sprachgeschichte, Probleme der slavischen Sprachwissenschaft*. München, 1976 (р. 165–167) (= «Forum slavicum», Bd 45).
- Истрин, I–III — *В. М. Истрин*. Книги въременьных и образныхъ Георгия мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славянонорусском переводе. Текст, исследование и словари, т. I–III. Пг./Л., 1920–1930.
- Калайдович, 1824 — *Константин Калайдович*. Иоанн ексарх Болгарский: Изследование, объясняющее историю Словенского языка и Литтературы IX и X столетий. М., 1824.
- Карасева, 2003 — *Т. А. Карасева*. Историческая фонетика латинского языка (Грамматический комментарий к латинским текстам VII–I вв. до н. э.). Изд. 2-е. М., 2003.
- Карский, 1928 — *Е. Ф. Карский*. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. Репринт: М., 1979.
- Кацнельсон, 1947 — *С. Д. Кацнельсон*. Язык поэзии и первобытно-образная речь. — «Известия АН СССР», Отд-ние лит. и яз., т. VI, 1947, № 4 (с. 301–316).
- Кириллова, 1995 — *М. Н. Кириллова*. Орловский Христа ради юродивый Афанасий Андреевич (Сайко). [Сергиев Посад], 1995.
- Кирша Данилов, 1977 — Древние российские стихотворения, собранные *Киришю Даниловым*. 2-е доп. изд. подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. М., 1977.
- Короленко, I–V — *В. Г. Короленко*. Собрание сочинений в десяти томах, т. I–X. М., 1953–1956.
- Котошихин, 1906 — *Григорий Котошихин*. О России в царствование Алексея Михайловича. Изд. 4-е. СПб., 1906.
- Кошмидер, 1962 — *Эрвин Кошмидер*. Очерк науки о видах польского глагола: Опыт синтеза. — В изд.: «Вопросы глагольного вида». Сост. сборника, ред., вступ. ст. и примеч. Ю. С. Маслова. М., 1962 (с. 105–167). Ср.: Koschmieder, 1934.

- Крылов, I–III — *И. А. Крылов*. Полное собрание сочинений, т. I–III. М., 1944–1946.
- А. Крылов, 1984 — *А. Н. Крылов*. Мои воспоминания. Л., 1984.
- Кузминская, 1925 — *Т. А. Кузминская* (рожд. Берс). Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1925.
- Кэрролл, 1924 — *Льюис Карролл*. Алиса в Зазеркалье. Пер. В. А. Азова. Стихи в пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник. М. — Пг., 1924.
- Ларин, 1927 — *Б. А. Ларин*. О лирике как разновидности художественной речи (Семантические этюды). — «Русская речь». Под ред. Л. В. Щербы, Нов. серия, I. Л., 1927 (с. 43–73).
- Ларина, 2009 — *Т. В. Ларина*. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М., 2009.
- Лебедев, 1890 — *Василий Лебедев*. Славянский перевод книги Иисуса Навина по сохранившимся рукописям и Острожской библии: Исследование текста и языка. СПб., 1890.
- Лейбов и Осповат, 2003 — *Р. Г. Лейбов, А. Л. Осповат*. Стихотворение Тютчева “Сын царский умирает в Ницце...”: жанр, сюжет, контексты. — «Russian Literature», vol. LIV, 2003 (с. 475–503).
- Леонтий, 1892 — Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа [Чудовский Новый Завет]. Труд святителя Алексия митрополита Московского и всея Руси. Фототип. изд. *Леонтия*, митрополита Московского. М., 1892.
- Лесков, I–XI — *Н. С. Лесков*. Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. I–XI. М., 1956–1958.
- Лившиц, 1933 — *Бенедикт Лившиц*. Полутораглазый стрелец. Л., [1933].
- Ломковская, Падучева и Успенский, 1964/2002 — *М. В. Ломковская, Е. В. Падучева, В. А. Успенский*. Лингвистические исчисления. — В изд.: «Труды IV Всесоюзного математического съезда», т. II. Секционные доклады. Л., 1964 (с. 83–90). Цит. по изд.: В. Успенский, I, 2002 (с. 337–348).
- Ломоносов, I–XI — *М. В. Ломоносов*. Полное собрание сочинений, т. I–XI. М., 1950–1983.
- Лоренц, 1998 — *К. Лоренц*. Обратная сторона зеркала: Опыт естественной истории человеческого познания. — В изд.: *Конрад*

- Лоренц*. Обратная сторона зеркала. Пер. с нем. А. И. Федорова. М., 1998 (с. 243–467). Ср.: Logenz, 1977.
- Лоренц, 1998а — *К. Лоренц*. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества. — В изд.: *Конрад Лоренц*. Обратная сторона зеркала. Пер. с нем. А. И. Федорова. М., 1998 (с. 4–60). Ср.: Logenz, 1973.
- Лотман, 1989/2002 — *Ю. М. Лотман*. Слово и язык в культуре Просвещения. — В изд.: «Век Просвещения: Россия и Франция»: Материалы научной конференции [Гос. музея изобразительных искусств] «Випперовские чтения» (1987), вып. XX. М., 1989 (с. 6–18). Цит. по изд.: *Ю. М. Лотман*. История и типология русской культуры. СПб., 2002 (с. 375–382).
- Лотман и Успенский, 1973/1996 — *Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский*. Миф — имя — культура. — «Труды по знаковым системам», т. VI. Тарту, 1973 (с. 282–303) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 308). Цит. по изд.: Успенский, I, 1996 (с. 433–459).
- Лотман и Успенский, 1975/1996 — *Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский*. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. («Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). — «Труды по русской и славянской филологии», XXIV: Литературоведение. Тарту, 1975 (с. 168–322) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 358). Цит. по изд.: Успенский, II, 1996 (с. 411–683).
- Лурия, 1998 — *А. Р. Лурия*. Язык и сознание. М., 1998.
- Лурье, 1972 — *Я. С. Лурье*. Устав Корнилия Комельского в сборнике первой половины XVI в. — В изд.: «Рукописное наследие Древней Руси: По материалам Пушкинского Дома [Сборник к 60-летию В. И. Малышева]. Л., 1972 (с. 253–260).
- Мандельштам, I–II — *Осип Мандельштам*. Сочинения в двух томах, т. I–II. М., 1990.
- Маркс, 1936 — *Карл Маркс*. Капитал: Критика политической экономики, т. I. Изд. 8-е. [М.], 1936.
- Маслов, 1948 — *Ю. С. Маслов*. Вид и лексические значения глагола в современном русском литературном языке. — «Известия АН СССР», Отд-ние лит. и яз., т. VII, 1948, вып. 4 (с. 303–

- 316). Переизд.: *Ю. С. Маслов*. Очерки по аспектологии. Л., 1984 (с. 48–65); см. также: Маслов, 1984/2004.
- Маслов, 1984/2004 — *Ю. С. Маслов*. Очерки по аспектологии. Л., 1984. — В изд.: *Ю. С. Маслов*. Избранные труды: Аспектология, общее языкознание. М., 2004 (с. 21–302).
- Мельчук, 1999 — *И. А. Мельчук*. Опыт теории лингвистических моделей “СМЫСЛ ↔ ТЕКСТ”: Семантика, синтаксис. М., 1999.
- Мещерский, 1955 — *Н. А. Мещерский*. К вопросу о датировке Виленского хронографа. — «Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома)», т. XI. М. — Л., 1955 (с. 380–386).
- Минуций Феликс, 1981 — *Минуций Феликс*. Октавий. — «Богословские труды», т. XXII. М., 1981 (с. 139–177).
- Немировский, 1985 — *Е. Л. Немировский*. Иллюминированный экземпляр Острожской библии 1581 г. с рукописными дополнениями. — «Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома)», т. XXXVIII. Л., 1985 (с. 446–450).
- Никольский, 1900 — *Д. Никольский*. О происхождении и смысле собственных имен некоторых животных. — «Филологические записки», год XL, 1900, вып. 4–5 (с. 1–10).
- Островский, I–XII — *А. Н. Островский*. Полное собрание сочинений, т. I–XII. М., 1973–1980.
- Падучева, 1995/2009 — *Е. В. Падучева*. В.В. Виноградов и наука о языке художественной прозы. — «Известия Российской академии наук. Сер. лит. и яз.», т. LIV, 1995, № 3 (с. 39–48). Цит. по изд.: Падучева, 2009 (с. 522–533).
- Падучева, 1996 — *Е. В. Падучева*. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.
- Падучева, 1997/2009 — *Е. В. Падучева*. Эгоцентрическая семантика союзов *a* и *no*. — В изд.: Славянские сочинительные союзы. М., 1997 (с. 36–47). Цит. по изд.: Падучева, 2009 (с. 442–452).
- Падучева, 2001/2009 — *Е. В. Падучева*. Модальность сквозь призму дейксиса. — В изд.: «Традиционное и новое в русской грам-

- матике: Сборник статей памяти В. А. Белошапковой». М., 2001 (с. 184–197). Цит. по изд.: Падучева, 2009 (с. 463–476).
- Падучева, 2004 — *Е. В. Падучева*. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Падучева, 2008 — *Е. В. Падучева*. Вторичный дейксис и фигура наблюдателя. — В изд.: «Miscellanea slavica: Сб. статей к 70-летию Бориса Андреевича Успенского». М., 2008 (с. 273–285).
- Падучева, 2009 — *Е. В. Падучева*. Статьи разных лет. М., 2009.
- Панов, 1980 — *Е. Н. Панов*. Знаки, символы, языки. М., 1980.
- Паремейник, I–II — Парімійникъ сиесть собраніе парімій на все лѣто, кн. I–II. СПб., 1890–1893.
- Паскаль, 1995 — *Блез Паскаль*. Мысли. СПб., 1995.
- Пастернак, I–V — *Борис Пастернак*. Собрание переводов в пяти томах, т. I–V. М., 2003–2004.
- Перцова, 1995 — *Наталья Перцова*. Словарь неологизмов Велемира Хлебникова. [S. I., 1995] (= «Wiener Slawistischer Almanach», Sonderband 40).
- Перцова, 2003 — *Н. Н. Перцова*. Словотворчество Велемира Хлебникова. М., 2003.
- Петрушевская, I–V — *Людмила Петрушевская*. Собрание сочинений в пяти томах, т. I–V. Харьков – М., 1996.
- Петрушевская, 1984 — *Людмила Петрушевская*. Лингвистические сказочки. — «Литературная газета», 4 июля 1984 г. (с. 16).
- Петрушевская, 2005 — *Людмила Петрушевская*. Дикie животные сказки. Морские помойные рассказы. Пуськи бятые. М., 2005.
- Пешковский, 1956 — *А. М. Пешковский*. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. М., 1956. Репринт: М., 2001.
- Письма русских государей, 1848 — Письма русских государей и других особ царского семейства, изданные Археографическою комиссиею, т. I. М., 1848.
- Платон, I–III — *Платон*. Сочинения в трех томах, т. I–III. М., 1968–1972.
- Платон, 1986 — *Платон*. Диалоги. М., 1996 (= «Философское наследие», т. 98).
- Плутарх, 1996 — *Плутарх*. Исида и Осирис. Киев, 1996.

- Попов, 1984 — *А. А. Попов*. Нганасаны: Социальное устройство и верования. Л., 1984.
- Потебня, 1888 — *А. Аф. Потебня*. Значение множественного числа в русском языке. Воронеж, 1888. Отд. оттиск из «Филологических записок».
- ПСРЛ, I–XLIII — Полное собрание русских летописей, т. I–XLIII. СПб. (Пг./Л.) — М., 1841–2004.
- Путнам, 1965 — *Х. Путнам*. Некоторые спорные вопросы теории грамматики. — «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965 (с. 66–96). Ср.: Putnam, 1961.
- Пушкин, I–XVI — [*А. С.*] *Пушкин*. Полное собрание сочинений, т. I–XVI. [М. — Л.], 1937–1949. Справочный том: дополнения и исправления; указатели. [М. — Л.], 1959.
- Пятигорский и Успенский, 1967 — *А. М. Пятигорский, Б. А. Успенский*. Персонологическая классификация как семиотическая проблема. — «Труды по знаковым системам», вып. III. Тарту, 1967 (= «Учен. зап. Тартуского ун-та», вып. 198) (с. 7–29).
- Рамстедт, 1951 — *Г. Рамстедт*. Корейский язык. М., 1951.
- РИБ, I–XXXIX — Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею, т. I–XXXIX. СПб. (Пг./Л.), 1872–1927.
- Румянцев, 1916 — *Иван Румянцев*. Никита Константинов Добрынин («Пустосвят»). Историко-критический очерк. Сергиев Посад, 1916.
- Рункевич, 1900 — *С. Г. Рункевич*. Из истории русской церкви в царствование Петра Великого. — «Христианское чтение», т. ССІХ, 1900, ч. I (с. 43–64, 232–304, 551–586, 746–780, 893–943).
- Садовников, 1875 — Загадки русского народа: Сборник загадок, вопросов, притч и задач. Сост. Д. Садовников. СПб., 1875. Существует также идентичное изд. 1876 г.; возможно, это одно и то же изд., помеченное разными годами.
- Салимбене, 2004 — *Салимбене де Адам*. Хроника. М., 2004. Ср.: Salimbene, I–II.
- Св. кат. XIV в. — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в России, странах СНГ и Балтии: XIV век, вып. I (Апокалипсис — Летопись Лаврентьевская). М., 2002.

- Симеон Полоцкий, 1667 — [*Симеон Полоцкий*]. Жезл Правления (...). М., 1667.
- Сл. Акад. Рос., I–VI — Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный, т. I–VI. СПб., 1789–1794.
- Сл. др.-рус. яз., I–VII — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.), т. I–VII. М., 1988–2004. Изд. продолжается.
- Смирнов, 1913 — *С. Смирнов*. Древнерусский духовник: Исследование по истории церковного быта. М., [1913]. Оттиск из «Чтений в Обществе истории и древностей российских при имп. Московском ун-те» за 1912–1914 гг.; текст «Исследования ...» опубликован в «Чтениях ...», 1914, кн. 2, а приложение «Материалы для истории древнерусской покаянной дисциплины (тексты и заметки)» — в «Чтениях ...», 1912, кн. 3. Репринт: М., 1995.
- Соболевский, 1907 — *А. И. Соболевский*. Лекции по истории русского языка. Изд. 4-е. М., 1907. Репринт в изд.: *А. И. Соболевский*. Труды по истории русского языка, т. I. Очерки по истории русского языка. Лекции по истории русского языка. М., 2004.
- Сократ, 1996 — *Сократ Схоластик*. Церковная история. М., 1996.
- Солженицын, I–XVIII — *Александр Солженицын*. Собрание сочинений, т. I–XVIII. Вермонт – Париж, 1978.
- Соловьев, I–XV — *С. М. Соловьев*. История России с древнейших времен, кн. I–XV. М., 1959–1966.
- Соссюр, 1977 — *Ф. де Соссюр*. Курс общей лингвистики. — В изд.: *Фердинанд де Соссюр*. Труды по языкознанию. Пер. с франц. под ред. А. А. Холодовича. М., 1977 (с. 31–285).
- Сперанский, 1907 — Псалтырь жидовствующих в переводе Феодора еврея. К изд. пригот. *М. Н. Сперанский*. М., 1907.
- СРНГ, I–XLIII — Словарь русских народных говоров, т. I–XLIII. М. — Л./СПб., 1965–2010. Изд. продолжается.
- Стивенсон, I–V — *Роберт Луис Стивенсон*. Собрание сочинений в пяти томах, т. I–V. М., 1967.
- Сумароков, I–X — *А. П. Сумароков*. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... Собраны и изданы в удовольствие Любителей Российской словесности Н. Новиковым. Изд. 2-е, ч. I–X. М., 1787.

- Сыркин, 1964 — Брихадараньяка Упанишада. Пер. с санскрита, предисл. и коммент. *А. Я. Сыркина*. М., 1964 (= «Памятники литературы Востока: переводы», XVI). Репринт: Упанишады. Пер. с санскрита, исслед. и коммент. *А. Я. Сыркина*. Изд. 2-е, доп. М., 2000 (с. 9–238).
- Сыркин, 1965 — Чхандогья Упанишада. Пер. с санскрита, предисл. и коммент. *А. Я. Сыркина*. М., 1965 (= «Памятники письменности Востока», VI). Репринт: Упанишады. Пер. с санскрита, исслед. и коммент. *А. Я. Сыркина*. Изд. 2-е, доп. М., 2000 (с. 239–474).
- Тань Аошуан, 2004 — *Тань Аошуан*. Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность. М., 2004.
- Тарский, 1948 — *Альфред Тарский*. Введение в логику и методологию дедуктивных наук. Пер. с англ. О. Н. Дынник, ред. С. А. Яновской, примеч. Г. М. Адельсона-Вельского. М., 1948.
- Тестелец, 2001 — *Я. Г. Тестелец*. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
- Тихомиров и Щепкина, 1952 — *М. Н. Тихомиров, М. В. Щепкина*. Два памятника новгородской письменности. М., 1952 (= «Труды Государственного Исторического музея: Памятники культуры», вып. VIII).
- Тихонравов, I–II — Памятники отреченной русской литературы (Приложение к сочинению «Отреченные книги древней России»). Собраны и изданы *Николаем Тихонравовым*, т. I–II. М., 1863. Репринт: The Hague – Paris, 1971.
- Толстая, I–II — *С. А. Толстая*. Дневники в двух томах, т. I–II. М., 1978.
- Толстой, I–XII — *Л. Н. Толстой*. Собрание сочинений в двенадцати томах, т. I–XII. М., 1972–1976.
- Н. Толстой и С. Толстая, 1998 — *Н. И. Толстой, С. М. Толстая*. Имя в контексте народной культуры. — В изд.: «Проблемы славянского языкознания». М., 1998 (с. 88–125).
- Томсон, 1910 — *А. И. Томсон*. Общее языковедение. Изд. 2-е, перераб. и доп. Одесса, 1910.
- Требник, 1658 — *Требник*. М., 1658.
- Трофимова, 1979 — *М. К. Трофимова*. Историко-философские вопросы гностицизма (Наг-Хаммади, II, сочинения 2, 3, 6, 7). М., 1979.

- Трофимова, 1993 — *М. К. Трофимова*. К вопросу о гностической тайне. — В изд.: «Религии мира: История и современность (Ежегодник, 1989–1990)». М., 1993 (с. 169–181).
- Трубачев, 1959 — *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
- Трубецкой, 1927/1995 — *Н. С. Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре. — В изд.: *Н. С. Трубецкой*. К проблеме русского самопознания: Собрание статей. [Paris], 1927 (с. 54–94). Цит. по изд.: *Н. С. Трубецкой*. История — культура — язык. Вступ. статьи Н. И. Толстого и Л. Н. Гумилева. Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М., [1995] (с. 162–210).
- Туманский, 1912 — *В. И. Туманский*. Стихотворения и письма. Ред., биограф. очерк и примеч. С. Н. Браиловского. СПб., 1912.
- Тургенев, I–XXX — *И. С. Тургенев*. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах, т. I–XXX. М. 1978–1988.
- Тынянов, 1965 — *Ю. Н. Тынянов*. Проблема стихотворного языка. М., 1965.
- Тютчев, I–II — *Ф. И. Тютчев*. Лирика. Изд. подгот. К. В. Пигарев, т. I–II. М., 1966.
- Успенский, I–III — *Б. А. Успенский*. Избранные труды. Изд. 2-е, испр. и перераб., т. I–III. М., 1996–1997.
- Успенский, 1962 — *Б. А. Успенский*. Семиотика у Честертона. — В изд.: «Симпозиум по структурному изучению знаковых систем»: Тезисы докладов. М., 1962 (с. 149–152).
- Успенский, 1962а — *Б. А. Успенский*. Лингвистическая жизнь Копенгагена. — «Вопросы языкознания», 1962, № 3 (с. 148–151).
- Успенский, 1965 — *Б. А. Успенский*. Структурная типология языков. М., 1965.
- Успенский, 1967/1997 — *Б. А. Успенский*. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения “говорящего” (адресанта) и “слушающего” (адресата). — В изд.: «To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday», vol. III. The Hague – Paris, 1967 (p. 2087–2108) (= «Janua linguarum», Series major, XXXII/3). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 5–33).

- Успенский, 1968/1997 — *Б. А. Успенский*. Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии. — «Вопросы языкознания», 1968, № 6 (с. 3–15). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 34–57).
- Успенский, 1969 — *Б. А. Успенский*. “Грамматическая правильность” и понимание. — «Проблемы моделирования языка», III (1). Тарту, 1969 (с. 113–119) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 226).
- Успенский, 1970/1997 — *Б. А. Успенский*. Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской грамоты). — «Вопросы языкознания», 1970, № 5 (с. 80–100). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 246–288).
- Успенский, 1970/2000 — *Б. А. Успенский*. Поэтика композиции (Структура художественного текста и типология композиционной формы). М., 1970. Цит. по изд.: *Б. А. Успенский*. Поэтика композиции. [Изд. 3-е]. СПб., 2000.
- Успенский, 1976/1996 — *Б. А. Успенский*. *Historia sub specie semioticae*. — В изд.: «Культурное наследие Древней Руси (Истоки. Становление. Традиция)». Л., 1976 (с. 286–292). Цит. по изд.: Успенский, I, 1996 (с. 71–82).
- Успенский, 1983–1987/1996 — *Б. А. Успенский*. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. Статьи 1–2. — «*Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*», XXIX, 1983 (с. 33–69); XXXIII, 1987 (с. 37–76). Цит. по изд.: Успенский, II, 1996 (с. 67–161).
- Успенский, 1985 — *Б. А. Успенский*. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М., 1985.
- Успенский, 1985/1996 — *Б. А. Успенский*. Анти-поведение в культуре Древней Руси. — В изд.: «Проблемы изучения культурного наследия». М., 1985 (с. 326–336). Цит. по изд.: Успенский, I, 1996 (с. 460–476).
- Успенский, 1987/2002 — *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987 (= «*Sagers Slavistische Sammlung*», Bd 12). Цит. по изд.: М., 2002 (изд. 3-е, испр. и доп.).

- Успенский, 1988–1989/1996 — *Б. А. Успенский*. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статьи 1–2. — «Труды по знаковым системам», т. XXII. Тарту, 1988 (с. 66–84) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 831); «Труды по знаковым системам», т. XXIII. Тарту, 1989 (с. 11–38) (= «Ученые записки Тартуского гос. ун-та», вып. 855). Цит. по изд.: Успенский, I, 1996 (с. 9–70).
- Успенский, 1992/1996 — *Б. А. Успенский*. Раскол и культурный конфликт XVII века. — В изд.: «Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана». Тарту, 1992 (с. 90–129). Цит. по изд.: Успенский, I, 1996 (с. 477–519).
- Успенский, 1994/2000 — *Б. А. Успенский*. Анатомия метафоры у Мандельштама. — «Новое литературное обозрение», № 7. М., 1994 (с. 140–162). Цит. по изд.: *Б. А. Успенский*. Поэтика композиции. СПб., 2000 (с. 291–330).
- Успенский, 1995/1997 — *Б. А. Успенский*. История русского литературного языка как межславянская дисциплина. — «Вопросы языкознания», 1995, № 1 (с. 80–92). Цит. по изд.: Успенский, III, 1997 (с. 121–142).
- Успенский, 1996 — *Б. А. Успенский*. Предисловие. — В изд.: Успенский, I, 1996 (с. 3–7).
- Успенский, 1997/2002 — *Б. А. Успенский*. Свадьба Лжедмитрия. — «Труды Отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы Рос. АН (Пушкинского Дома)», т. L. СПб., 1997 (с. 404–425). Цит. по изд.: *Б. А. Успенский*. Этюды о русской истории. СПб., 2002 (с. 197–228).
- Успенский, 1998 — *Б. А. Успенский*. Царь и патриарх: Харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление). М., 1998.
- Успенский, 2000 — *Б. А. Успенский*. Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000.
- Успенский, 2004 — *Б. А. Успенский*. Часть и целое в русской грамматике. М., 2004.
- Успенский, 2006 — *Б. А. Успенский*. Крест и круг: Из истории христианской символики. М., 2006.

- Успенский, 2008 — *Б. А. Успенский*. Вид и дейксис. — В изд.: «Динамические модели: слово, предложение, текст. Сборник статей в честь Е. В. Падучевой». М., 2008 (с. 825–866).
- Успенский, 2009 — *Б. А. Успенский*. Гентский алтарь Яна ван Эйка: композиция произведения (Божественная и человеческая перспектива). М., 2009.
- Успенский, 2010 — *Б. А. Успенский*. Право и религия в Московской Руси. — В изд.: «Россика – Русистика – Россиеведение», кн. 1: Язык – История – Культура. М., 2010 (с. 194–286).
- Успенский, 2011 — *Б. А. Успенский*. Дейксис и вторичный семиозис в языке. — «Вопросы языкознания», 2011, № 2 (с. 3–30).
- А. Успенский, 1822 — *Алексей Успенский*. Продолжение Офенского наречия. — «Сочинения в прозе и стихах: Труды Общества любителей российской словесности при имп. Московском ун-те», ч. I. М., 1822 (с. 322–324).
- В. Успенский, I–II — *В. А. Успенский*. Труды по нематематике с приложением семиотических посланий А. Н. Колмогорова к автору и его друзьями, т. I–II. М., 2002. Продолж. пагинация в обоих томах.
- В. Успенский, 1977/2002 — *В. А. Успенский*. К понятию диатезы. — В изд.: «Проблемы лингвистической типологии и структуры языка». Под ред. В. С. Храковского. Л., 1977 (с. 65–84). Цит. по изд.: В. Успенский, I, 2002 (с. 425–446).
- В. Успенский, 1997/2002 — *В. А. Успенский*. Предварение для читателей «Нового литературного обозрения» к «Семиотическим посланиям» Андрея Николаевича Колмогорова. — «Новое литературное обозрение», № 24, 1997 (с. 122–215). Цит. по изд.: В. Успенский, II, 2002 (с. 615–745).
- Л. Успенский, 1974 — *Л. Успенский*. Слово о словах. — В изд.: *Лев Успенский*. Слово о словах. Ты и твоё имя. Л., 1974 (с. 25–438).
- Ф. Успенский, 2005 — *Ф. Б. Успенский*. Магическая речь объекта и вопросы манифестации авторства в текстах скандинавского Средневековья. — В изд.: «Заговорный текст: Генезис и структура». М., 2005 (с. 112–122).
- Ушаков, I–IV — Толковый словарь русского языка. Под ред. *Д. Н. Ушакова*, т. I–IV. М., 1935–1940.

- Ушаков, 1896 — *Д. Ушаков*. Материалы по народным верованиям великоруссов. — «Этнографическое обозрение», кн. XXIX–XXX, 1896, № 2–3 (с. 146–204).
- Фасмер, I–IV — *Макс Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева, т. I–IV. М., 1964–1971. Репринт: СПб., 1996.
- Фергюсон, 1975 — *Ч. Фергюсон*. Автономная детская речь в шести языках. — «Новое в лингвистике», вып. VII. Социолингвистика. М., 1975 (с. 422–440). Ср.: Ferguson, 1964.
- Фонвизин, I–II — *Д. И. Фонвизин*. Собрание сочинений в двух томах, т. I–II. М. — Л., 1959.
- Фрейдин, 2001 — *Ю. Л. Фрейдин*. «Просвечивающие слова» в стихотворениях Мандельштама. — В изд.: «Смерть и бессмертие поэта»: Материалы научной конференции. М., 2001 (с. 235–241).
- Фукидид, I–II — *Фукидид*. История. Пер. Ф. Мищенко в переработке, с примеч. и вступ. очерком С. Жебелева. М., 1915.
- Хилл, 1962 — *А. Хилл*. О грамматической отмеченности предложений. — «Вопросы языкознания», 1962, № 4 (с. 103–110). Ср.: Hill, 1961.
- Хлебников, I–V — *Велимир Хлебников*. Собрание произведений. Под ред. Ю. Н. Тынянова и Н. Л. Степанова, т. I–V. Л., 1928–1933. Репринт: *В. В. Хлебников*. Собрание сочинений, т. I–III. München, 1968–1972 (= «Slavische Propyläen», Bd 37, I–III). 3-й том репринта (соответствующий 5-му тому оригинального издания) содержит дополнение к воспроизведенному изданию, составленное В. Марковым (см.: Хлебников, 1972).
- Хлебников, 1940 — *Велимир Хлебников*. Неизданные произведения (Поэмы и стихи. Ред. и коммент. Н. Харджиева. Проза. Ред. и коммент. Т. Грица). М., 1940. Репринт: *В. В. Хлебников*. Собрание сочинений, т. IV. München, 1971 (= «Slavische Propyläen», Bd 37, IV).
- Хлебников, 1972 — *В. В. Хлебников*. Несобранные произведения. — В изд.: *В. В. Хлебников*. Собрание сочинений, т. III. München, 1972 (с. 377–539) (= «Slavische Propyläen», Bd 37, III). Дополнение к изданию: Хлебников, I–V, составленное В. Марковым.

- Хлебников, 1986 — *Велимир Хлебников*. Творения. Сост., подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева и А. Е. Парниса. М., 1986.
- Хлебников, 1988 — *Велимир Хлебников*. Из неизданного. Публ. А. Е. Парниса. — «Литературное обозрение», 1988, № 7 (с. 109–112).
- Хлебников, 1991 — Из нового собрания сочинений *В. В. Хлебникова* (предварительная публикация). Публ. и коммент. Р. В. Дуганова. — В изд.: «Хлебниковские чтения»: Материалы конференции 27–29 ноября 1990 г. СПб., 1991 (с. 3–14).
- Хлебников, 2000–2006, I–VI — *Велимир Хлебников*. Собрание сочинений в шести томах, т. I–VI. М., 2000–2006.
- Хоккет, 1965 — *Ч. Хоккетт*. Грамматика для слушающего. — «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965 (с. 139–166). Ср.: Hockett, 1961.
- Хомский, 1962 — *Н. Хомский*. Синтаксические структуры. Пер. с англ. — «Новое в лингвистике», вып. II. М., 1962 (с. 412–527). Ср.: Chomsky, 1957.
- Цейтлин, 2009 — *С. Н. Цейтлин*. Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи. М., 2009.
- Цицерон, 1972 — *Марк Туллий Цицерон*. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. с лат. Ф. А. Петровского, И. П. Стрельниковой, М. Л. Гаспарова, под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972.
- Черных, 1948 — *П. Я. Черных*. Заметки об употреблении местоимения *вы* вместо *ты* в качестве формы вежливости в русском литературном языке XVIII–XIX веков. — «Ученые записки Московского гос. ун-та», 1948, вып. 137 (Труды кафедры русского языка, кн. 2) (с. 89–108).
- Черч, 1960 — *А. Чёрч*. Введение в математическую логику, т. I. Пер. с англ. В. С. Чернявского под ред. В. А. Успенского. М., 1960.
- Чистякова, 1983 — *Н. А. Чистякова*. Греческая эпиграмма VIII–III вв. до н. э. Л., 1983.
- Шахматов, 1925 — *А. А. Шахматов*. Очерк современного русского литературного языка. Л., 1925.
- Шахматов, 1925–1927/1941 — *А. А. Шахматов*. Синтаксис русского языка, вып. I–II. Л., 1925–1927. Цит. по 2-му изд.: Л., 1941.
- Шевелева, 1993 — *М. Н. Шевелева*. Аномальные церковнославянские формы с глаголом *быти* и их диалектные соответствия

(к вопросу о соотношении церковнославянской нормы и диалектной системы). — В изд.: «Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти проф. Г. А. Хабургаева». М., 1993 (с. 135–155).

Шкловский, 1919/1929 — *Виктор Шкловский*. Искусство как прием. — В изд.: «Поэтика: Сборники по теории поэтического языка». Пг., 1919 (с. 101–114). Цит. по изд.: *Виктор Шкловский*. О теории прозы. М., 1929 (с. 7–23).

Щербатской, I–II — *Ф. И. Щербатской*. Теория познания и логика по учению позднейших буддистов, ч. I–II. СПб., 1995.

Ягелло, 2003 — *Марина Ягелло*. Алиса в стране языка: Тем, кто хочет понять лингвистику. М., 2003. Ср.: Yaguello, 1981.

Ягич, 1883 — Памятник глаголической письменности: Мариинское четвероевангелие (...). Труд *И. В. Ягича*. М., 1883.

Якобсон, 1921/1979 — *Р. О. Якобсон*. Новейшая русская поэзия. набросок первый. Прага, 1921. Цит. по изд.: Jakobson, V (1979), с. 299–354. С сокращениями опубликовано в изд.: *Роман Якобсон*. Работы по поэтике. Вступ. статья Вяч. Вс. Иванова, сост. и общая ред. М. Л. Гаспарова. М., 1987 (с. 272–316).

Якобсон, 1965 — *Р. О. Якобсон*. Лингвистика и теория связи. — В изд.: Звегинцев, II (с. 435–444). Ср.: Jakobson, 1961/1971.

Якобсон, 1965a — *Р. О. Якобсон*. Выступление на 1-м Международном симпозиуме «Знак и система языка» (Эрфурт, ГДР, 1959). — В изд.: Звегинцев, II (с. 395–402). Ср.: Jakobson, 1962/1971.

Якобсон, 1972 — *Р. О. Якобсон*. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. — В изд.: «Принципы типологического анализа языков разного строя». [Ред. Б. А. Успенский, сост. О. Г. Ревзина]. М., 1972 (с. 95–113). Ср.: Jakobson, 1957/1971.

Якобсон, 1972a — *Р. О. Якобсон*. Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии. — В изд.: «Принципы типологического анализа языков разного строя». [Ред. Б. А. Успенский, сост. О. Г. Ревзина]. М., 1972 (с. 246–257). То же в изд.: *Роман Якобсон*. Избранные работы. Сост. и общая ред. В. А. Звегинцева, предисл. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985 (с. 105–115). Ср.: Jakobson, 1949/1962.

- Якобсон, 1975 — *Р. Якобсон*. Лингвистика и поэтика. — В изд.: «Структурализм: „за“ и „против“». Под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Поляковой. М., 1975 (с. 193–230). Ср.: Jakobson, 1960/1981.
- Якобсон, 1983 — *Р. Якобсон*. Афазия как лингвистическая проблема. В изд.: «Афазия и восстановительное обучение: Тексты». Под ред. Л. С. Цветковой, Ж. М. Глузман. М., 1983 (с. 138–142). Ср.: Jakobson, 1955/1971.
- Якобсон, 1985 — *Р. О. Якобсон*. Лингвистические типы афазии. — В изд.: *Р. О. Якобсон*. Избранные работы. Сост. и общая ред. В. А. Звегинцева, предисл. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985 (с. 287–300). Ср.: Jakobson, 1966/1971.
- Якобсон, 1985а — *Р. Якобсон*. Взгляды Боаса на грамматическое значение. — В изд.: *Роман Якобсон*. Избранные работы. Сост. и общая ред. В. А. Звегинцева, предисл. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985 (с. 231–238). Ср.: Jakobson, 1959/1971.
- Якобсон, 1985б — *Р. Якобсон*. Звук и значение. — В изд.: *Роман Якобсон*. Избранные работы. Сост. и общая ред. В. А. Звегинцева, предисл. Вяч. Вс. Иванова. М., 1985 (с. 30–91). Ср.: Jakobson, 1976/1988.
- Якобсон, 1996 — *Р. О. Якобсон*. Два вида афатических нарушений и два полюса языка. — В изд.: *Роман Якобсон*. Язык и бессознательное. [Сост. К. Голубович, ред. Ф. Успенский]. М., 1996 (с. 27–52). Ср.: Jakobson, 1956/1971.
- Якобсон, 1996а — *Р. О. Якобсон*. Об афатических расстройствах с лингвистической точки зрения. — В изд.: *Роман Якобсон*. Язык и бессознательное. [Сост. К. Голубович, ред. Ф. Успенский]. М., 1996 (с. 73–88). Ср.: Jakobson, 1980/1985.
- Alackapally, 2002 — *Sebastian Alackapally*. Being and Language: Meeting ground between Bharṭṥary and Heidegger. — In: «Western Encounter with Indian Philosophy: Festschrift in Honour of Thomas Kadankavil». Ed. by Augustine Thottakara. Bangalore, 2002 (p. 227–242).
- Apuleius, I–II — *Apuleius*. Metamorphoses. Ed. and transl. by J. Arthur Hanson, vols I–II. Cambridge, Mass. — London, 1989 («The Loeb Classical Library»).
- Ariosto, 1857 — *Ludovico Ariosto*. Opere: Satire. Trieste, 1857.
- Arranz, 1991 — *Miguel Arranz*. Une traduction du tétragramme divin dans quelques textes liturgiques slaves. — In: «Homo imago et

- amicus Dei». *Miscellanea in honorem Ioannis Golub*. Curavit editionem Ratko Perić. Roma, 1991 (p. 497–504).
- Arranz, 1993 — *Miguel Arranz*. Une traduction du tétragramme divin dans quelques textes liturgiques slaves. — In: «Jews and Slavs». Ed. by Wolf Moskovich, Shmuel Shvarzband, Anatoly Alekseev, vol. I. Jerusalem — St. Petersburg (p. 11–19).
- Augustinus, 1968 — *Sancti Aurelii Augustini* de Trinitate libri XV. Cura et studio W. J. Mountain, auxiliante Fr. Glorie. Turnholti, 1968 (= «Corpus Christianorum», Series latina, t. L–LA. Sancti Augustini opera pars XVI, 1–2).
- Augustinus, 1981 — *Sancti Augustini* confessionum libri XIII. Edidit Lucas Verheijen. Turnholti, 1981 (= «Corpus Christianorum», Series latina, t. XXVII. Sancti Augustini opera pars I, 1).
- Banfield, 1982 — *Ann Banfield*. Unspeakable sentences: Narration and representation in the language of fiction. Boston — London — Melbourne and Henley, [1982].
- Barbera, 1997 — *Gioacchino Barbera*. Antonello da Messina. [Milano, 1997].
- Bateson, 1936/1958 — *Gregory Bateson*. Naven: A Survey of Problems Suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe Drawn from Three Points of View. Cambridge, 1936. Цит. по 2-му изд.: Stanford, 1958.
- Bauche, 1951 — *Henri Bauche*. Le langage populaire: Grammaire, syntaxe et dictionnaire du français tel qu'on le parle dans le peuple de Paris, avec tous les termes d'argot usuel. Nouv. éd. revue et corrigée. Paris, 1951.
- Bauer, 1988 — *Walter Bauer*. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6. völlig neu bearbeitete Aufl. Hrsg. von Kurt Aland und Barbara Aland. Berlin — New York, 1988.
- Bellegarde, 1697 — *L'Abbé de Bellegarde* [*Jean-Baptiste Morvan de Bellegarde*]. Reflexions sur le ridicule et sur le moyens de l'éviter; ou sont representez les Moeurs et les differens caracteres des personnes de ce siecle. Paris, 1697. 1-е изд. этой книги вышло в Париже в 1696 г.
- Benveniste, 1966 — *Émile Benveniste*. Problèmes de linguistique générale. [Paris, 1966]. Цит. работы: «“Être” et “avoir” dans les leurs fonctions linguistiques» (p. 187–207), «Structure des relations

de personne dans le verbe» (p. 225–236), «La nature des pronoms» (p. 251–257), «De la subjectivité dans le langage» (p. 258–266). Рус. перевод: Бенвенист, 1974.

Bernstein, 1961/1964 — *Basil Bernstein*. Aspects of Language and Learning in the Genesis of the Social Process. — «Journal of Child Psychology and Psychiatry», vol. I, 1961 (p. 313–324). Цит. по изд.: Hymes, 1964 (p. 251–263).

Beyrer & Kostov, 1978 — *Arthur Beyrer, Kiril Kostov*. “Umgekehrte Anrede” im Bulgarischen und Rumänischen? — «Балканско езикознание», кн. XXI, 1978, №4 (S. 41–53).

Bhat, 2004 — *D. N. S. [= Darbhe Narayana Shankara] Bhat*. Pronouns. Oxford, 2004.

Bible, I–VII — La sainte Bible polyglotte contenant le texte hébreu original, le texte grec des Septante, le texte latin de la Vulgate et la traduction française de M. L’Abbé Graire avec les différences de l’hébreu, des Septante, et de la Vulgate (...) Par F. Vigouroux, t. I–VII. Paris, 1900–1908.

Bible, 1489 (Bible Kutnohorská) — Bible. Kutná Hora, 1489. Репринт: Kuttenger Bibel bei Martin von Tišnov, Bde I–II. Paderborn – München – Zürich – Wien, 1989 (= «Biblia Slavica». Reihe: Tschechische Bibeln, Bde 2.1–2.2).

Bible, 1535 — La Bible qui est toute la Sainte escriture. En laquelle sont contenus le Vieil testament et le Nouveau, translatez en Francoys. Le Vieil, de Hebrieu, et le Nouveau, du Grec. [Neufchastel], 1535. Протестантское издание, переводчик — Pierre Robert Olivetan. Фолиация и пагинация отсутствуют в этом изд.

Bible, 1550 — La Sainte Bible, contenant les Saintes escritures, tant du Vieil, que du Nouveau Testament. A Lyon, 1550.

Bible, 1550a — La Sainte Bible, nouvellement translatee de Latin en Francois, selon l’edition Latin, dernièrement imprimée a Louvain: reveuë, corrigée et approuvée par gens sçavants, a ce deputez. A Louvain, 1550.

Bible, 1563 — La Bible qui est toute la sainte Escriture, contenant le Vieil et Nouveau Testament: ou la vielle et nouvelle alliance. Quant est du Nouveau Testament, ila esté reveu et corrigé sur le Grec, par l’avis de Ministres de Geneve. A Geneve, 1563. Протестантское изд.

- Bible, 1606 — La Bible qui est toute la sainte esriture du Vieil et du Nouveau Testament: autrement l’Anciene et la Nouvelle Alliance. Le tout reveu et conferè sur les textes Hebrieux et Grecs par les Pasteurs et Professeurs de l’Eglise de Geneve. A La Rochelle, 1606. Протестантское изд.
- Bible, 1964 — La Sainte Bible. Par Louis Segond. Paris, 1964.
- Bible, 1989 — La Bible. Traduction oecuménique, éd. intégrale. Paris, 1989 (Société biblique française).
- Bible de Jérusalem, 1998 — La Bible de Jérusalem. Traduite en français sous la direction de l’École biblique de Jérusalem. Paris, 1998.
- Bible, version Ostervald, 1903 — La Sainte Bible qui contient l’Ancien et le Nouveau Testament. Version Ostervald. Avec des parallèles. Paris, 1903. Протестантское изд.
- Bopp, I–III — *Franz Bopp*. Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen. 3te Ausgabe, Bde I–III. Berlin, 1868–1871.
- Bradley, 1993 — *David Bradley*. Pronouns in Burmese-Lolo. — «Linguistics of the Tibeto-Burman Area», vol. XVI, 1993, №1 (p. 157–215).
- Braun, 1988 — *Friederike Braun*. Terms of Address: Problems of Patterns and Usage in Various Languages and Cultures. Berlin — New York — Amsterdam, 1988 (= «Contributions to the Sociology of Language», L).
- Brown & Gilman, 1960 — *Roger Brown* and *Albert Gilman*. The Pronouns of Power and Solidarity. — In: «Style in Language». Ed. by Thomas A. Sebeok. Cambridge, Mass., [1960] (p. 253–276).
- Brunot, I–XIII — *Ferdinand Brunot*. Histoire de la langue française des origines à nos jours, t. I–XIII. Paris, 1905–1953. Репринт: Paris, 1966–1972.
- Buber, 1949 — *Martin Buber*. Die Erzählungen der Chassidim. [Zürich, 1949].
- Buber, 1966 — *Martin Buber*. Ich und Du. Köln, [1966]. Рус. перевод: Бубер, 1993.
- Burzachechi, 1962 — *Mario Burzachechi*. Oggetti parlanti nelle epigrafi greche. — «Epigraphica: Rivista italiana di epigrafia», anno XXIV, 1962 (p. 3–54).

- Caesarius Heisterbacensis, I–III — *Caesarius Heisterbacensis*. Homiliae sive fasciculus moralitatis. Per R. P. F. Ioannem Andream Coppenstein (...) nunc primum ex pervetusto MS. cod. ad typos elaborata: additis ad marginem lemmatis & citationibus adnotatis. Pars I–III. Coloniae Agrippinae, 1615. Разные части этого издания по-разному озаглавлены. Pars prima: Fasciculus moralitatis (...) homiliae de infantia servatoris Jesu Christi complectens (...). In Evangelia a Nativitate usque ad octavam Epiphaniae. Pars secunda: Homiliae dominicales (...). In Evangelia, post octavas Epiphaniae ad usque Pentecosten. Pars tertia: Homiliae (...). In domenicas Pentecostes, et deinceps, usque ad Nativitatem Christi.
- Calabrese & Gigante, 1989 — *Omar Calabrese et Betty Gigante*. La signature du peintre. — «La part de l'œil», 1989, № 5 (p. 27–43).
- Cárceles, 1923 — *J. Pla Cárceles*. La evolución del tratamiento 'vuestra-merced'. — «Revista de Filología Española», X, 1923 (p. 245–280).
- Carnap, 1931 — *Rudolf Carnap*. Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. — «Erkenntnis, zugleich Annalen der Philosophie», Bd II, 1931, Hft 4 (S. 219–241). Англ. перевод: Carnap, 1959.
- Carnap, 1934 — *Rudolf Carnap*. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934 (= «Schriften zur wissenschaftlichen Weltauffassung», VIII). Англ. перевод: Carnap, 1937.
- Carnap, 1936–1937 — *Rudolf Carnap*. Testability and Meaning. — «Philosophy of Science», vol. III, 1936, № 4 (p. 419–471), vol. IV, 1937, № 1 (p. 1–40).
- Carnap, 1937 — *Rudolf Carnap*. The Logical Syntax of Language. London – New York, 1937. Ср.: Carnap, 1934.
- Carnap, 1946 — *Rudolf Carnap*. Introduction to Semantics. Cambridge (Mass.), 1946.
- Carnap, 1959 — *Rudolf Carnap*. Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language. — In: «Logical Positivism». Ed. by A. J. Ayer. Glencoe, 1959 (p. 60–81). Ср.: Carnap, 1931.
- Caro, I–II — De le lettere familiari del commendatore *Annibal Caro*, vol. I–II. In Venetia, 1572–1575.

- Carroll, I–II — The Letters of *Lewis Carroll*. Ed. by Martin N. Cohen, vols I–II. [London, 1979].
- Carroll, 1939 — The Complete Works of *Lewis Carroll*. With an introd. by Alexander Woollcott and the illustrations by John Tenniel. London, [1939].
- Carroll, 1970 — *Lewis Carroll*. The Annotated Alice: Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. With an introd. and notes by Martin Gardner. [Harmondsworth, 1970] («Penguin Books»).
- Casagrande, 1948 — *Joseph B. Casagrande*. Comanche Baby Language. — «International Journal of American Linguistics», vol. XIV, 1948 (p. 11–14). Цит. по изд.: Hymes, 1964 (p. 245–250).
- Casseler, 2004 — *Chiara Casseler*. Introduzione. — In: Ibn ‘Arabî, 2004 (p. 125–127).
- Cassianus, 2004 — Cassiani opera “De institutis coenobiorum”; “De incarnatione contra Nestorium”. Edidit Michael Petschenig. Editio altera supplementis aucta curante Gottfried Kreuz. Wien, 2004 (= «Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Editum consilio et impensis Academiae scientiarum Austriacae», vol. XVII).
- Catchpole & Slater, 1995 — *C. K. Catchpole and P. J. B. Slater*. Bird Song: Biological Themes and Variations. Cambridge, [1995].
- Chartier, 1989 — A History of Private Life, vol. III. Passions of the Renaissance. Ed. by Roger Chartier. Cambridge, Mass. & London, 1989.
- Chatelain, 1880 — *Émile Chatelain*. Du pluriel de respect en latin. — «Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes», N. s., t. IV, 1880 (p. 129–139).
- Chesterton, 1947 — *G. K. Chesterton*. Omnibus Containing “The Napoleon of Notting Hill”, “The Man Who Was Thursday”, “The Flying Inn”. 3rd ed. London, [1947].
- Chiat, 1986 — *Shulamuth Chiat*. Children’s Pronouns. — In: «Pronominal systems». Ed. by Ursula Wiesemann. Tübingen, 1986 (p. 383–404).
- Chomsky, 1957 — *N. Chomsky*. Syntactic Structures. ’s-Gravenhage, 1957. Рус. перевод: Хомский, 1962.

- CIL, I–XV — Corpus inscriptionum latinarum. Consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae editum, vol. I–XV. Berlin, 1863–1899.
- Clanchy, 1979 — *M. Clanchy*. From Memory to Written Record: England 1066–1307. London, 1979.
- Coffen, 2002 — *Béatrice Coffen*. Histoire culturelle des pronoms d'adresse: Vers une typologie des systèmes allocutoires dans les langues romanes. Paris, 2002 (= «Bibliothèque de grammaire et de linguistique», t. 12).
- Cohn, 1899 — *Leopold Cohn*. Mr. Burkitt's "Aquila" [рец. на кн.: F. Crawford Burkitt (ed.). Fragments of the Books of Kings According to the Translation of Aquila from a MS Formerly in the Geniza at Cairo... Cambridge, 1897]. — «The Jewish Quarterly Review», vol. XI, 1899, №3 (p. 520–525).
- Collinder, 1946 — *Björn Collinder*. On the Relationship between Thought and Linguistic Expression. — «Finnisch-Ugrische Forschungen», Bd XXIX, 1948 (p. 3–15).
- Contini & Gozzoli, 1970 — L'opera completa di Simone Martini. Presentazione di *Gianfranco Contini*. Apparati critici e filologici di *Maria Cristina Gozzoli*. Milano, [1970].
- Day, 1911 — *Theodor Day*. Beiträge zur Geschichte der Anrede im Französischen zu Beginn der Neuzeit. Heidelberg, 1911.
- De Mauro, I–VI — Grande Dizionario Italiano dell'Uso. Ideato e diretto da *Tulio De Mauro*, vol. I–VI. [Torino, 1999–2000].
- De Vries, 1971 — *Jan de Vries*. Nederlands Etymologisch Woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere. Leiden, 1971.
- DeConick, 2006 — *April D. DeConick*. The Original Gospel of Thomas in Translation With a Commentary and New English Translation of the Complete Gospel. [London, 2006] (= «Library of New Testament Studies», 287, formerly «The Journal for the Study of the New Testament Supplement Series»).
- Denecke, 1892 — *A. Denecke*. Zur Geschichte des Grusses und der Anrede in Deutschland. — «Zeitschrift für den deutschen Unterricht», Bd VI, 1892 (S. 317–345).

- Dhanens, 1980 — *Elisabeth Dhanens*. Hubert and Jan van Eyck. [Antwerp, 1980].
- Dickens, 1966 — *Charles Dickens*. The Personal History of David Copperfield. London — New York — Toronto, [1966].
- Diels, I–III — Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch von *Hermann Diels*. 5. Aufl. Hrsg. von Walter Kranz, Bde I–III. Berlin, 1934–1937.
- Dihle, 1952 — *Albrecht Dihle*. Antike Höflichkeit und christliche Demut. — «Studi italiani di filologia classica», vol. XXVI, 1952 (S. 169–190).
- Draeger, I–II — *A. Draeger*. Historische Syntax der Lateinischen Sprache. 2te Aufl., Bde I–II. Leipzig, 1878.
- Drange, 1966 — *Theodore Drange*. Type Crossings: Sentential Meaninglessness in the Border Area of Linguistics and Philosophy. The Hague — Paris, 1966 (= «Janua linguarum», Series minor, № XLIV).
- Du Cange, I–VI — *Carolus du Fresne dominus du Cange*. Glossarium ad Scriptores Mediæ et infimæ Latinitatis, t. I–VI. Parisiis, 1733–1736.
- Ehrismann, 1901–1904 — *Gustav Ehrismann*. Duzen und Ihrzen im Mittelalter. — «Zeitschrift für deutsche Wortforschung», Bd I, 1901, Hfte 2–3 (S. 117–149); Bd II, 1902, Hfte 2–3 (S. 118–159); Bd IV, 1903, Hft 3 (S. 210–248); Bd V, 1903–1904, Hft 3 (S. 127–220).
- Ernst, 1985 — *Gerhard Ernst*. Gesprochenes Französisch zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Direkte Rede in Jean Héroards “Histoire particulière de Louis XIII” (1605–1610). Tübingen, 1985 (= «Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie», Bd 204).
- Ewing, 1937 — *A. C. Ewing*. Meaninglessness. — «Mind», vol. XLVI, 1937 (p. 347–364).
- Exodus, 1999 — *William H. C. Propp*. Exodus 1–18: A new translation with introd. and comment. New York — London — Toronto — Sydney — Auckland, [1999] (= «The Anchor Bible», vol. 2).
- Ferber, 1917 — *A. F.* [= *A. Ferber*]. Le tutoiement de Dieu dans l’Eglise chrétienne. — «Revue chrétienne», t. LXIV, 1917, Jouillet–Août (p. 297–308).

- Ferguson, 1956 — *Charles A. Ferguson*. Arabic Baby Talk. — In: «For Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Sixtieth Birthday». Compiled by Morris Halle, Horace G. Lunt, Hugh McLean, Cornelis H. Van Schooneveld. The Hague, 1956 (p. 120–128).
- Ferguson, 1964 — *Charles A. Ferguson*. Baby Talk in Six Languages. — «American Anthropologist», N. s., vol. 66, pt. 2, 1964 (p. 103–114). Рус. перевод: Фергюсон, 1975.
- Ferguson, 1977 — *Charles A. Ferguson*. Baby Talk as a Simplified Register. — In: «Talking to Children». Ed. by Catherine Snow & Charles Ferguson. Cambridge, 1977 (p. 219–237).
- Field, I–II — *Origenis Hexaplorum quae supersunt sive veterum interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum fragmenta*. Post Flaminium Nogilium, Drusium et Montefalconium adhibita etiam versione Syro-Hexaplari, concinnavit, emendavit, et multis partibus auxit *Fridericus Field*, t. I–II. Oxford, 1967–1975.
- Fillmore, 1975 — *Ch. J. Fillmore*. Santa Cruz Lectures on Deixis. Reproduced by the Indiana University Linguistic Club. Bloomington, Indiana, 1975.
- Firth, 1935/1957 — *J. R. Firth*. The Technique of Semantics. — In: «Transactions of the Philological Society», London, 1935 (p. 36–72). Цит. по изд.: Firth, 1957 (p. 7–33).
- Firth, 1937 — *J. R. Firth*. The Tongues of Men. London, [1937].
- Firth, 1948/1957 — *J. R. Firth*. The Semantics of Linguistic Science. — «Lingua», vol. I, 1948, № 4 (p. 393–404). Цит. по изд.: Firth, 1957 (p. 139–147).
- Firth, 1950/1957 — *J. R. Firth*. Personality and Language in Society. — «The Sociological Review», vol. XLII, 1950, section 2 (p. 37–52). Цит. по изд.: Firth, 1957 (p. 177–189).
- Firth, 1951/1957 — *J. R. Firth*. General Linguistics and Descriptive Grammar. — In: «Transactions of the Philological Society». London, 1951 (p. 69–87). Цит. по изд.: Firth, 1957 (p. 216–228).
- Firth, 1951a/1957 — *J. R. Firth*. Modes of Meaning. — In: «Essays and Studies (The English Association)», 1951 (p. 118–149). Цит. по изд.: Firth, 1957 (p. 190–215).

- Firth, 1957 — *J. R. Firth*. Papers in Linguistics: 1934–1951. London – New York – Toronto, 1957.
- Flaubert, 1949 — *Gustave Flaubert*. Madame Bovary. Avec une introduction et des notes par Jean Pommier et Gabrielle Leleu. Paris, 1949.
- Floss, 1991 — *Johannes P. Floss*. “Ich bin mein Name”: Die Identität von Gottes Ich und Gottes Namen nach Ex 3, 14. — In: «Text, Methode und Grammatik: Wolfgang Richter zum 65. Geburtstag». Hrsg. von Walter Gross, Hubert Irsigler, Theodor Seidl. St. Ottilien, 1991 (S. 67–80).
- Forcellini, I–VI — Lexicon totius latinitatis ab *Aegidio Forcellini* ⟨...⟩ lucubraturum. Deinde a Iosepho Furnaletto ⟨...⟩ emendatum et auctum. Nunc vero curantibus Francisco Corradini et Iosepho Perin ⟨...⟩ emendatius et auctius melioremque in formam redactum. Secunda impressio anastatice confecta quartae editionis aa. 1864–1926 Patavii typis mandatae cum appendicibus quibus aucta est prima anastatica impressio a 1940 edita, t. I–VI. Patavii, 1965.
- Förster, 1898 — *W. Foerster*. Französische Etymologien. — «Zeitschrift für romanische Philologie», Bd XXII, 1898, Hft 2 (S. 263–273).
- Fossum, 1985 — *Jarl E. Fossum*. The Name of God and the Angel of the Lord: Samaritan and Jewish Concepts of Intermediation and the Origin of Gnosticism. Tübingen, 1985 (= «Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament», 36).
- Fossum, 1995 — *Jarl E. Fossum*. In the Beginning Was the Name: Onomatology as the Key to Johannine Christology. — In: *Jarl E. Fossum*. The Image of the Invisible God: Essays on the Influence of Jewish Mysticism on Early Christology. Göttingen, 1995 (p. 109–133) (= «Novum Testamentum et Orbis Antiquus», 30).
- Fox, Stubs & Furley, 1660 — *George Fox, John Stubs, Benjamin Furley*. A Battle-Door for Teachers and Professors to Learn Singular and Plural; *You* to *Many*, and *Thou* to *One*: Singular *One, Thou*; Plural *Many, You*. London, 1660. Репринт: Menston, 1968 (= English Linguistics 1500–1800: A Collection of Facsimile Reprints, selected and ed. by R. C. Alston, № 115; фамилия последнего автора обозначена в репринте как Furly).
- Fries, 1952 — *Ch. Fries*. The Structure of English: An introduction to the construction of English sentences. New York, 1952.

- Fry, 1981 — The rule of St. Benedict in Latin and English with notes. Editor *Timothy Fry*. Collegeville, Minnesota, 1981.
- Gardner, 1970 — *Martin Gardner*. Notes. — В изд.: Carroll, 1970.
- Garitte, 1942 — *Gérard Garitte*. “Morituri te salutant”: Note sur les formes allocutives. — «Les études classiques», t. XI, 1942, № 1 (p. 3–26).
- Gedike, 1794 — Über Du und Sie in der deutschen Sprache. Vorgelesen in der öffentlichen Versammlung der Berlinischen Akademie der Wissenschaften am 30. Januar 1794. von *D. Friedrich Gedike*. Berlin, 1794.
- Geertz, 1966/1999 — *Clifford Geertz*. Religion as a Cultural System. — In: «Anthropological Approaches to the Study of Religion». Ed. by Michael Banton. London, 1966 (p. 1–42). Цит. по изд.: «Language, Truth and Religious Belief: Studies in Twentieth-Century Theory and Method in Religion». Ed. by Nancy K. Frankenberry and Hans H. Penner. Atlanta, Georgia, [1999] (p. 176–217) (= «American Academy of Religion: Texts and Translation Series», № 19).
- Gordon, 1975 — *A. E. Gordon*. The Inscribed Fibula Praenestina: Problems of Authenticity. Los Angeles, 1975.
- Grand, 1930 — *Camille Grand*. “Tu, Voi, Lei”: Étude des Pronoms allocutoires italiens. Thèse présentée à la Faculté des Lettres de L’Université de Fribourg, Suisse, pour obtenir le grade de docteur. Ingenbohl (Suisse), 1930.
- Grayson, 2000 — *A. Kirk Grayson*. Murmuring in Mesopotamia. — In: «Wisdom, Gods and Literature: Studies in Assyriology in Honor of W. G. Lambert». Ed. by A. R. George and I. L. Finkel. Winona Lake, Indiana, 2000 (p. 301–308).
- Greenberg, 1971 — *J. H. Greenberg*. Is Language Like a Chess Game? — In: *Joseph H. Greenberg*. Language, Culture and Communication. Essays selected and introduced by Anvar S. Dil. Stanford, 1971 (p. 330–352).
- Greenberg, 1986 — *Joseph H. Greenberg*. Introduction: Some Reflections on Pronominal systems. — In: «Pronominal systems». Ed. by Ursula Wiesemann. Tübingen, 1986 (p. XVII–XXI).
- Grimm, I–IV — *Jacob Grimm*. Deutsche Grammatik. 2te Ausgabe, Th. I–IV. Göttingen, 1822–1837.

- Guarducci, 1980 — *M. Guarducci*. La cosiddetta fibula prenestina: Antiquari, eruditi e falsari nella Roma dell'Ottocento. Roma, 1980 (= «Atti della Accademia nazionale dei Lincei». Memorie. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie VIII — Vol. XXIV, fasc. 4).
- Guillaumont et al., 1959 — *A. Guillaumont, H.-Ch. Puech, G. Quispel, W. Till and Yassah 'Abd Al Masīh*. The Gospel according to Thomas. Leiden — London, 1959.
- Hamp, 1981 — *E. P. Hamp*. Is the Fibula a Fake? — «American Journal of Philology», vol. 102, 1981 (p. 151–153).
- Heisenberg, 1958 — *Werner Heisenberg*. The Representation of Nature in Contemporary Physics. — «Daedalus», vol. 87, 1958, № 3 (Symbolism in Religion and Literature) (p. 95–108).
- Heraeus, 1903 — *Wilhelm Heraeus*. Die Sprache der römischen Kinderstube. — «Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik mit Einschluss des älteren Mittellateins». Als Ergänzung zu dem THESAURUS LINGVAE LATINAE hrsg. von Eduard von Wölfflin, Bd 13, 1903, Hft 2 (S. 149–172). Перепечатано: *Wilhelm Heraeus*. Kleine Schriften. Zum 75. Geburtstag am 4. Dezember 1937 ausgewählt und herausgegeben von J. B. Hofmann. Heidelberg, 1937 (= «Indogermanische Bibliothek», 3te Abteilung, Bd 17) (S. 158–180).
- Hill, 1961 — *Archibald A. Hill*. Grammaticality. — «Word», vol. XVII, 1961, № 1–2 (p. 1–10). Рус. перевод: Хилл, 1962.
- Hinton, 1974 — *David A. Hinton*. Catalogue of the Anglo-Saxon Ornamental Metalwork, 700–1100, of the Department of Antiquities, Ashmolean Museum. [Oxford, 1974].
- Hirschfeld, 1901 — *Otto Hirschfeld*. Die Rangtitel der römischen Kaiserzeit. — In: «Sitzungsberichte der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin», Bd XXIII–XXIV, 1901 (S. 579–610). Переиздано: *Otto Hirschfeld*. Kleine Schriften. Berlin, 1913 (репринт: New York, 1975) (S. 657–671).
- Hjelmslev, 1949 — *Louis Hjelmslev*. [Выступление]. — «Actes du sixième Congrès International des Linguistes (Paris, 1948)». Paris, 1949 (p. 151).
- Hockett, 1961 — *Charles F. Hockett*. Grammar for the Hearer. — In: «Structure of Language and Its Mathematical Aspects» (= «Pro-

- ceedings of the Twelfth Symposium in Applied Mathematics Held in New York City, April 14–15, 1960»). Ed. by Roman Jakobson. Providence, 1961 (p. 220–236). Рус. перевод: Хоккет, 1965.
- Hofmann, 1926 — *J. B. Hofmann*. Lateinische Umgangssprache. Heidelberg, 1926 (= «Indogermanische Bibliothek», Abteil. I: Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher, 1. Reihe: Grammatiken, Bd 17). Итал. перевод: Hofmann, 1980.
- Hofmann, 1965 — *J. B. Hofmann*. Lateinische Syntax und Stilistik. Neuarbeitet von Anton Szantyr. München, 1965 (= «Handbuch der Altertumswissenschaft», Abteil. 2, Teil 2, Bd 2).
- Hofmann, 1980 — *Johann Baptist Hofmann*. La lingua d'uso latina. Introd., trad. italiana e note a cura di Licinia Ricottilli. [Bologna, 1980] (= «Testi e manuali per l'insegnamento universitario del latino», 15). Перевод книги: Hofmann, 1926 (изд. 3-е. Heidelberg, 1951).
- Holl, I–III — Epiphanius. Hrsg. im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften von *Karl Hall*, Bde I–III. Leipzig, 1915–1933 (= «Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Drei Jahrhunderte», Bde 25, 31, 37).
- Huge, 1540 — *Alexander Huce*. Rhetorica und Formulare, Teutsch. Tübingen, 1540.
- Humboldt, I–VII — *Wilhelm von Humboldt*. Gesammelte Werke, Bde I–VII. Berlin, 1841–1852.
- Humboldt, 1830/1848 — *Wilhelm von Humboldt*. Ueber den Dualis. — In: «Abhandlungen der historisch-philologischen Klasse der K. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1827». Berlin, 1830 (S. 161–184). Цит. по изд.: Humboldt, VI, 1848 (S. 562–596). Рус. перевод: Гумбольдт, 1985.
- Humboldt, 1836/1848 — *Wilhelm von Humboldt*. Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Berlin, 1836. Цит. по изд.: Humboldt, VI, 1848 (S. 1–425). Рус. перевод: Гумбольдт, 1984.
- Hymes, 1964 — «Language in Culture and Society: A Reader in Linguistics and Anthropology». Ed. by *Dell Hymes*. New York – Evanston – London, 1964.

- Ibn 'Arabî, 2004 — *Ibn 'Arabî*. Il libro del Sé divino (Kitâb al-Yâ' wa huwa kitâb al-Huwa). A cura di Chiara Casseler. Saggio introduttivo "I fattori della sintesi trascendente" di Paolo Urizzi. [Torino, 2004] (= «I gioielli: Testi esoterici del Sufismo», 5).
- Ingraham, 1903 — *Andrew Ingraham*. Nine Uses of Language. — In: *Andrew Ingraham*. Swain School Lectures. London — Chicago, 1903 (p. 121–182).
- Jadacki, 1986 — *J. Jadacki*. Meaninglessness. — In: «Encyclopedic Dictionary of Semiotics». Ed. by Thomas A. Sebeok, vol. I. Berlin — New York — Amsterdam, 1986 (p. 523–525).
- Jagić, 1879 — Quattuor evangeliorum codex glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Ed. *V. Jagić*. Berlin, 1879.
- Jakobson, I–IX — *Roman Jakobson*. Selected Writings, vol. I–IX. The Hague — Paris — Berlin — New York — Amsterdam, 1962–1990.
- Jakobson, 1941/1962 — *Roman Jakobson*. Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Uppsala, 1941. Оттиск из изд.: «Språkvetenskapliga Sällskapet i Uppsala Förhandlingar», 1940–1942 (= «Uppsala Universitets Årsskrift», 1942, 9). Цит. по изд.: Jakobson, I, 1962 (p. 328–401).
- Jakobson, 1949/1962 — *Roman Jakobson*. Le lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale. — In: *N. S. Troubetzkoy*. Principes de phonologie. Paris, 1949 (p. 367–379). Цит. по изд.: Jakobson, I, 1962 (p. 317–327). Рус. перевод: Якобсон, 1972а.
- Jakobson, 1955/1971 — *Roman Jakobson*. Aphasia as a Linguistic Problem. — In: «On Expressive Language». Ed. by H. Werner. Worcester, Mass., 1955 (p. 69–81). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 229–238; здесь под названием: Aphasia as a Linguistic Topic). Рус. перевод (с сокращениями): Якобсон, 1983.
- Jakobson, 1956/1971 — *Roman Jakobson*. Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. — In: *Roman Jakobson, Morris Halle*. Fundamentals of Language. The Hague, 1956 (pt II, p. 53–82) (= «Janua linguarum», № 1). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 238–259). Рус. перевод: Якобсон, 1996.
- Jakobson, 1957/1971 — *Roman Jakobson*. Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb. [Cambridge, Mass.], 1957. Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 130–147). Рус. перевод: Якобсон, 1972.

- Jakobson, 1959/1971 — *Roman Jakobson*. Boas' View of Grammatical Meaning. — In: «The Anthropology of Franz Boas: Essays on the Centennial of His Birth». Menasha, 1959 (p. 139–145) (= «American Anthropologist», LXI/5, pt 2; Memoir 89). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 489–496). Рус. перевод: Якобсон, 1985а.
- Jakobson, 1959а/1971 — *Roman Jakobson*. Linguistic Glosses to Goldstein's "Wortbegriff". — «Journal of Individual Psychology», vol. XV, 1959, № 1 (p. 62–65). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 267–271).
- Jakobson, 1960/1962 — *Roman Jakobson*. Why "Мама" and "Папа"? — In: «Perspectives in Psychological Theory: Essays in Honor of Hinz Werner». New York, 1960 (p. 124–134). Цит. по изд.: Jakobson, I, 1962 (p. 538–545).
- Jakobson, 1960/1981 — *Roman Jakobson*. Linguistics and Poetics. — In: «Style and Language». Ed. by T.A. Sebeok. New York, 1960 (p. 350–377). Цит. по изд.: Jakobson, III, 1981 (p. 18–51). Рус. перевод: Якобсон, 1975.
- Jakobson, 1961/1971 — *Roman Jakobson*. Linguistics and Communication Theory. — In: «Structure of Language and Its Mathematical Aspects». Ed. by Roman Jakobson. Providence, 1961 (p. 245–252) (= «Proceedings of Symposia in Applied Mathematics», XII). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 570–579). Рус. перевод: Якобсон, 1965.
- Jakobson, 1962/1971 — *Roman Jakobson*. Diskussionsbeitrag. — In: «Zeichen und System der Sprache». Veröffentlichung des 1. Internationalen Symposions «Zeichen und System der Sprache» vom 28.9. bis 2.10. 1959 in Erfurt, Bd II. Berlin, 1962 (S. 50–56) (= «Schriften zur Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», № 4). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 272–279; здесь под названием: Zeichen und System der Sprache: Diskussionsbeitrag). Рус. перевод: Якобсон, 1965а.
- Jakobson, 1963/1971 — *Roman Jakobson*. Implications of Language Universals for Linguistics. — In: «Universals of Language: Report of a conference held at Dobbs Ferry, New York, April 13–15, 1961». Ed. by J. H. Greenberg. Cambridge, Mass., 1963 (p. 208–219). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 580–591). Рус. перевод (Р. О. Якобсон. Значение лингвистических универсалий

для языкознания. — В изд.: Звегинцев, II, с. 383–395) неудовлетворителен, поскольку содержит неоговоренные сокращения; по-видимому, переводчик пользовался предварительной версией работы Р. О. Якобсона.

- Jakobson, 1966/1971 — *Roman Jakobson*. Linguistic Types of Aphasia. — In: «Brain Function», III: Speech, Language and Communication. Berkeley — Los Angeles, 1966 (p. 67–91) (= «Forum in Medical Sciences», № 4). Цит. по изд.: Jakobson, II, 1971 (p. 307–333). Рус. перевод: Якобсон, 1985.
- Jakobson, 1972/1985 — *Roman Jakobson*. Language and Culture. — In: «Sciences of Language», vol. II, 1972, № 3 (p. 49–62). Цит. по изд.: Jakobson, VII, 1985 (p. 101–112).
- Jakobson, 1975 — N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. Prepared for publication by *Roman Jakobson* with the assistance of H. Baran, O. Ronen, and Martha Taylor. The Hague — Paris, 1975 (= «Janua linguarum», Series Maior, 47). Ср. изд.: Письма и заметки Н. С. Трубецкого. М., 2004.
- Jakobson, 1976/1988 — *Roman Jakobson*. Six leçons sur le son et le sens. Paris, 1976. Цит. по изд.: Jakobson, VIII/1 (p. 317–390). Рус. перевод: Якобсон, 1985б.
- Jakobson, 1980/1985 — *Roman Jakobson*. On Aphasic Disorders from a Linguistic Angle. — In: *Roman Jakobson*. The Framework of Language. [Ann Arbor], 1980 (p. 93–111) (= «Michigan Studies in the Humanities», 1). Цит. по изд.: Jakobson, VII, 1985 (p. 128–140). Рус. перевод: Якобсон, 1996а.
- Jensen, 1931 — *Hans Jensen*. Neupersische Grammatik mit Berücksichtigung der historischen Entwicklung. Heidelberg, 1931 (= «Indogermanische Bibliothek», Abteil. I: Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher, 1. Reihe: Grammatiken, Bd XXII).
- Jespersen, 1922 — *Otto Jespersen*. Language, its Nature, Development and Origin. London — New York, [1922].
- Jespersen, 1924 — *Otto Jespersen*. The Philosophy of Grammar. London, 1924. Рус. перевод: Есперсен, 1958.
- Joyce, 1967 — *James Joyce*. Dubliners. New York, 1967.
- Kantorowicz, 1957 — *Ernst Kantorowicz*. The King's Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology. Princeton, 1957.

- Katsouris, 1977 — *A. G. Katsouris*. Plural in Place of Singular. — «Rheinisches Museum für Philologie», N. F., Bd 120, 1977, Hfte 3–4 (p. 228–240).
- Kennedy, 1915 — *Arthur Garfield Kennedy*. The Pronoun of Address in English Literature of the Thirteenth Century. Stanford, 1915.
- Kess & Kess, 1986 — *Joseph Francis Kess & Anita Copeland Kess*. On Nootka baby talk. — «International Journal of American Linguistics», vol. LII, 1986, № 3 (p. 201–211).
- King James Bible — The Holy Bible Containing the Old and New Testaments Translated out of the Original Tongues, and with former Translations diligently compared and revised by His Majesty's special Command [The Authorized Version (King James)]. Appointed to be read in Churches. London, s. a.
- Klenin, 1980 — *Emily Klenin*. Individuation: An Historical Case Study. — In: «Morphosyntax in Slavic». Ed. by C. V. Chvany and R. D. Brecht. Columbus, 1980 (p. 62–78).
- Knobloch, 1977 — *Johann Knobloch*. Echonamen — «Beiträge zur Namenforschung», N. F., Bd XII, 1977 (S. 121–124).
- Königspiegel, 1944 — Der Königspiegel/Konungsskuggsjá. Aus dem Altnordischen übersetzt von Rudolf Meissner. Mit einem Beitrag von A. Heiermeier. Halle/Saale, 1944.
- Koschmieder, 1934 — *Erwin Koschmieder*. Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie: Próba syntezy. Wilno, 1934 (= «Rozprawy i materiały wydziału I Towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie», t. V, zesz. 2). Сокр. рус. перевод: Кошмидер, 1962.
- Kurz, 1955 — Evangeliiář Assemanův: Kodex Vatikánský 3. slovanský, díl II. Vydal *Josef Kurz*. Praha, 1955.
- Lambton, 1953 — *Ann K. S. Lambton*. Persian Grammar. Cambridge, 1953.
- Lawrence, 1971 — *D. H. Lawrence*. Women in Love. London, 1971.
- Layton, I–II — Nag Hammadi Codex II, 2–7, together with XIII, 2*, BRIT. LIB. OR. 4926 (1), and P.OXY. 1, 654, 655. With contributions by many scholars ed. by *Bentley Layton*, vols I–II. Leiden — New York — København — Köln, 1989 (= «Nag Hammadi Studies», vol. XX).
- Lazzarini, 1976 — *Maria Letizia Lazzarini*. Le formule delle dediche votive nella Grecia arcaica. Roma, 1976 (= «Atti della Accade-

- mia nazionale dei Lincei». Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie VIII — vol. XIX, fasc. 2).
- Leach, 1976 — *Edmund Leach*. Culture and Communication: The Logic by Which Symbols are Connected. The introduction to the use of structuralist analysis in social anthropology. Cambridge, [1976].
- Lecoq, 1974 — *Anne-Marie Lecoq*. L'art de la signature: Cadre et rebord. — «Revue de l'art», № 26, 1974 (p. 15–20).
- Levin, 1964 — *Samuel R. Levin*. Poetry and Grammaticalness. — In: «Proceedings of the Ninth International Congress of Linguists (Cambridge Mass., August 27–31, 1962)». Ed. by Horace G. Lunt. The Hague, 1964 (p. 308–315).
- Littré, I–VII — *Émile Littré*. Dictionnaire de la langue française, t. I–VII. S. l., 1956–1958.
- Liudprandus, 1998 — *Liudprandi Cremonensis* Antapodosis, Homelia Paschalis, Historia Ottonis, Relatio de legatione Constantinopolitana. Cura et studio P. Chiesa. Turnhout, 1998 (= «Corpus christianorum, continuatio mediaevalis», CLV).
- Lorenz, 1973 — *Konrad Lorenz*. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. [München, 1973]. Рус. перевод: Лоренц, 1998а.
- Lorenz, 1977 — *Konrad Lorenz*. Die Rückseite des Spiegels: Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens. [München, 1977]. Рус. перевод: Лоренц, 1998.
- Louw & Nida, I–II — Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains. Ed. by *Johannes P. Louw* and *Eugene A. Nida*. 2nd ed., vols I–II. New York, [1989].
- Lyons, 1969 — *John Lyons*. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, 1969.
- Maley, 1972 — *Catherine A. Maley*. Historically Speaking, *Tu* or *Vous*? — «The French Review», vol. XLV, 1972, № 5 (p. 999–1006).
- Maley, 1974 — *Catherine A. Maley*. The Pronouns of Address in Modern Standard French. S. l., 1974 (= «Romance monographs», № 10).
- Malinowski, I–II — *Bronislaw Malinowski*. Coral Gardens and Their Magic, vols I–II. London, 1935.
- Malinowski, 1930 — *Bronislaw Malinowski*. The Problem of Meaning in Primitive Languages. — In: Ogden & Richards, 1930 (p. 296–336).

- Manson, 1947 — *W. Manson*. The ΕΓΩ EIMI of the Messianic Presence in the New Testament. — «Journal of Theological Studies», vol. XLVIII, 1947, № 191–192 (p. 137–145).
- Marouzeau, 1935 — *J. Marouzeau*. Traité de stylistique appliquée au latin. Paris, 1935 (= «Collections d'études latines», série scientifique, XII).
- Martial, I–III — *Martial*. Epigrams. Ed. and translation by D. R. Shackleton Bailey, vols I–III. Cambridge, Mass. — London, 1993 («The Loeb Classical Library»).
- Matthew, 1998 — *Louisa C. Matthew*. The Painter's Presence: Signatures in Venetian Renaissance Pictures. — «The Art Bulletin», vol. LXXX, 1998, № 4 (p. 616–648).
- Meyer-Lübke, I–IV — *Wilhelm Meyer-Lübke*. Grammatik der Romanischen Sprachen, Bde I–IV. Leipzig, 1890–1902. Т. IV содержит указатель («Register») к т. I–III.
- Michaux, 1927/1966 — *Henri Michaux*. Qui je fus. Paris, 1927. Цит. по изд.: *Henri Michaux*. L'espace du dedans: pages choisies (1927–1959). Nouv. éd. revue et augmentée. [Paris, 1966] (p. 7–19).
- Minucius Felix, 1992 — *M. Minuci Felicis Octavius*. Edidit Bernhard Kytzler. Stutgardiae et Lipsiae, 1992.
- Molière, I–III — *Molière*. Œuvres complètes. Nouv. éd. accompagnée de notes tirées de tous les commentateurs avec les remarques nouvelles par Félix Lemaistre. Paris, s. a.
- Mommsen, 1882 — *Th. Mommsen*. Die Inschrift von Hissarlik und die römische Sammherrschaft in ihrem titularen Ausdruck. — «Hermes», Bd XVII, 1882 (S. 523–544).
- Morpurgo-Davies, 1968 — *Anna Morpurgo-Davies*. Article and Demonstrative: A Note. — «Glotta: Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache», Bd XLVI, 1968 (S. 76–85).
- Moszyński, I–II — *Kazimierz Moszyński*. Kultura ludowa słowian, t. I–II. Warszawa, 1967–1968 (t. I. Kultura materialna, 1967; t. II. Kultura duchowa, 1967–1968).
- Muller, 1914 — *Henri F. Muller*. The Use of the Plural of Reverence in the Letters of Pope Gregory I (590–604). — «The Romanic review», vol. V, 1914, № 1 (p. 68–89).

- Myerhoff, 1974 — *Barbara G. Myerhoff*. *Peyote Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians*. Ithaca, 1974.
- Myerhoff, 1978 — *Barbara G. Myerhoff*. *Return to Wirikuta: Ritual Reversal and Symbolic Continuity on the Peyote Hunt of the Huichol Indians*. — In: «The Reversible World: Symbolic Inversion in Art and Society». Ed. and with an introd. by Barbara A. Babcock. Ithaca – London, [1978] (p. 225–238).
- Nash, 1997 — *Léa Nash*. *La partition personnelle dans les langues ergatives*. — In: «Les pronoms: morphologie, syntaxe et typologie». Textes réunis et présentés par Anne Zribi-Hertz. [Paris, 1997] (p. 129–149).
- New Engl. Dict., I–X — *A New English Dictionary on Historical Principles*. Founded mainly on the materials collected by the Philological Society. Ed. by James A. H. Murray, vols I–X. Oxford, 1888–1928. Доп. том: Introduction, Supplement, and Bibliography. Oxford, 1933.
- New Jerusalem Bible, 1985 — *The New Jerusalem Bible*. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland, [1985].
- Niemcewicz, I–III — *J.-U. Niemcewicz*. *Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego, itd., t. I–III*. Kraków, 1860.
- Nouveau Testament, 1560 — *Le Nouveau Testament, c'est a dire La Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ*. Revue de nouveau et corrigé sur le Grec par l'avis des ministres de Geneve. [Geneve], 1560. Протестантское изд.
- Nouveau Testament, 1569 — *Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus Christ, in francoys, selon la version commune*. Par M. René Benoist, Anevin, Docteur regent en la Faculté de Theologie de Paris. A Paris, 1569.
- Nouveau Testament, 1592 — *Le Nouveau Testament, c'est a dire, La Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ*. Geneve, 1592. Протестантское изд.
- Nouveau Testament, 1594 — *Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus Christ, François et Alleman*. *Das Neuwe Testament unsers Herrer Iesu Christi, Französisch und Teutsch*. Paris, 1594.

- Nouveau Testament, 1605 — Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus Christ. Avec l'approbation des Docteurs de la Faculté de Theologie de Paris, et de Louvain. A Rouen, 1605.
- Nouveau Testament, 1660 — Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus-Christ, de la traduction de Michel de Marolles, abbé de Villeloin. Quatriesme ed. A Paris, 1660.
- Nouveau Testament, 1664 — Le Nouveau Testament, c'est à dire la Nouvelle Alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ. Se vend à Charenton, par Antoine Cellier, demeurant à Paris, ruë de la Harpe, à l'Imprimerie des Roziers, 1664. Протестантское изд.
- Nouveau Testament, 1667, I–II — Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus Christ. Traduit en François Selon l'Edition Vulgate, avec les differences du Grec, [t. I–II]. A Mons. Chez Gaspard Migeot en la ruë de la Chaussée à l'enseigne des trois Vertus, 1667. T. I (не имеющий отдельного названия): [Evangiles, Les Actes des Apostres], т. II: Les epistres de s. Paul, Les epistres canoniques, L'Apocalypse. A Paris, 1667. Переводчик — Isaac Lemaistre de Sacy.
- Nouveau Testament, 1678 — Le Nouveau Testament de Nostre-Seigneur Iesus-Christ. Traduit sur l'ancienne Edition Latine, corrigée par le commandement du Pape Sixte V, et publiée par l'autorité du Pape Clement VIII. Nouvelle Edition revûë et corrigée par P. D. Amelote Prestre de l'Oratoire, Docteur en Theologie. A Paris, 1678.
- Nouveau Testament, 1710 — Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Iesus Christ. Traduit en François Selon l'Edition Vulgate, avec les differences du Grec. Nouvelle Edition, revuë & exactement corrigée. A Mons. Chez Caspar Migeot à l'enseigne des trois Vertus, 1710.
- Нуроп, I–VI — *Kr. Nурop*. Grammaire historique de la langue française, t. I⁴–VI. Copenhague, 1913–1930.
- Ogden & Richards, 1930 — *C. K. Ogden and I. A. Richards. The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism*. 3rd ed., rev. London, 1930.
- Opere burlesche, I–III — Dell'opere burlesche del Berni, del Molza, del Bino, del Martelli, del Franzesi, dell'Aretino e d'altri Autori, libro I–III. In Usecht al Reno [= Roma], 1771.

- Opitz, I–II — Athanasius Werke. Hrsg. im Auftrage der Kirchenväter-Kommission der Preussischen Akademie der Wissenschaften von *Hans-Georg Opitz*, Bd III, Teil 1 (Urkunden zur Geschichte des Arianischen Streites 318–328), Lfg. 1–2. Berlin und Leipzig, 1934–1935. Репринт: Berlin – New York, 2000.
- Ox. Dict., I–XX — The Oxford English Dictionary. 2nd ed. prep. by J. A. Simpson and E. S. C. Weiner, vols I–XX. Oxford, 1989.
- Panofsky, I–II — *Erwin Panofsky*. Early Netherlandish Painting: Its Origin and Character, vols I–II. New York – San Francisco, [1953].
- Partridge, 1950 — *Eric Partridge*. The Nonsense Words of Edward Lear and Lewis Carroll. — In: *Eric Partridge*. Here, There and Everywhere: Essays Upon Language. 2nd ed., rev. London, 1950 (p. 162–188).
- Pascal, 1963 — *Pascal*. Œuvres complètes. Préf. d'Henri Gouhier, présentation et notes de Louis Lafuma. Paris, [1963].
- Paulhan, 1966 — *Jean Paulhan*. Traité des figures ou La rhétorique décryptée. — In: *Jean Paulhan*. Œuvres complètes, t. II (Langage I: La marque des lettres (...)). Paris, 1966 (p. 197–237).
- Petròcchi, I–II — Nòvo Dizionario Universale della Lingua Italiana. Compilato da *P. Petròcchi*, vol. I–II. Milano, 1906.
- PG, I–CLXI — Patrologiae cursus completus. Accurante J.-P. Migne. Series graeca, t. I–CLXI. Paris, 1857–1866.
- Pierre de St. Julien, 1589 — *Pierre de St. Julien* [= *Pierre Viel*]. Mélanges Historiques. À Lyon, 1589. Это изд. (о котором мы знаем по упоминанию в кн.: Vernet, 1752, с. 17) оказалось нам недоступно и, по-видимому, не сохранилось.
- Pirson, 1901 — *Jules Pirson*. La langue des inscriptions latines de la Gaule. Bruxelles, 1901 (= «Université de Liège, bibliothèque de la faculté de philosophie et lettres», 11). Репринт: Bruxelles, 1967.
- Pisani 1953 — *Vittore Pisani*. Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft. Indogermanistik — In: *Vittore Pisani*. Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft. Indogermanistik. *Julius Pokorny*. Keltologie. Bern, 1953 (= «Wissenschaftliche Forschungsberichte». Geisteswissenschaftliche Reihe, Bd 2).

- PL, I–CCXXI — Patrologiae cursus completus. Accurante J.-P. Migne. Series latina, t. I–CCXXI. Paris, 1844–1865.
- Plautus, I–V — Plautus with an English translation by Paul Nixon in five volumes, vols I–V. London – Cambridge, Mass., 1950–1952 («The Loeb Classical Library»).
- Pleteršnik, I–II — Slovensko-nemški slovar. Uredil *M. Pleteršnik*, del I–II. V Ljubljani, 1894–1895.
- Plutarch, I–XVI — *Plutarch*. Moralia in sixteen volumes, I–XVI. London – Cambridge Mass., 1962–1976 («The Loeb Classical Library»).
- Porphyrio, 1874 — Pomponii Porphyrii Commentarii in Q. Horatium Flaccum. Recensuit Gulielmus Meyer. Lipsiae, 1874 («Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana»). Репринт: [S. l.], Nabu Press, 2010.
- Puech, 1959 — *Henri-Charles Puech*. Gnostische Evangelien und verwandte Dokumente. — In: *Edgar Hennecke*. Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung. 3., völlig neubearbeitete Aufl. hrsg. von Wilhelm Schneemelcher, Bd I (Evangelien). Tübingen, 1959 (S. 158–271). Пер. с франц. оригинала.
- Puech, 1963 — *Henri-Charles Puech*. Gnostic Gospels and Related Documents. — In: *Edgar Hennecke*. New Testament Apocrypha. Ed. by Wilhelm Schneemelcher. English Translation ed. by R. McL. Wilson, vol. I (Gospels and Related Documents). Philadelphia, 1963 (p. 231–362). Пер. с франц. оригинала, сверенный с нем. изд.: Puech, 1959.
- Puech, 1973 — *Henri-Charles Puech*. Gnosis and Time. — In: «Man and Time: Papers from the Eranos Yearbook». New York, 1973 (= «Bollingen series», XXX. Papers from the Eranos Yearbooks, vol. 3).
- Putnam, 1961 — *Hilary Putnam*. Some Issues in the Theory of Grammar. — «Structure of Language and its Mathematical Aspects» (= «Proceedings of the Twelfth Symposium in Applied Mathematics Held in New York City, April 14–5, 1960»). Ed. by Roman Jakobson. Providence, 1961 (p. 25–42). Рус. перевод: Путнам, 1965.
- Radhakrishnan, 1953 — The Principal Upaniṣads. Ed. with introd., text, translation and notes by *S. Radhakrishnan*. London, [1953].

- Reider, 1914 — *Joseph Reider*. Prolegomena to a Greek-Hebrew and Hebrew-Greek Index to Aquila. — «The Jewish Quarterly Review», N. s., vol. IV, 1914, № 3 (p. 321–356). См. продолжение той же работы там же, N. s., vol. IV, 1914, № 4 (p. 577–620); N. s., vol. VII, 1917, № 3 (p. 287–364).
- Reisel, 1957 — *M. Reisel*. The Mysterious Name of Y.H.W.H.: The Tetragrammaton in connection with the names of Ehyeh ašer Ehyeh — Hühā — and Šem Hamm^ephôraš. Assen, 1957 (= «Studia Semitica Neerlandica», 2).
- Revelation, 1975 — Revelation. Introd., translation and commentary by J. Massyngberde Ford. New York – London – Toronto – Sydney – Auckland, [1975] (= «The Anchor Bible», vol. 38).
- Revelation, 1998 — *David E. Aune*. Revelation 6–16. Nashville, [1998] (= «Word Biblical Commentary», vol. 52B).
- Ricci, 1635 — *Giovanni Giacomo Ricci*. Diporti di Parnaso rime e prose di Gio. Giacomo Ricci divise con sette libri in caccie diverse, caccie heroiche, uccellagioni, pescaggioni, combattimenti, givocchi e vegghe. Roma, 1635.
- Rimbaud, 1946 — *Arthur Rimbaud*. Œuvres complètes. Texte établi et annoté par André Rolland de Renéville et Jules Mouquet. [Paris, 1946].
- Rimbaud, 1975 — *Arthur Rimbaud*. Lettres du voyant (13 et 15 mai 1871) éd. et comment. par Gérald Schaeffer. Le Voyance avant Rimbaud par Marc Eigeldinger. Genève – Paris, 1975.
- Robert, 1917 — *C.-M. Robert*. Études d’idiome et de syntaxe. Groningue, 1917.
- Rumi, I–VIII — The Mathnawí of *Jalálu ’ddín Rûmí*. Ed. from the oldest manuscripts available: with critical notes, translation & commentary by Reynold A. Nicholson, vols I–VIII. London – Leiden, 1925–1940. Репринт: Lahore, 1989.
- Russel, 1940 — *Bertrand Russel*. An Inquiry into Meaning and Truth. London, 1940.
- Sacchi, 2001 — *Oswaldo Sacchi*. Il “Tri-vaso del Quirinale”: Implicazioni giuridico-culturali legate alla destinazione/fruizione dell’oggetto. — «Revue internationale des droits de l’antiquité», t. 48, 2001, № 3 (p. 277–344).

- Sadnik, I–IV — Des Hl. Johannes von Damascus Ἐκθεσις ἀκριβῆς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως in der Übersetzung des Exarchen Johannes. Hrsg. von Linda Sadnik, Bd [I]–IV. Wiesbaden — Freiburg im Breisgau, 1967–1983 (= «Monumenta linguae slavicae dialecti veteris: Fontes et Dissertationes», Tom V, XIV, XVI, XVII).
- Saenger, 1982 — *Paul Saenger*. Silent Reading: Its Impact on Late Medieval Script and Society. — «Viator: Medieval and Renaissance Studies», vol. XIII. Los Angeles, 1982 (p. 367–414).
- Saenger, 1997 — *Paul Saenger*. Space between Words: The Origins of Silent Reading. Stanford, 1997.
- Salimbene, I–II — *Salimbene de Adam*. Cronica. Nuova ed. critica a cura di Giuseppe Scalia, vol. I–II. Bari, 1966 (= «Scrittori d'Italia», № 232–233). Рус. перевод: Салимбене, 2004.
- Sapir, 1929 — *Edward Sapir*. Nootka baby words. — «International Journal of American Linguistics», vol. V, 1929 (p. 118–119). Переиздано: *Edward Sapir*. Collected Works, vol. VI. American Indian Languages, pt. 2. Ed. by Victor Golla. Berlin — New York, 1991 (p. 465–466).
- Sasse, 1889 — *J. Sasse*. De numero plurali qui vocatur maiestatis. Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Lipsiensi rite impetrandos scripsit Josephus Sasse Attendornensis. Lipsiae, 1889.
- Schild, 1954 — *E. Schild*. On Exodus iii 14 — “I AM THAT I AM”. — «Vetus Testamentum», vol. IV, 1954, № 3 (p. 296–302).
- Schliebitz, 1886 — *Victor Schliebitz*. Die Person der Anrede in der französischen Sprache. Breslau, 1886. Это изд. оказалось нам недоступно.
- Schmid, 1923 — *Wilhelm Schmid*. Pluralis maiestatis. — «Philologische Wochenschrift», Jhrg 43, 19 Mai 1923, № 20 (col. 478–480).
- Schwyzler, I–II — *Eduard Schwyzler*. Griechische Grammatik auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechische Grammatik, Bde I–II. München, 1939–1950 (= «Handbuch der Altertumswissenschaft», Abteil. 2, Teil 1, Bde 1–2). [Bd II: Syntax und syntaktische Stilistik. Vervollständigt und hrsg. von Albert Debrunner].
- Sévigné, I–III — *Marie de Rabutin-Chantal, comtesse de Sévigné*. Correspondance. Éd. de R. Duchêne, t. I–III. Paris, 1972–1978 («Bibliothèque de la Pléiade»).

- Shannon, 1951 — *Claude E. Shannon*. The Redundancy of English. — In: «Cybernetics — Circular, Causal and Feedback Mechanisms in Biological and Social Systems: Transactions of the Seventh Conference (March 23–24, 1950, New York, N. Y.)». Ed. by Heinz von Foerster. New York, 1951 (p. 123–158).
- Shorter, 1956 — *Michael Shorter*. Meaning and Grammar. — «The Australasian Journal of Philosophy», vol. XXXIV, 1956, № 2 (p. 73–91).
- Simonini, 1978 — *Augusto Simonini*. Il linguaggio di Mussolini. Milano, 1978.
- Śl. staropolsk., I–X — Słownik staropolski, t. I–X. Warszawa — Wrocław — Kraków, 1953–1993.
- Sloty, 1926 — *Friedrich Sloty*. Der soziative und der affektische Plural in der ersten Person im Lateinischen. — «Indogermanische Forschungen», Bd XLIV, 1926 (S. 264–305).
- Sloty, 1928 — *Friedrich Sloty*. Der soziative und der affektische Gebrauch des Plurals der ersten Person und das Subjektspronomen im Lateinischen. — «Glotta: Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache», Bd XVI, 1928 (S. 253–274).
- Sommerfelt, 1938 — *Alf Sommerfelt*. La langue et la société: Caractères sociaux d'une langue de type archaïque. Oslo, 1938 (= «Instituttet for sammelnende kulturforskning». Serie A: Forelesninger, [t.] XVIII).
- Stcherbatsky, I–II — *Th. Stcherbatsky*. Buddhist Logic, vols I–II. Leningrad, 1930–1932 (= «Bibliotheca Buddhica», XXVI).
- Stevenson, I–XXX — The works of *Robert Louis Stevenson*. Skerryvore edition, vol. I–XXX. London, 1924–1926.
- Stidston, 1917 — *Russel Osborne Stidston*. The Use of *ye* and the Function of *thou* in Middle English Literature from MS Auchinleck to MS Vernon: a Study of Grammar and Social Intercourse in Fourteenth-Century England. Stanford, 1917.
- Sutherland, 1970 — *Eric Sutherland*. Language and Lewis Carroll. The Hague — Paris, 1970 (= «Janua linguarum». Series major, XXVI).
- Svennung, 1958 — *J. Svennung*. Anredeformen: Vergleichende Forschungen zur indirekten Anrede in der dritten Person und zum Nominativ für den Vokativ. Uppsala — Wiesbaden, [1958] (= «Skrifter utgivna av K. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala», 42).

- Tempestini, 1992 — *Anchise Tempestini*. Giovanni Bellini: Catalogo completo dei dipinti. [Firenze, 1992].
- Thesaurus, I–X — Thesaurus linguae latinae editus iussu et auctoritate consilii ab academiis societatisque diversarum nationum electi, t. I–X. Leipzig, 1900–2003. Изд. продолжается.
- Thomas Aquinas, I–V — *S. Thomas de Aquino Ordinis Praedicatorum*. Summa theologiae. Cura et studio Instituti Studiorum Medie-
valium Ottaviensis, t. I–V. Ottawa, 1941.
- Thomson, 1998 — *Francis J. Thomson*. The Slavonic Translation of the Old Testament. — «Interpretation of the Bible / Interpretation der Bibel/Interprétation de la Bible/Interpretacija Svetega pisma». Ljubljana – Sheffield, 1998 (p. 605–920).
- Thorpe, 1958 — *W. H. Thorpe*. The Learning of Song Patterns by Birds, with Especial Reference to the Song of the Chaffinch *Fringilla coelebs*. — «Ibis», vol. C, 1958 (p. 535–570).
- Thorpe, 1961 — *W. H. Thorpe*. Bird-Song: The Biology of Vocal Communication and Expression in Birds. Cambridge, 1961 (= «Cambridge Monographs in Experimental Biology», 12).
- Thorpe, 1965 — *W. H. Thorpe*. Science, Man and Morals. Based upon the Fremantle lectures delivered in Balliol College, Oxford, Trinity term 1963. London, [1965].
- Tirso de Molina, I–III — *Tirso de Molina (fray Gabriel Téllez)*. Obras dramáticas completas. Edición crítica por Blanca de los Ríos, t. I–III. [Madrid, 1962–1969].
- Tolomei, 1557 — Delle lettere di M. Claudio Tolomei libri sette. Con nuova aggiunta ristampate et con somma diligenza ricorrette. In Vinegia [= Venetia], 1557.
- Unbegaun, 1939 — *B. Unbegaun*. Un point d’histoire de la politesse russe: tutoiement et vousoiement. — «Mélanges en honneur de Jules Legras». Paris, 1939 (p. 269–274) (= «Travaux publiés par l’Institut d’études slaves», XIX).
- Urizzi, 2004 — *Paolo Urizzi*. I fattori della sintesi trascendente. — In: Ibn ‘Arabî, 2004 (p. 7–43).
- Uspensky & Zhivov, 1977 — *B. A. Uspensky and V. M. Zhivov*. Center-Periphery Opposition and Language Universals. — «Linguistics», № 196, 1977 (p. 5–24). Ср.: Живов и Успенский, 1986/1997.

- Vernet, 1752 — *Jacob Vernet*. Lettres sur la coutume moderne d'employer le *Vous* au lieu du *Tu*; et sur cette question: Doit-on bannir le *Tuteyement* de nos Versions, particulièrement de celles de la Bible? A La Haye, 1752.
- Vocabolario della Crusca, I–XI — Vocabolario degli Accademici della Crusca. 5 impressione, vol. I–XI. In Firenze, 1863–1914.
- Vroon, 1983 — *Ronald Vroon*. Velemir Xlebnikov's Shorter Poems: A Key to the Coinages. Ann Arbor, [1983] (= «Michigan Slavic Materials», № 22).
- Vroon, 1993 — *Ronald Vroon*. Velemir Khlebnikov's "Kuznechik" and the Art of Verbal Duplicity. — In: «Readings in Russian Modernism: To Honor Vladimir Fedorovich Markov». Ed. by Ronald Vroon and John E. Malmstad. Moscow, 1993 (= «University of California, Los Angeles. Slavic Studies», N. s., vol. I).
- Wackernagel, I–II — *Jacob Wackernagel*. Vorlesungen über Syntax mit besonderer Berücksichtigung von Griechisch, Lateinisch und Deutsch, Reihe I–II. 2te Aufl. Basel, [1926]–1928. Репринт: Basel, 1950–1957.
- Wackernagel, 1892 — *Jacob Wackernagel*. Über die Gesetz der indogermanischen Wortstellung. — «Indogermanische Forschungen», Bd I, 1892 (S. 333–436). Переизд. с сохранением пагинации: *Jacob Wackernagel*. Kleine Schriften, I Halbband. Göttingen, s. a.
- Waltz, 1926 — *R. Waltz*. *Ego et nos*. — «Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes», N. s., t. L, 1926 (p. 219–237).
- Wartburg, 1943 — *Walther von Wartburg*. Einführung in die Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Halle (Saale), 1943.
- Wetter, 1915 — *G. P. Wetter*. "Ich bin es": Eine johanneische Formel. — «Theologische Studien und Kritiken», Bd 88, 1915, Hft 2 (S. 224–238).
- Wevers, 1972 — *J. Wevers*. A Note on Scribal Error. — «Canadian Journal of Linguistics», vol. XVII, 1972 (p. 185–190).
- Williams, 2000 — *Catrin H. Williams*. I am He: The Interpretation of "Anî Hû" in Jewish and Early Christian Literature. [Tübingen, 2000] (= «Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament», 2. Reihe, 113).

- Yaguello, 1981 — *Marina Yaguello*. Alice au pays du langage: Pour comprendre la linguistique. Paris, 1981. Рус. перевод: Ягелло, 2003.
- Zguta, 1978 — *Russell Zguta*. Russian Minstrels: A History of the *Skomorokhi*. Oxford, [1978].
- Zickendraht, 1922 — *Karl Zickendraht*. ΕΓΩ ΕΙΜΙ. — «Theologische Studien und Kritiken», Bd 94, 1922, Hfte 1–2 (S. 162–168).
- Zimmermann, 1960 — *Heinrich Zimmermann*. Das absolute Ἐγώ εἰμι als die neutestamentliche Offenbarungsformel. — «Biblische Zeitschrift», N. F., Jhrg 4, 1960, Hft 1 (S. 54–69) – 2 (S. 266–276).
- Zimmermann, 1960a — *Heinrich Zimmermann*. Das absolute “Ich bin” in der Redeweise Jesu. — «Trierer theologische Zeitschrift», Jhrg 69, 1960, Hft 1 (S. 1–20).

Сокращения: наименования учреждений

АН — Академия наук

БАН — Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)

ГБЛ — Российская государственная библиотека (бывшая Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина) (Москва)

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)

ГПБ — Российская национальная библиотека (бывшая Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) (Санкт-Петербург)

ЦГАЛИ — Российский государственный архив древних актов (бывший Центральный государственный архив древних актов) (Москва)

- Абстрактное — значение при наименовании, см.: *Гонорифическая замена местоимения при обращении: замена местоимения 1-го лица ед. числа; 2-го лица ед. числа*. Абстрактное мышление, см.: *Мышление*. Абстрактная ситуация, см.: *Ситуация*
- Абсурд — абсурдная ситуация 190–194; абсурдный (бессмысленный) текст 138, 154–157, 180–191
- Автокоммуникация 10, 42, 43, 55–56 (5), 113, 135–137, 171 (57)
- Аграмматизм, см.: *Аномальность грамматическая*
- Адресант, см.: *Коммуникант*
- Адресат, см.: *Коммуникант*
- Азбука толковая 1462 г. 63 (30)
- Акилы перевод библии 17, 64 (34)
- Активное и пассивное владение языком 49, 125, 127, 131, 134, 165–166 (38), 240; активное и пассивное понимание 240
- Анаколуф 236
- Анафора 13, 60 (19). Анафорическое употребление местоимения 39, 139
- Аналогия в процессе понимания 126, 240
- Анимизм 40, 100–101 (151), 179 (144)
- Аномальность — грамматическая 41, 67 (40), 144, 238–239; лексическая 199–226; семантическая 229, 236–239; фонетическая 157 (2), 163 (29)
- Анти-поведение 193–199. Речевое анти-поведение 193, 195–199. Обучение анти-поведению 197–199
- Антонимы 196, 246 (56)
- Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова), см.: *Библия*

*Цифры в скобках отсылают к номерам примечаний, остальные цифры обозначают номера страниц.

Апокрифы. Евангелия апокрифические — от Фомы 65 (37), Евы 40, 89 (132). Апокрифический перечень имен Бога 60 (21)
Апперцепция 10, 130
Арго, см.: *Условный язык*
Архаизмы 216
Ассеманиево евангелие (старославянское) 173 (79)
Ассоциации — орфографические 254 (123); фонетические 201–202, 213–220, 224, 229–235, 252 (113), 255 (125, 126, 128), 256 (132, 136)
Атман 43, 45, 102 (161)
Афазия 47–48

Бессмысленный текст, см.: Абсурд

Библия 16–17, 44–45, 62 (27), 67 (42, 45), 68 (45, 46, 48), 69 (48), 105 (174, 175), 143–144, 239. См. также: *Акилы перевод библии; Вульгата; Иерусалимская библия; Короля Иакова библия; Кутногорская библия; Пешитта; Септуагинта; Славянская (церковнославянская) библия; Таргум самаритянский; Феодотиона перевод библии; Католики и протестанты: католические и протестантские переводы библии*
Бог 42–47. Его имя 16–18, 35, 42–43, 62 (27, 28), 65 (37), 66 (39), 67 (40), 103–104 (166), 105 (175), 173 (80), его самоопределение 17–18, 45, 63 (30), 68–69 (48), 105 (174). Бог как наименователь 16, как абсолютный субъект 16, 43, абсолютность его существования 16, 43, 65 (37). Представление о Боге 47

Божба, см.: *Клятва*

Буддийская теория познания 54 (3), 56 (7), 98–99 (144)

Буквы — прописная 30, 95 (130), сакральная 66 (39). См. также: Э обратное 66 (39)

Ватиканский собор второй 1962–1965 гг. 83 (99)

Вежливая речь, см.: *Этикет речевой*

Венчание 97 (138)

Вера 47, 98 (141), 100 (149)

Ветхий Завет, см.: *Библия*

Вид (грамматический) 46–47, 95 (128)
Видение, галлюцинация 34, 99–100 (149), 244–245 (37)
Византийский придворный обычай 31, 57 (10), 95–96 (134)
Визг 170 (50)
Визуальная коммуникация 19
Виртуальная реальность, см.: *Реальность*
Внутренняя речь 136
Вопросительное наклонение 82 (98)
Восприятие — вкуса 11, цвета 11–12, 56–57 (10), 187–188, 243 (25, 26, 27, 28), 244 (28, 31). Координация восприятия 9–12. Обьективизация восприятия 56 (6). Воспринимающий субъект и объект восприятия 35–42, 99 (148). См. также: *Субъективное восприятие*; *Чувственное восприятие*
Время 36, 39, 46–47, 58 (14), 106 (176, 177), 112, 122. Время коммуникационного акта, см.: *Пространственно-временные координаты...* Пространства и времени различие 46–47, 106 (176). Существование во времени, см.: *Существование*; *Прошлое*
Время грамматическое 14, 45–47, 60–61 (20), 73–74 (61), 106 (177). Согласование времен 60 (20), 144. Настоящее в прошедшем 60 (20). Прошедшее в будущем 61 (20). Настоящее в будущем 61 (20). См. также: *Плюсквамперфект*
Врожденные навыки 131–133, 166–167 (40), 168 (45), 169 (45, 46)
Вульгата 16, 62 (29), 65 (37), 67 (40), 104 (169), 105 (174, 175), 143
Высказывание 106 (177)

Гebraизмы, см.: *Славянская (церковнославянская) библия: еврейское влияние...*
Генетический код, см.: *Врожденные навыки*
Геннадиевская библия 1499 г. 62–63 (29), 64 (36), 67 (42)
Геральдика 57 (10)
Гипноз 100 (150)
Глагол 14–15, 18, 47, 130. Противопоставление имени и глагола 46–47, 106 (177). Глагол бытийный (глагол существования) 17, 45, 104 (168–170), 105 (170, 172). Глагол перформативный 52. См. также: *Связка глагольная*

Гностики 41, 101 (156)

Говорящий, см.: *Коммуникант*

Гонорифическая замена местоимения при обращении. Замена местоимения 1-го лица ед. числа — на местоимение 3-го лица ед. числа 24; на слово с уничижительным значением 23–25, 81 (97), 87 (104); на описательный оборот с абстрактным значением 23–24, 73 (60), 74 (64), 87 (104). Замена местоимения 2-го лица ед. числа — на местоимение 2-го лица мн. числа 24–28, 75 (70, 71), 76 (71, 72, 73), 82–84 (99), 86–87 (103); на местоимение 3-го лица ед. числа 24, 26–27, 76 (73); на местоимение 3-го лица мн. числа 25–27, 80 (93), 81 (96); на слово, выражающее превосходство, могущество, старшинство 23–27, 74 (62), 78 (83, 84, 85); на описательный оборот с абстрактным значением 23–25, 75 (71), 76 (71, 73), 78 (87), 79 (87, 88, 90, 91), 80 (91, 92, 93)

Грамматическая аномальность, см.: *Аномальность грамматическая*

Грамматическая правильность 199, 236–239, 240 (6). Грамматическая правильность как условие коммуникации 239–240

Грамматическая традиция — западная 71 (56); античная 162 (26); арабская 64 (31), 71–72 (56), 93 (127); индийская 61 (22), 104 (167). Протесты против изучения грамматики 106 (178)

Грамматические категории, см.: *Время; Вид; Лицо; Число; Падеж; Род*. Ср. также: *Имя; Глагол; Согласование; Индивидуализация*

Греческая библия, см.: *Акилы перевод библии; Септуагинта; Феодотиона перевод библии*

Гуление, см.: *Лепет...*

Дейксис 12–14, 18–19, 38, 41, 52, 60–61 (20), 68 (48), 69 (52), 99 (148), 109 (188), 116, 123. Дейксис в лексике 61 (24). Дейксис первичный 13, 59 (18), 60 (19, 20), 61 (20), вторичный 13, 59 (18), 60 (19, 20), 61 (20), 174 (87). Чувствительность к дейксису 96 (135), 176 (129). Дейктическая конгруэнтность 97 (136). Дейктическая референция, см.: *Перспектива*

Дейктическое слово, см.: *Дейксис*
Действительность, см.: *Реальность*
Денотат 9–10, 15, 18, 51–53, 54 (2), 58 (12, 15), 111, 116, 126. См.
также: *Референция*
Дети, их уподобление животным 208
Детская речь 44, 47–50, 55 (5), 71 (55), 103 (164), 107 (183), 164–165
(34), 203, 266 (197)
Детские слова (слова, употребляемые взрослыми при разговоре
с детьми) 82 (99), 128–129, 162 (27, 28), 163 (28, 29, 31), 164
(33), 201, 203
Диалог 19, 21, 28, 33, 38, 49, 113, 115–116, 118–123, 125, 135, см.
также: *Коммуникант; Коммуникативная роль*
Дискурс актуальный, потенциальный 18
Дистанция социальная между говорящим и слушающим 74–75
(65), 81–82 (98). См. также: *Этикет речевой*

Евангелия — канонические, см.: *Библия*; апокрифические, см.: *Апо-
крифы*
Елизаветинская библия 1751 г. 16, 67 (42, 45), 68 (45), 105 (174,
175), 173 (79)

Жестикуляция 11, 28, 31, 55 (5), 96–97 (136), 107 (181), 109 (188),
133. См. также: *Поклон*
Живого и мертвого противопоставление при употреблении место-
имений 34, 141
Животные, общение с ними 98 (140). См. также: *Обращение: к жи-
вотному; Имя собственное: имена животных; Животных
коммуникация; Подзывные... слова; Подражание: у живот-
ных; Дети, их уподобление...; Зеркало и узнавание...*
Животных коммуникация 131–132, 159 (9), 166–167 (40), 169–
170 (50)
Жидовствующих ересь 16, 63 (29), 66–67 (39)

Загадка 183. Загадка как жанр 200–205, 212
Заклинание 192

- Замещение участника обряда — при пострижении в монахи, при венчании 97 (137, 138)
- Замещенная речь 71 (55)
- Звательная форма 108 (183)
- Звукоподражание 128, 201–202, 224, 250 (105, 106), 260 (149)
- Зеркало и узнавание (у животных) 170 (51)
- Зеркальное письмо 248 (78)
- Знак — языковой 9–11, 110–111, речевой 111. См. также: *Информативный языковой знак*; *Перформативность: перформативный языковой знак*; *Формативный языковой знак*. Индивидуальные знаки 127. Знаки-индексы, см.: *Индекс*
- Знание 98 (141)
- Значение 9–10, 12, 14–15, 50–53, 54 (2), 58 (12), 111–117
- Зографское евангелие (старославянское) 173 (79)
- Игра**, см.: *Нарративный текст, игра в него*; *Шахматная игра...*; *Эвристическая игра в языке*
- Идентификация языковой формы 124, 161 (19)
- Идея у Платона 244 (36)
- Идиоматическое сочетание 111, 178 (137), 179 (137, 138)
- Иерусалимская библия 187
- Изобразительное искусство 69 (52), 176 (124, 125), 232. Ср. *Надписи: на картинах*
- Именная синтагма, см.: *Синтагма*
- Имитация, см.: *Подражание*
- Император, см.: *Монарх*
- Имя (грамматическое) 47, 130. Противопоставление имени и глагола 47, 106 (177)
- Имя собственное 15–19, 30, 33, 44, 47–49, 52, 55 (5), 68 (47), 69 (51), 95 (130), 103 (163), 107 (180), 140–142, 204. Имя Бога 16–18, 35, 42–43, 62 (27, 28), 65 (37), 103–104 (166), 105 (174, 175), 109 (185), 173 (80). Имя мира 44. Имена животных 98 (140). Восприятие своего имени 107 (179), 108–109 (184), 116–118, 141, 172 (70). Имя собственное в детской речи 47–48, 109 (185). Имя при обращении, см.: *Обращение*. Запреты на

употребление имени 81 (96). Имя собственное и местоимение, см.: *Местоимение*. Уменьшительные формы имени 30–31, 95 (131), 87 (104). Сочетание имени с отчеством 30–31
Индекс (знак-индекс) 11, 38, 54 (4), 99 (145)
Индивидуализация грамматическая 87 (108)
Инклюзивное местоимение 20
Иностранный язык — обучение 133–134; восприятие иностранной речи 161 (19), 167 (43), 170 (52)
Интервалы между словами, см.: *Пробелы...*
Интонация 118, 128, 132, 145, 167 (43), 237, 249 (97)
Интровертность 55 (5)
Информативный языковой знак 50–53
Информация 158 (3)
Ирония 141, 181, 240 (7)
Искусственные процессы в языке 171 (59)
Ислам 64 (31)
Испанского монарха подпись 64 (32)
Исповедание веры мусульманское 64 (31)
Исторический процесс как дискурс 121–122

Йом Кипур 17

Кавычки 145, 181–185, 205, 240 (7), 241 (9, 14)
Каламбур 170 (53)
Камнями забрасывание 18, 68 (47)
Катафора 13
Католики и протестанты 83 (99), 83 (99), 86 (102). Католические и протестантские переводы библии 143–144, 173 (83)
Клятва 97–98 (139)
Книгопечатание 159 (10)
Кодирование и декодирование 124–125, 160–161 (18)
Команды военные 26, 45, 158 (6)
Комическая ситуация, комический эффект 190–192, 194, 198–199, 213. Преобразование ситуации в комическом дискурсе 191–192

Коммуникант (адресант и адресат, говорящий и слушающий) 9, 11, 13–15, 18–19, 21–22, 59 (18), 72 (57, 58), 96–97 (136), 98 (142), 110–113, 115–116, 118, 122–126, 135–137, 157 (2), 239. Уникальность говорящего 21, 32, см. также: *Эгоцентризм говорящего*. Ориентация на говорящего, на слушающего, на третье лицо, см.: *Перспектива*. Говорящий в роли слушающего 55–56 (5); слушающий в роли говорящего 125–126, 131, 134. Говорящий потенциальный 18, 22, 39, 59 (16); слушающий потенциальный (имплицированный адресат) 12, 18, 23, 39, 89 (110), 98 (142), 112, 121. Отношения между говорящим и слушающим: их объединение 21, 28–29, 33–36, 49–50, их противопоставление 26, 29–31, 72 (57), 74–75 (65). Совокупность однородная — говорящих 70 (55), слушающих 26. Говорящий как субъект и объект наблюдения 142. См. также: *Социальная позиция*; *Коммуникативная роль*; *Экзистенциальный статус*

Коммуникативная роль 49. Мена коммуникативных ролей 13, 19, 21–22, 35, 102 (159), 115, 121, 125. См. также: *Коммуникант*

Коммуникация 9–15, 34–38, 42–43, 51–53, 106 (177), 110–116, 108–119, 121–124, 127, 130–133, 135–136. Потенциальный участник коммуникации (3-е лицо) 13, 35, 59 (16), 98 (142). Внеязыковая коммуникация людей (с помощью врожденных навыков) 132–133. Коммуникация с детьми, см.: *Разговор с детьми*. Коммуникация животных, см.: *Животных коммуникация*. См. также: *Речевой акт*; *Автокоммуникация*; *Недоразумение*; *Визуальная коммуникация*; *Коммуникант*; *Реальность: презумпция одинаково воспринимаемой реальности...*; *Смысл: презумпция осмысленности...*; *Сигнал...*

Композиция кольцевая 211

Компьютер 34, 135, 150

Конвенция 11–12, 56 (7)

Конверсия 238

Конгруэнтности принцип 142

Контаминация — в языке, см.: *Слова-саквояжи*; в речи, см.: *Сбивчивая речь*

Контекст 115, 119, 126–127, 139–141, 146, 153–155, 158 (8), 161 (22, 23), 174 (87), 181, 183, 185, 189–191, 203–204, 207, 210–211, 212–213, 223–224, 232–235, 238

Конфликты культурные 122

Король, см.: *Монарх*

Короля Иакова библия (Авторизованная версия английской библии) 77 (42), 187

Корректировка смысла 115–116, 121–123, 135–136

Кутногорская библия 1489 г. 62 (28)

Лексикография 11, 116–117, 158 (8)

Лексическая аномальность, см.: *Аномальность лексическая*

Лепет, лепетание, гуление (детское) 127, 162 (25)

Лицо, см.: *Личное местоимение*

Личного и неличного объекта различие 29, 38. См. также: *Животные...*

Личное местоимение 12–15, 18–24, см. также: *Местоимение.*

Местоимение 1-го лица 15–16, 18, 20–24, 44, 47–48, 49–50, 64 (32), 71 (56), 72 (56, 57), 101 (156), 102 (161), 103 (161, 163); 2-го лица 18, 20–24, 47–48, 72 (57, 58), 101 (156); 3-го лица 18, 20–24, 69 (54), 71 (56), 72 (56, 57, 58), 106 (177), 123. Их отношения 22–23, 42–43, 71 (56), 72–73 (59). Уникальность местоимения 1-го лица ед. числа 15–23, 28–29, 72 (58). Особый статус местоимений 1-го и 2-го лица 72 (57, 58). Монополизация местоимения 1-го лица в детской речи 44, 50. Употребление местоимения 1-го лица в функции 2-го лица 107 (183), местоимения 2-го лица в функции 1-го лица 107 (183), местоимения 3-го лица в функции 1-го или 2-го лица 24. Употребление местоимения 1-го лица мн. числа в функции 2-го или 3-го лица 70–71 (55). Употребление местоимения 2-го лица мн. числа в значении 2-го лица ед. числа 25, 82–84 (99), 85 (101, 102), 86 (103). Замена в вежливой речи местоимения 2-го лица ед. числа 23–24; 1-го лица ед. числа 23–24, 81 (97), 87 (104). Замена при разговоре с ребенком местоимения

1-го лица 48, 109 (186), 2-го лица 48, 109 (186). Местоимение 2-го лица ед. числа как маркированная, ненейтральная форма 25, 76 (73), 82–83 (99), 84 (100). Ограничения в воспроизведении текста с местоимением 1-го лица 31–32. Ограничения в употреблении местоимения 3-го лица ед. числа 29, 92 (126), 93 (126, 127); замена на форму мн. числа 29. См. также: *Гонорифическая замена местоимения при обращении*; *Число: множественное число местоимений*

Логика в ее отношении к лингвистике 138, 156–157, 180, 184, 199, 221, 241 (14)

Ложный текст 32, 153, 156, 183, 241 (11)

Магия 34, 159 (9), 193–194

Мариинское евангелие (старославянское) 173 (79)

Масореты 62 (27)

Мать и ребенок — их биологическая связь 131–133; их общение 109 (186), 127–130, 132, 161–162 (24)

Машинный перевод 135

Междометие 104 (169), 157 (2), 163 (29)

Мена ролей между участниками коммуникации, см.: *Коммуникативная роль*

Место коммуникационного акта, см.: *Пространственно-временные координаты...*

Местоимение 12, 14–16, 44, 47–50, 52, 61 (22, 26), 62 (26), 69 (54), 70 (54, 55), 71 (55), 72 (57, 58), 74–75 (65), 96 (135, 136), 97 (136), 101 (156), 103 (163), 106 (177), 109 (188), 123, см. также: *Личное местоимение*; *Притяжательное местоимение*; *Указательное местоимение*; *Инклюзивное местоимение*; *Эксклюзивное местоимение*. Усвоение местоимений 47–50. Местоимение и имя собственное 16, 18, 30, 44, 47–48, 63–64 (31), 95 (130), 139–143. См. также: *Анафорическое употребление...*; *Гонорифическая замена местоимения...*; *Живого и мертвого противопоставление...*, *Присутствующего и отсут-*

ствующего противопоставление...; Число: множественное число местоимений

Метатекст 220

Метафора 137, 156, 181, 183–185, 188, 190, 203–204, 233, 235–236, 240 (7), 242 (19), 244 (37), 246 (56), 249 (93). См. также:

Переносный смысл

Метаязык 63 (31), 184–185

Метонимия 173 (83). См. также: *Переносный смысл*

Мимика 11, 55 (5), 128, 133, 181, 240 (8)

Мир как личность 44–45, как объект человеческого восприятия 54 (3), 72 (56). Имя мира 44

Мифологическое сознание 63 (31), 107 (180), 153, 188, 190, 192, 194, 244 (37), 249 (93)

Многозначность 123, 164–165 (34)

Модальность 59 (17), 75 (70)

Моделирование ситуации 125–126

Модель мира языковая 9–10, 12, 50–51, 53, 116–117, 156. Моделирование мира в процессе языковой деятельности 116–117

Мозг — области, связанные с языковой деятельностью 167 (41)

Монарх — его самонаименование 64 (32), 73 (60), 91 (118), его обращение к другим людям 73 (60), 81 (97). Обращение к монарху, см.: *Обращение. Две природы монарха (физическая и метафизическая)* 73 (60), 78 (82). Император римский, его обожествление 73 (60). См. также: *Испанского монарха подпись*

Монашеский обет, устав 33, 97 (137), 151–152, 177–178 (132)

Московская библия 1663 г. 62 (29), 67 (42)

Музыка 170 (50), 216, 249 (97)

Мышление 10–11, 40, 42, 54 (3), 98–99 (144), 170 (50), 171 (57).
Абстрактное мышление 40

Наблюдатель 13, 56 (6), 59 (18), 142

Надписи — вотивные 146–147; на картинах 149–150, 175 (119), 232

Наименование, см.: *Имя собственное; Самонаименование*

Наказание неодушевленного предмета 40, 100–101 (151)

Нарративная стратегия, нарративная перспектива, нарративный сдвиг 13, 55 (5), 61 (21), 126, 140–143, 171 (64), 172 (69, 73).

Ср. также: *Точка зрения*

Нарративный текст, игра в него 56 (6)

Недоразумение 11, 118, 122–123, см. также: *Корректировка смысла*

Неологизмы 212–219, 227–233, 235, 251 (108, 109, 110), 252 (113, 114), 253 (122), 254 (122, 124), 255 (124, 125, 128), 256 (134, 135), 257 (138, 140, 141, 143), 258 (143, 145)

Неотчуждаемая принадлежность 71 (55), 152–153, 177–178 (132)

Новый Завет, см.: *Библия*

Норма в языке 138, 171 (59)

Обращение — к Богу 30, 34, 74 (62), 76 (72), 78 (82), 83 (99), 84 (99, 100), 86 (102); к Богородице 83–84 (99); к монарху 23, 75 (70), 78 (82), 82 (98), 84 (99); к римскому императору 73 (60); к папе 75 (70); к высокопоставленному лицу 23, 84 (99); к мужу или жене 81 (96), 82 (99); к свекру или теще 81 (96); вообще к родственникам 83 (99); к ребенку 48, 70–71 (55), 76 (73), 109 (186); к младшему 108 (183); к любовнику 83 (99); к недееспособному человеку 70 (55); к воображаемому собеседнику 55 (5), 89 (110); к самому себе 55 (5), 83 (99); к животному 76 (73), 82–83 (99); к неодушевленному объекту 82 (99); к мечу 83 (99). Обращение в поэтической речи, 25, 91–92 (123), 84 (99). Обращение по имени 48, 81 (96), 92–93 (126), 94 (127), 109 (185). Обращение по имени и отчеству 30–31. Покровительственное обращение 71 (55). Самоуменьшение при обращении 23–25, 81 (97), 87 (104). Возвеличение собеседника при обращении 23–25, 81 (97). Подчеркивание дистанции с собеседником при обращении 24–26, 80 (93), 81 (98, 99), 88 (109), 89 (111, 112), 91 (118). Обращение к одному лицу во мн. числе 24–25; сочетание существительного в ед. числе с глаголом во мн. числе 80 (92), 74 (61). Обращение к нескольким лицам в ед. числе 26, 87 (108). Обращение во 2-м лице мн. числа — почтительное

24–26, 86 (103); оскорбительное 23, 26–27, 89 (111). Соотношение обращения во 2-м лице мн. числа и 3-м лице 26, 76 (72, 73), 77 (76, 78, 80), 78 (80, 81), 80 (93), 89 (111). Обращение в 3-м лице ед. числа — почтительное 24, 26, 82 (98), 88 (109), сервильное 27, при общении с ребенком 48; возражения против такого обращения 87–88 (109), 89 (111, 112), 91 (118). См. также: *Гонорифическая замена местоимения при обращении*

Обучение языку — родному 33, 47–49, 127–128, 131–132; иностранному 133–134. Обучение чтению 159 (10)

Объект — и субъект 38, 43, 99 (148), 101 (152), 142. Объект и событие 106 (176)

Объективная реальность, см.: *Реальность*

Одушевленного и неодушевленного объекта различение 29, 38, 99 (148), 100 (151), 208. Речь от лица неодушевленного объекта 146–151. Обращение к неодушевленному объекту, см.: *Обращение*. См. также: *Наказание неодушевленного предмета*

Оксюморон 156, 186–187, 189, 192

Омонимия 123

Опахивание селения магическое 193–194

Опечатки 231–232, 236

Оппозиция привативная, эквиполентная 69 (54)

Опыт — индивидуальный 9–11, 35–36, 39–40, 49, 126, 130; коллективный 9–11, 36–37, 40–41, 50, 126. Координация опыта 9–12, 36, 39, 113, 116, 132. Постулирование общего опыта 37

Осмысленности текста условия 126, 154

Остранение 111, 113, 130, 135–137, 171 (58)

Острожская библия 1581 г. 16, 62–63 (29), 63 (30), 67 (42)

Остромирово евангелие 1056–1057 гг. 173 (79)

Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), см.: *Библия*

Падеж 46, 72 (57)

Пародия 217, 221–222, 259 (147)

Перевернутое поведение, см.: *Анти-поведение*

Перевернутый мир 192–194, 246 (54, 59, 60, 61, 62), 247 (68, 69, 70, 71), 248 (71)

Перевод 112–114, 122, 124, 158 (4), 188. Машинный перевод 135

Переносный смысл 180–185, 203, 233, 241 (16, 17), 242 (17, 19), 244 (37). См. также: *Метафора*; *Метонимия*; *Синекдоха*

Персонаж 13, 59 (18)

Перспектива — говорящего 13, 55–56 (5), 61 (24), 123, 125–126, 131, 134; слушающего 13, 55–56 (5), 61 (24), 123; третьего лица 13, 58 (16), 123, 161 (20)

Перформативность 33, 52, 97 (137, 138). Перформативный глагол 52, 109 (189). Перформативный языковой знак 52–53

Пешигта 16

Письменная речь 29, 92 (125), 118, 181, 207. Особенности восприятия письменного текста 118. См. также: *Буквы*; *Пробелы между словами*

Плюсквамперфект 13, 60 (20)

Повелительное наклонение 82 (98), 87 (108), 108 (183)

Подзывные, призывные, побудительные слова (при общении с животными) 128, 163 (29)

Подражание — при усвоении языка 33, 48–49, 127–133, 165 (35, 37). Подражание у животных 167–168 (44)

Поклон 31

Понимание 11–12, 113–114, 116, 118–126, 130–131, 134–135, 165–166 (38), 167 (43). Активное и пассивное понимание 240. См. также: *Аналогия в процессе понимания*; *Корректировка смысла*; *Недоразумение*

Пор-Рояль, школа 92 (124), 144, 173 (82)

Посессивное местоимение, см.: *Притяжательное местоимение*

Поэтическая речь 84 (99), 91–92 (123), 156, 185, 227–240, 242 (18, 19), 261–262 (161), 263 (168), 264 (174), 265 (175), 266 (180)

Предикативный член 17, 45–46, 67 (44), 77 (75),

Предикация 106 (177)

Преобразование языка — как способ познания 44–46, 106–107 (178). Преобразование языка в поэтическом тексте 227–240; в процессе восприятия 241 (12), 243 (23)

Приветствия 37–38

Присутствующего и отсутствующего противопоставление при употреблении местоимений 29, 92 (126), 93 (126, 127), 94 (127)

Притяжательное (посессивное) местоимение 23, 106 (177), 151–152, 176 (129),

Пробелы между словами 118–119, 159–160 (10)

Пространственно-временные координаты коммуникационного акта 14, 19, 29, 33–34, 38–39, 60 (20), 61 (24)

Пространство 38–39, 46–47, 112, 122. Пространства и времени различение 46–47, 106 (176)

Протестанты, см.: *Католики и протестанты*

Прошлое 36

Разговор с детьми 15, 70–71 (55), 82 (99). См. также: *Детские слова; Обращение: к ребенку; Уменьшительные формы*

Реальность — виртуальная 9–10, 12, 15, 36–37, 47, 50–53, 57 (11), 106–107 (178), 190–191; объективная 10, 37, 39, 42, 49–53, 54–55 (4), 60 (20), 101 (152), 190–191; актуальная 12, 58 (12). Реальность речи как первичная реальность, объединяющая участников коммуникации 37, 99 (145), 101 (157). Реальность прошлого 36. Презумпция одинаково воспринимаемой реальности при коммуникации 37, 42

Революция французская 86 (103), 89 (111)

Редупликация 128, 162 (28)

Религия 34, 47, 159 (9)

Референция 12, 15, 21–22, 37–38, 42, 51–53, 111, 116, 126, 139–143, 161 (21), 184–185

Рефлексия 10, 101–102 (157), 130. См. также: *Субъект*

Рефлекторное поведение 133, 162 (25), 167 (43), 169 (48)

Речевой акт 12–14, 21, 51–53, 58 (15), 60 (20), 106 (177). Виртуальный речевой акт 13. См. также: *Коммуникация*

Речь, см.: *Языка и речи дихотомия; Сбивчивая речь*

Род (грамматический) 69–70 (54), 72 (57), 79 (87). Нейтрализация противопоставления по роду во мн. числе 69–70 (54)

Родство, см.: *Термины родства*
Роль, см.: *Коммуникативная роль*

Сакральная буква, см.: *Буквы*

Самозванство 97 (138)

Самонаименование — Бога, см.: *Имя собственное: имя Бога*. Самонаименование родителей при разговоре с ребенком 48, 109 (185, 186). Самонаименование при общении с вышестоящим лицом 23–25, 30–31, 74 (64). Самонаименование ребенка 47–48. Самонаименование римского императора 73 (60), 91 (118). Уменьшительные формы имени при самонаименовании 30–31. Употребление имени и отчества при самонаименовании 30–31, 87 (104). Употребление титула при самонаименовании 95 (132). См. также: *Гонорифическая замена местоимения при обращении: замена местоимения 1-го лица ед. числа*

Сбивчивая речь 162 (28), 214–215, 253 (199)

Связка глагольная (копула) 45–46, 64 (33), 104 (168, 169), 106 (177)

Семантическая аномальность, см.: *Аномальность семантическая*

Семантический сдвиг 203–204

Семиотический треугольник 53, 54 (2), 111–112. См. также: *Денотат; Значение; Смысл*

Септуагинта 16, 62–63 (29), 64 (31, 33), 65 (37), 66 (39), 67 (42), 105 (174)

Сигнал, сигнальная коммуникация 116–118, 129, 131–133, 158 (6), 159 (9), 169–170 (50). Сигналы поощрения и порицания при обучении языку 128, 131

Симптом 170 (50)

Синекдоха 240 (7)

Синтагма — именная 106 (177), атрибутивная 106 (177)

Ситуационное пространство 33–34

Ситуация 32–33, 35, 38, 49, 60 (19), 112, 115, 118, 123, 125–127, 129, 136–139, 144, 152–156, 157 (1), 161 (21–23), 164–165 (34), 167 (43), 170 (50), 179 (138), 189–190, 205, 210, 239.

Актуальная и мыслимая ситуация 112. Абстрактная и конкретная ситуация 112, 157 (1), 161 (21), 239. Типичная и нетипичная ситуация 139, 210. Драматическая инсценировка как введение в ситуацию 127. См. также: *Абсурд: абсурдная ситуация*; *Комическая ситуация*; *Фантастическая ситуация*

Скорины библия 1517–1519 гг. 62 (28), 67 (42)

Славянская (церковнославянская) библия, см.: *Ассеманиево евангелие*; *Геннадиевская библия*; *Елизаветинская библия*; *Зографское евангелие*; *Мариинское евангелие*; *Московская библия*; *Острожская библия*; *Остромирово евангелие*; *Скорины библия*; *Чудовский Новый Завет*. Еврейское влияние в славянских переводах библии 62–63 (29), 65–67 (39)

Слова-саквояжи (portmanteau words) 213–214, 217–219, 228, 252 (113, 114, 118), 253 (121), 255 (125), 258 (146)

Слова-сорняки 241 (9)

Слово 9, 12, 110–111, 126–128, 158 (5, 8), см. также: *Знак языковой*. Семантическая взаимосвязь слов в языке 116. Несуществующие (искусственно созданные) слова 199–226, см. также: *Неологизмы*. Образ слова — моторный (связанный с артикуляцией), сенсорный (связанный с восприятием) 167 (41)

Словообразование 203–204, 208–209, 216, 224, 250 (102)

Слушающий, см.: *Коммуникант*

Смысл 31–32, 111–115, 122, 126–127, 135–137, 156, 158–159 (8), 167 (43), 205, 207. Презумпция осмысленности при коммуникации 186, 205. См. также: *Абсурд*; *Смыслообразование*; *Смысловое задание*; *Переносный смысл*

Смысловое задание 115, 136

Смыслообразование 114, 121–123

Собственное имя, см.: *Имя собственное*

Событие 106 (176)

Согласование грамматическое. Согласование времен, см.: *Время грамматическое*. Согласование имени и глагола 26, 73–74 (61), 76 (71), 79 (87), 80 (91), 94–95 (128)

Содержание 111, 115, 124
Сон 34, 99 (149),
Сообщение 110, 112–113, 124
Сопереживание 119–121, 133, 169 (47)
Сослагательное наклонение 82 (98)
Социальная позиция — говорящего (адресанта) 15, 25–26, слушающего (адресата) 15, 23, 25–26
Субъект. Осознание себя субъектом 21, 42–44, 101 (157), 102 (157, 159). Абсолютный субъект 16, 43–44, 64 (32). Субъекта и объекта дихотомия 38, 43, 99 (148), 101 (152)
Субъективное восприятие 9–11, 35, 40
Суфизм 44, 64 (31)
Существование 16, 33–34, 36–38, 39, 41–45, 97–98 (139), 98–99 (144), 179 (143). Осмысление существования 44–47. Абсолютное (панхроническое) существование 16, 42, 45. Существование во времени и существование вне времени 45–47. Существование языка 58 (14). См. также: *Прошлое; Тождество и существование; Утверждение и существование; Экзистенциальный статус*

Табу 81 (96), 94 (127), 108–109 (184)
Тавтология 63 (31), 64 (31, 33, 34), 67 (42)
Таргум самаритянский 16
Текст 110–115, 121–122, 124–126, 136–137
Термидорианский переворот 86
Термины родства 128
Тетраграмма 17, 67 (40)
Тождество и существование 45, 104 (168)
Точка зрения 140, 142–143, 151. Ср. также: *Нарративная стратегия*

Транзитивность признаков (характеристик) 58 (13), 165 (34)

Указательное местоимение 14, 50, 72 (57), 74–75 (65)
Улыбка 129, 165 (35)
Уменьшительные формы 30–31, 71 (55), 87 (104)

Упанишады 43, 45, 102 (161), 188
Усвоение языка 33, 47–48, 127, 170 (54) — активное и пассивное
33, 48–49. Местоимения при усвоении языка 33, 48–50.
Усвоение церковнославянского языка 226, 266 (198). См.
также: *Подражание*
Условный язык 184, 200, 207, 241 (13), 248 (80)
Устная речь 54 (1), 92 (125), 181, 207, 241 (9)
Утверждение и существование 45, 104 (168, 169)
Утверждения (утвердительные) слова 104 (169, 170), 105 (170)

Фантастическая ситуация 186, 191–192
Фашизм итальянский 89 (111)
Феодотиона перевод библии 64 (34)
Философия в ее отношении к лингвистике 7, 158 (7)
Фонема 110, 124, 130, 162 (25), 165 (37)
Фонетика аномальная, см.: *Аномальность фонетическая*
Формативный языковой знак 52–53

Цвет, см.: *Восприятие*
Церковнославянизмы как элементы заумной речи 260 (155)
Церковнославянский язык, его усвоение, см.: *Усвоение языка*
Цитирование 32, 48

Число (грамматическое) 19–21, 69–70 (54). Множественное число местоимений 20–21, 70–71 (55), см. также: *Инклюзивное местоимение; Эксклюзивное местоимение. Pluralis reverentiae* 24–28, 75 (69, 70, 71), 76 (71, 72, 73), 86 (103); согласование с формой прилагательного, предикативного члена 77 (75). *Pluralis majestatis* 27–29, 81 (96, 97), 89 (114), 90 (114, 115, 116), 91 (118), 92 (123), 81 (97); согласование с глаголом 89 (114), 90 (114, 116). *Pluralis auctoris* 28, 91–92 (123). *Pluralis sociativus* 28–29. *Pluralis modestiae* 28–29, 92 (125). *Pluralis affectus* 28. *Pluralis inclusivus* 28. Замена единственного числа множественным 94 (128), см. также: *Личные местоимения; Гонорифическая замена местоимения при обращении*

Членораздельная речь 130
Чтение — про себя 159 (10); по складам 159 (10)
Чувственное восприятие 11–12, 39, 49–50, 56 (10), 57 (10, 11), 99 (145)
Чудовский Новый Завет, сер. XIV в. 173 (79)
Чужая речь 145, 185

Шарады 150, 176 (129)
Шахматная игра, ее аналогия с языковой деятельностью 119, 160 (12)
Шевеление губами при чтении 159 (10)

Э оборотное 66 (39)
Эвристическая игра в языке 116, 118, 123
Эгоизм 29, 92 (124, 125)
Эгоцентризм говорящего 35, 37, 42, 44, 49–50
Эгоцентрические элементы 59 (17)
Экзистенциальный статус — участников коммуникации 33–36, 38–40, 49–50, предмета коммуникации 34–36, 38–40, 42, 99 (148)
Эксклюзивное местоимение 20
Экспрессивная функция языка 112, 157 (2)
Экстравертность 55 (5)
Эллипсис 123, 237
Эмоциональное состояние — его выражение, см.: *Экспрессивная функция языка*; его передача 133, 169–170 (50). См. также: *Сопереживание*
Эпиграфика, см.: *Надписи*
Эргативность 72 (57)
Этикет — речевой 15, 23, 24–26, 29–30, 74 (62), 77 (78, 79), 78 (82), 81 (96, 97, 98), 82 (98), 85 (102), 87 (104, 108), 89 (110, 111), 92 (126), 93 (126, 127), 94 (128); эпистолярный 31, 87 (104). См. также: *Личное местоимение*; *Обращение*; *Самонаименование*; *Гонорифическая замена местоимения при обращении*

Язык — как орудие коммуникации 9; как деятельность 58 (14);
как модель мира 58 (14), 158 (7); как механизм порождения
текстов 112; как система ассоциаций и противопоставлений
116–117

Языка и речи дихотомия 12, 51, 61 (22), 110–111, 157 (1), 214

Языковой дар (linguistic endowment) 131

Язычество 153

Янсенисты 144

Summary

Boris Uspenskij

EGO LOQUENS: Language and Communicational Space

Human communication is basically the exchange of information. How can this be realized? Each communicant proceeds from a subjective perception of an objective reality; however in order to exchange information relating to this reality communicants are obliged to coordinate their perceptions. Each of us entertains personal experiences based on individual impressions and associations. But communication presupposes the presence of a common experience and the possibility of the coordination of subjective perceptions. It is presumed that communicants share common experiences: this seems to be the natural premise of communication.

How is this possible? How can I be certain, for example, that my interlocutor understands the words in the same way I do? How can we correlate our understanding? It seems obvious that the necessary condition of communication is an agreement between the communicants. But how can this agreement be reached? Where is the initial point of the coordination of individual experience of different persons?

The present book deals with this and related questions. Special attention is given to the role of deixis in the process of communication and to the mechanisms of linguistic comprehension.

The book is intended for specialists in general linguistics and also for all those who are interested in the functioning of language.

Contents

<i>Foreword</i>	7
-----------------------	---

Chapter I

Deixis and communication: Language as a means of creating virtual reality

§ I. General remarks	9
§ II. The status of personal pronouns	15
§ III. The specific character of the pronoun "I" (in language): The absence of a plural form	19
§ IV. The specific character of the pronoun "I" (in speech): restrictions in reproducing	31
§ V. Deictic words and postulating objective reality	33
§ VI. Interpretation of reality: creating a metalanguage for its description	42
§ VII. Deictic words and language acquisition	47
§ VIII. The classification of linguistic signs (words)	50
<i>Notes to Chapter I</i>	54

Chapter II

Communication and understanding: The relation between understanding and the generation of speech

§ I. Preliminary remarks: general premises of linguistic communication	110
§ II. Sense and translation	113
§ III. Linguistic communication as a heuristic process	115
§ IV. A common context uniting the addresser and the addressee as the condition of understanding	119

§ V. Understanding as the modeling of a situation	124
§ VI. The character of language acquisition: how do we learn to understand?	127
§ VII. Thinking and autocommunication	135
§ VIII. Some illustrations	137
<i>Notes to Chapter II.</i>	157

Chapter III

Communication and understanding: Understanding and linguistic experiment

§ I. Figurative sense and the problem of creating a senseless text ...	180
§ II. The transformation of situations in a comical texts	190
§ III. Can we understand a text consisting of non-existing words? ...	199
§ IV. The transformation of language in poetical texts	227
§ VI. Some generalizations	236
<i>Notes to Chapter III.</i>	240
 <i>List of Works Cited</i>	 267
<i>Abbreviations</i>	319
<i>Index</i>	320
 <i>Summary</i>	 341

Научное издание

Борис Андреевич Успенский
Ego Loquens: Язык и коммуникационное
пространство

Издание 2-е, исправленное и дополненное

Редактор
М.Н. Григорян
Художественный редактор
М.К. Гуров
Компьютерная верстка
Л.Е. Коритысская

Подписано в печать ???
Формат 60 × 90^{1/16}
Усл.-печ. л. 21,5. Уч.-изд. л. 19,6.
Тираж 1000 экз. Заказ №

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993 Москва, Миусская пл., 6